



О. Т. Райт
ОСТРОВИТЯНИЯ

«ТЕРРА» — «ТЕРРА»

Где истинная родина человека, в чем подлинный смысл бытия — вот вопросы, разрешения которых по-прежнему мучительно ищет Джон Ланг. «Испытание Америкой» показало, что истинные ценности — в самом человеке. Возвращение Ланга в Островитянию — это, по сути, возвращение к себе. Финал романа открыт, это не столько конец пути, сколько его начало, не «тихая пристань», не готовая данность, а нечто, что мы обязаны творить сами — в мире, где острова старинных карт похожи на корабли.

- [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [Глава 32](#)
 -
 - [Глава 33](#)
 - [Глава 34](#)
 - [Глава 35](#)
 - [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [Глава 36](#)
 -
 - [Глава 37](#)
 - [Глава 38](#)
 - [Глава 39](#)
 - [Глава 40](#)
 - [Глава 41](#)
 - [Глава 42](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-
-



Окутанная опаловой дымкой столица Островитянии то скрывалась из виду, то, словно подбрасываемая волной, снова показывалась, когда я оборачивался взглянуть на нее. Темно-бурый дым вырывался из трубы «Св. Антония». Ветер относил его влево, и он стелился по синим океанским водам. Я стоял облокотившись на леер, ощущая его ритмичную дрожь. Судно с люгерными парусами, полными ветра, неспешно двигалось в сторону Города и в какой-то момент прошло так близко от нас, что пароходный дым почти полностью заволок его, но вот оно уже вновь скользило по волнам, сверкая на солнце своими оранжевыми парусами. Это был кусочек оставшейся позади Островитянии. Мне пронзительно не хватало того, что я покидал, но на деле все происходило так, как и должно было быть, и единственной моей заботой оставалась одежда. Ведь если я и мог еще прилично одеться, отправляясь на званый обед или свадьбу, то мое повседневное платье уже давно выносилось и никуда не годилось. Оставалось лишь то, что сшила мне Наттана, и в Св. Антонии необходимо было обзавестись новым костюмом и шляпой.

Пароход наш представлял в миниатюре плавучую частицу той западной цивилизации, что раскинулась от востока Европы вплоть до Сан-Франциско на западе и островки которой встречались по всему миру то здесь, то там. Не ветер, не лошади, не собственные ноги несли нас вперед, а беспрестанно грохочущий, содрогающийся механизм. Я выжидал хотя бы минутной тишины, рассчитывая услышать естественные, природные звуки — шипение волны, омывающей борта корабля и бурлящей за его кормой. Среди мужчин: коммерсантов, военных, политиков — ни единого без головного убора, ни единого без тугого белого воротничка. Три находившиеся на борту женщины были облачены в столь туго облегающие и одновременно столь многоскладчатые и многосборчатые длиннополые платья, что, казалось, старались скрыть свои ноги, как некую святыню, — так мальчишка со страхом и трепетом прячет драгоценный для него мраморный шарик, на который алчно смотрит сосед-верзила.

Все это вместе было довольно странно, непривычно и постоянно держало меня в напряжении. Давние, почти забытые воспоминания пробуждались порой, и тогда все снова начинало казаться естественным, однако за долгое время я уже так привык к совершенно иначе одетым, не столь шумным и жеманным людям, что «Св. Антоний» представлялся интересным, но тревожным и беспокойным наваждением. Наступившие сумерки наконец принесли облегчение. Непривычным был сон в отдельной каюте, где все поскрипывало и покачивалось, и щемящие образы его чередовались с радостными. Утро я встретил уверенно и бодро: воля к действию возобладала над боровшимися в глубине души противоречивыми чувствами. Мы шли вдоль берегов Сторна, и снова передо мной расстилалась морская синева, окаймленная белой пеной прибоя, отвесно вздымались красные скалы, а над темно-зеленым ковром болот низко плыли просвеченные солнцем облака. Такой я впервые увидел Островитянию, такой я видел ее в последний раз. Я прощался с ней как с другом, а она отвечала мне: «Ты уже больше не чужой». В моем дорожном сундучке лежало формальное разрешение поселиться в этой стране, изысканно составленное, начертанное пречерными чернилами на жесткой белой бумаге и подписанное самим королем Тором. Красные скалы и болота превратились в узкую полоску на горизонте, а потом и вовсе скрылись за его неровным синим краем. Незримая, существующая только в моем сознании Островитяния превратилась в крошечную точку, которую трудно отыскать на карте мира. Постепенно я утрачивал ощущение ее как действительно существующей реальности. Какое-то время меня как бы не было вовсе — ни здесь, ни там. Но я понимал, что это лучший выход: покинуть Островитянию хотя бы на время. Останься я, вряд ли

мне было бы там хорошо, при разброде в моих чувствах. Итак, все складывалось прекрасно, мир сиял и завораживал.

Мне захотелось перекинуться с кем-нибудь хотя бы парой слов.

Мужская компания в курительной комнате целый час внимательнейшим образом слушала мои рассказы — подумать только, ведь я побывал в Островитянии! Узнав о том, что я американец — хотя на мне был мой более чем странный наряд, — они просто лишились дара речи. Я оказался единственным пассажиром, севшим на корабль в Городе. То, что Договор лорда Моры был отменен, удержало от посещения страны даже тех, кто путешествовал исключительно ради собственного удовольствия. Ходили слухи, что пароходные компании намерены исключить страну из списка своих маршрутов; все полагали, что это будет достойный ответ кичливым островитянам. Один из путешественников-коммерсантов уверял, что партия лорда Дорна продержится у власти от силы пять лет: за это время страна поймет, чего стоил ей ошибочный выбор. Другой сомневался в этом, считая, что все решит вмешательство крупных держав. Что до Феррина, то кто-то заметил, что тут Островитяния — уже точно собака на сене. Упоминалось и о том, что отношения между Островитянией и Германией сложились довольно напряженные и даже будто бы имела место небольшая пограничная стычка, в которой перешедший границу островитянский отряд был атакован горцами и несколько нарушителей при этом погибли. Затем разговор перешел на другие предметы: строительство новой железной дороги от Мпабы через степи Собо до Мобоно, быстрый рост немецких колоний, планы расселения германских колонистов в степях, идея постройки германской «столицы» рядом с горой Омоа; обсуждались также правители и политики обеих сторон, вопросы торговли и коммерческого соперничества, проблемы рынков сбыта. Я слушал эти речи как человек, позабывший некую мелодию, но постепенно начинающий ее припоминать.

По прибытии в Св. Антоний, из пяти проведенных в городе дней большую часть я провел в обществе Кадрета и Сомы. Затем на «Довертоне» добрался до Саутгемптона, разноязыкого и в то же время очень английского. Во всех остальных портах моего назначения жизнь кипела и бурлила, но впечатления слишком быстро сменяли одно другое, чтобы сложиться хотя бы в мало-мальски цельную, красочную и сложную картину, которую действительно захотелось бы воспринять и понять. До тех пор пока мы, собираясь за обеденным столом, на палубе или в курительной, рассказывали о своих приключениях, все обходилось мирно, почти идиллически, но стоило кому-нибудь отважиться высказать собственное мнение или предположение, как тут же проявлялись непримиримые противоречия и дело обычно заканчивалось сварой. Каждый держался своих не всегда четко сформулированных взглядов, болезненно реагируя на противоположные, — и мы предпочитали таиться друг от друга. Зачастую лучше всего было промолчать. Во мне снова пробудилось понимание того, что можно, а что нельзя говорить, и я держал при себе многие из мыслей, которые совершенно свободно высказал бы в Островитянии. Разнородность общества заставляла то и дело приглядываться ко всевозможным «запрещающим» или «разрешающим» знакам. Например, вы не могли сказать коммерсанту, возросшему на религиозных догмах и свято верующему в свою правоту, что он — всего лишь догматик, что отклонение Договора вовсе не признак отсталости, что «отсталость» и «прогресс» вообще не имеют к этому никакого отношения, а речь идет лишь о праве человека свободно выбирать тот или иной образ жизни. Торговый обмен для вашего собеседника был неизбежен, нормален и не подлежал обсуждению...

На уже полупустом пароходе, завершающем свой рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, я чувствовал себя среди своих соотечественников как человек, вдруг узнавший лица на портретах, развешанных на стенах комнаты, где он когда-то прожил долгое время. Внезапное открытие

этой близости было ново, и мне нравилось сидеть с ними, слушать их голоса, участвовать в их беседах. Среди них оказался торговец галантереей из Бостона, который жил в Мелдене и был наслышан о моем отце...

Голубовато-серые, окутанные коричневой дымкой небоскребы нижнего Манхэттена, тесно сгрудившись, вздымались — квадратные и прямоугольные — прямо из подернутых крупной рябью вод. Пологая арка Бруклинского моста была видна во всю свою длину.

Пассажиры столпились на палубе. Исключая водное пространство — вода, впрочем, тоже была не очень чистой, — люди преуспели, воздвигнув буквально на каждом клочке земли свои сооружения. Немногочисленные оставшиеся не застроенными места на склонах холмов выглядели странно, неряшливо, как голое тело, виднеющееся сквозь прореху в одежде.

Некто пророческим тоном изрек, что европейская эпоха подходит к концу и скоро Нью-Йорк, восстающий навстречу нам из океанских вод, заменит в роли столицы мира одряхлевший Лондон.

Корабль подходил к пристани, когда я, вздрогнув — такими они вдруг показались близкими и родными, — увидел в толпе встречающих отца и Алису, которые взглядами искали меня. Сердце сжалось, и слезы невольно навернулись мне на глаза. В эту минуту никого не было на свете дороже.

Наконец они заметили меня. Я помахал рукой, они замахали в ответ. Потом они помахали мне, и уже я ответил им. Через несколько минут нервное напряжение спало, как это обычно и бывает, а когда мы наконец подошли друг к другу, лица отца и сестры показались мне бледнее, чем раньше.

Мама простудилась, объяснили они, и поэтому не смогла приехать. Вообще половина знакомых в последнее время ходили простуженными.

— Ты хорошо выглядишь, — сказали оба, — только похудел...

Они стояли рядом, пока я проносил свой скромный багаж через таможеню. Под высоким деревянным навесом с кажущимися хрупкими потолочными балками воздух был затхлый, пропитанный запахом самых разных товаров.

Вещей было немного, и, чтобы не тратиться на такси, мы поехали в трамвае. Шум стоял ужасный: тяжелые вагоны, громяхая, катили по бульжной мостовой, колеса скрипели и визжали на поворотах, отбойные молотки грохотали на стройке, и все это перекрывалось несмолкающим гудением снующей толпы. Разумеется, рано или поздно я снова привыкну и буду относиться к звукам большого города как раньше, не обращая на них внимания, но сейчас мне тоскливо хотелось одного — тишины и покоя.

Алиса взяла меня за руку, сжала ее и подвинулась ближе. Край ее большой бархатной, чрезвычайно яркой шляпы касался моей. Кожа Алисы была такой нежной, такой белой.

— Ты очень загорел, — сказала она.

— Много пришлось бывать на свежем воздухе.

— Путешествовал?

— Все время.

— А чем еще занимался?

— Я обо всем уже писал.

— Ты писал, где тебе приходилось бывать, но... — Внезапно в ее голосе зазвучали критические нотки, однако затем тон смягчился: — Выглядишь ты хорошо, но что за костюм! Такой забавный, прямо настоящий камзол! А что-нибудь потеплее у тебя есть?

— Будет.

— Все же зима. Да, я вижу, ты закалился! — Она передернула плечами. — Брайтоны завтра устраивают чай специально в честь первого выхода Марджери. Я хочу пойти с тобой, ладно?

Подходящий костюм у тебя найдется?

Дорога в поезде от Нью-Йорка до Бостона тоже легко воскресла в памяти. Вагон был полон типичных бостонцев, невозмутимых и имеющих привычку так пристально разглядывать вас, словно для них было делом первостепенной важности решить: «А может быть, мы уже встречались?» или «Каково ваше место в общей картине мироздания?». Вид их затронул во мне что-то подспудное, глубинное, и я почувствовал себя дома.

Отец был немногословен, выглядел усталым, постаревшим. Алиса не сводила с меня глаз, и ей явно хотелось поболтать, но она не знала, как подступиться. В вагоне было очень жарко, душно, в воздухе стоял едкий запах дыма. От пейзажа за окном рябило в глазах. Теснились каркасные дома, больше похожие на лачуги, заводские корпуса, мелькали задние дворы, огороды, чахлые перелески, снова дома и повсюду надписи и рекламные щиты, так и лезущие в глаза и совершенно не считающиеся с тем, хочет ли кто-то читать их...

— О чем ты думаешь? — спросила Алиса.

Сказать или нет? Она моя сестра, а эта страна — ее родина.

— Никак не могу привыкнуть к шуму, — ответил я.

— Ты стал такой нервный, так изменился.

— Конечно, я привыкну, но не забывай, что, кроме двух дней в Саутгемптоне, я больше двух лет не был среди такого шума, не видел никакой рекламы, и если и путешествовал, то вовсе не в таких поездах.

— Да, придется тебе привыкать.

Она права: пройдет какое-то время и я перестану так нервно реагировать на окружающие меня шум и грохот. Напряжение спадет, но не окажется ли постоянная скрытая борьба с нервозностью чревата тем, что чувства мои потускнеют и притупятся? От этой мысли мне стало страшно.

— Мы будем гулять в Феллсе, — сказала Алиса. — В Островитянии ведь как за городом, правда?

— Алиса, ты просто прелесть.

Алиса сняла пальто и шляпу. На ней было коричневое платье с высокой талией, покроя «принцесса», с длинными, плотно облегающими рукавами и шелковыми сборками на груди. Юбка доходила до лодыжек, и складки на ней были такими пышными, что, казалось, Алиса тонет в них. И все же платье ее было изящным.

Мы взглянули друг другу в лицо. Глаза, линия лба у нее были такими родными, какими могут быть только у сестры. Алиса была чуть моложе меня. Сколько часов провели мы вместе за играми, учебой, в поездках! Почти ничего не скрывая друг от друга, в чем-то мы были достаточно сдержанны, близкие и далекие в одно и то же время. Иногда мы намеренно поддразнивали друг дружку, ссорились и даже дрались. И все же каждый находил в другом защитника. Однажды Алиса призналась в проступке, который на самом деле совершил я, чтобы в наказание мне не запретили отправиться в поездку, о которой я страстно мечтал; однако она так неумело повела себя, что в поездку меня таки не пустили, да к тому же изумленные родители громогласно отчитали нас обоих, назвав негодными лгунами. В другой раз я спас сестру от привязавшихся к ней мальчишек, но в борьбе наставил ей больше синяков, чем могли бы сделать они. В обоих случаях мы пылко переживали друг за друга и были невероятно счастливы, недоступные душевной и физической боли. А случалось и так, что во время очередной перебранки мы изо всех сил старались побольнее, поязвительнее уколоть один другого. Больше всего ей не давала покоя моя так называемая «гордыня», меня же выводило из себя то, что Алиса стремится быть «всезнайкой».

Но вот теперь она приехала встречать меня в Нью-Йорк, чтобы проводить до дома? Прежние, смешанные чувства пробудились во мне: с одной стороны, я побаивался ее критического любопытства, с другой — корил себя за то, что редко вспоминал о ней в мое отсутствие. Ей исполнилось двадцать семь, и поклонников у нее, насколько я знал, не было. Не сказать, чтобы она была как-то особенно привлекательна, просто — милая сестричка. Я вспомнил о том, как помогали друг другу Эк и Эттера. Если я вернусь в Островитянию, я смогу взять Алису с собой. Приглашение позволяло приехать с «семьей». Тогда настанет моя очередь заметить ей, что ее платье не слишком уместно. А как она там окрепнет! Но что будет делать там моя сестра, с головой ушедшая в благотворительность? Какими покажутся ей Дорн и Наттана, Тор и Дорна? Ущелье Доан и Фрайс?

Поезд остановился у платформы Южного вокзала, и сначала подземкой мы добрались до Салливэн-сквер, а оттуда — трамваем до Медфорда.

При виде Алисы и отца на пристани нью-йоркского порта слезы подступили к моим глазам. Матушка выглядела именно такой, как я ее запомнил, дорогая матушка, родная и милая как никто. Она крепко прижала меня к себе, всхлипывая:

— Наконец-то ты дома, вернулся!

Но на этот раз мне не хотелось плакать, я испытывал позабытую усталость, от которой в голове все путалось и чувства казались чужими. Единственная назойливая мысль была о том, как жарко в доме.

Матушка присела на диван, держа меня за руку.

— Вернулся! — воскликнула она. — Мой мальчик! Дорогой мой сыночек Джон! И выглядишь ты будто ничего не случилось. Ах, я вся испереживалась. Это так далеко... и, по твоим письмам, такое чудное место. Ах, Джон! — Она жалостно, но с облегчением вздохнула.

— Я был счастлив там, — сказал я, — и тамошние люди вовсе не показались мне чудными.

— Как тебе, должно быть, было одиноко!

— Только поначалу.

— Так, значит, тебе там понравилось?

По голосу я почувствовал: она хочет, чтобы я ответил «нет».

— Я хорошо провел это время, мама.

— Наконец-то мы опять вместе, ах, мой мальчик, слава Богу! — И она снова обняла меня и заплакала. — Вернулся, слава Богу! — повторяла она.

В голосе ее слышались вопросительные нотки, но еще не настало время упоминать о документе в моем сундучке.

Подали ужин. Отец произнес молитву. Вошла служанка, и я поймал себя на мысли, что воспринимаю ее как *денерир*, а не как горничную. Я вдруг перестал понимать, где я и кто эти люди с бледными лицами, пристально глядящие на меня.

Потом мы сидели в гостиной, и матушка снова не выпускала моей руки. Казалось, ждала от меня чего-то, и я рассказал им кое-какие эпизоды своей островитянской жизни, стараясь подтвердить все догадки моих домочадцев. Главными событиями была моя несчастливая любовь к Дорне, история с Наттаной (обо всем этом я ничего не писал), отказ от должности консула и случай в ущелье Ваба, который я не упустил возможности описать и о котором с удовольствием рассказал бы еще подробнее, если бы меня попросили; однако мои слушатели не задавали вопросов, словно считая, что я сам лучше знаю, о чем рассказывать. И я продолжал говорить: о своем друге, о работе в Верхней усадьбе, жизни у Файнов, посещении Моров, — а они все так же выжидающе слушали. Наконец во время одной из пауз матушка сказала:

— Ты так повзрослел, Джон, бедный мой мальчик.

— Почему бедный?

Она обняла меня, ничего не отвечая. Неужели до нее дошли какие-то слухи о Дорне? Но это было невозможно.

Наконец меня, как уставшего с дороги, оставили в покое, и я с облегчением направился в свою спальню. В ней ничего не изменилось, она по-прежнему была забита такими знакомыми растрепанными книжками, детскими трофеями, разными мелочами и фотографиями, и каждая из этих вещей была связана с каким-нибудь школьным или еще более ранним воспоминанием. Многие из них были когда-то живыми и яркими кусочками жизни, но теперь, хоть и остались в целостности и сохранности, превратились в засушенный, скучный гербарий памяти. Воздух в комнате была жаркий и сухой от парового отопления.

И все-таки что-то шло не так: от меня ждали чего-то, чего я так и не сделал. Мне хотелось бежать из дома. Переодевшись в пижаму, я почувствовал себя лучше. В конце концов, мое беспокойство могло быть всего-навсего результатом усталости и нервного перенапряжения.

Алиса, по крайней мере, будет со мной откровенна, решил я. Выйдя в коридор, я подошел к ее двери и постучал.

— Кто там? — раздался удивленный голос.

— Это я, Джон.

— Ах, подожди минутку.

Прошло несколько минут. Наконец сестра впустила меня. В пеньюаре она выглядела проще и казалась ниже ростом. Волосы со лба были гладко зачесаны назад.

— Входи, — сказала она, оглядывая меня. — Но почему ты без халата?

— В доме так жарко, да у меня и нет его.

— Ладно, но хотя бы на ноги что-нибудь надел.

— Мне не холодно.

— Да, но ходить босиком по полу!..

Я вспомнил, что здесь, дома, было принято носить тапочки ради чистоты, а не для тепла, и пошел к себе, чтобы надеть их.

— Алиса, — сказал я, вернувшись, — что происходит? Почему я — «бедный мальчик»?

— А ты не знаешь?

— Я что-нибудь не так делаю?

— Нет... но неужели ты не догадываешься?

— Нет, Алиса.

— Ты не можешь не знать. Тебе не повезло, и они действительно очень переживают.

— Но почему?

— Ах, Джон! — нетерпеливо воскликнула сестра. — Да потому, что тебя вынудили уйти с поста консула, конечно!

— Ах вот что! — воскликнул я и рассмеялся.

Алиса взглянула на меня с удивлением:

— А тебе разве... не жалко?

— Ни капли.

— Как же так?

— О чем жалеть, Алиса?

— Но это такая неудача.

— Да, я не преуспел.

— Не понимаю тебя. Ты держишься с такой...

— «Гордыней»?

— Именно... Как бы там ни было, они ожидали, что ты будешь расстроен, обескуражен. И вот — ничего подобного. Конечно, большинство полагало, что, когда началась вся эта история с

Договором, потребовался более опытный человек и ты отказался, потому что раз нет торговли, то и консул не нужен. Так папа с мамой всем и объясняют. Мама очень гордилась, что ее сын на дипломатической службе... Ты действительно расстроил родителей, Джон. Дядюшка Джозеф так им и сказал: ты, мол, относился к своей работе спустя рукава, поэтому тебя и попросили уйти.

— Я был рад, что ухожу в отставку.

— Не понимаю. Но почему ты тогда не вернулся домой прошлым летом? Что ты там делал? По твоим письмам ничего нельзя понять. Ты писал только, что собираешься погостить у кого-то, пишешь статьи, будешь работать на ферме...

— Так все и было.

— И только около месяца назад пришло письмо, которое до смерти перепугало маму. Оказывается, вы прятались в горах, прямо как настоящие разбойники, ты и еще какие-то люди, и стреляли, и тебе едва удалось спастись. Прости, но это не то, что гостить у друзей, писать статьи или работать на ферме. Зачем ты впутался в эту историю, Джон? Неужели тебе совершенно безразлично, как будут чувствовать себя папа и мама? Что же за люди с тобой были?

Я увидел Дона, идущего по снегу, его блестящие черные волосы, его безупречный пробор.

— Замечательные, — ответил я.

— Пусть, — откликнулась Алиса, — если тебе угодно так думать! Но для нас... для нас ты вел себя как... авантюрист!

— Значит, они хотели увидеть возвращение блудного сына?

— Что-то вроде... ну по крайней мере, что ты будешь убиваться из-за потерянного места. И в общем...

— Алиса, подскажи мне, как вести себя.

— И в общем, это все же твои родители. Они уже почти старики... словом, ты очень разочаровал их. Почему ты не вернулся раньше? Ты ничем особым не был занят полгода, да и до этого тоже. Дядя Джозеф говорит, что одна из причин отставки — твои частые отлучки. Чем ты там занимался?

— Я же писал...

— Ах, твои письма — одни бездушные факты, почти ничего о том, что ты думал, чувствовал, перечень каких-то странных имен, вдруг речь о ком-то неизвестном, кого сам ты явно хорошо знал. Мы так часто о тебе говорили.

— После отставки я написал несколько статей.

— Я читала.

— Ну и как?

— Ах, Джон, какой из меня критик, но... видишь ли, ты как будто все время твердишь одно: «Вы ничего в этом не понимаете, понимаю только я...» — такое впечатление...

— Опять «гордыня», Алиса?

— Да, пожалуй. Дядя Джозеф сказал, что ты упустил самое главное в статье о Договоре.

— Что же именно?

— Спроси его. Я знаю только, что он очень сердит на тебя. И он тоже не понимает, зачем ты остался в Островитянии, когда в этом не было никакой нужды. Скажи, зачем?

Я колебался — сказать или нет.

— Впрочем, он готов тебя простить, — значительно добавила Алиса.

— А разве я в чем-то виноват?

— Ах, Джон! — воскликнула она. — Какой ты неблагодарный!

— И все-таки, Алиса, я вернулся, — сказал я. — Так объясни мне, чего хотят от меня отец и

мама.

— Ничего особенного они не хотят, просто чтобы ты проявлял хоть какие-то чувства... — Она помолчала, затем добавила: — Подумай о них, а не о себе. Тебе уже скоро тридцать. И два года ты потерял впустую. У тебя нет своего места в жизни, Джон. Дипломата из тебя не вышло. И вот ты возвращаешься домой вполне довольный, я бы сказала — самодовольный. Ты был холоден с мамой. Ты должен был сказать ей, что любишь ее больше всех на свете, что нигде ты не ощущал тепло родного дома и что ужасно скучал по ней. А ты стал разглагольствовать о том, как прекрасно провел время. Естественно, мама...

— Естественно — что, Алиса?

— Не знает, что и подумать. Она в страшном недоумении.

— Почему?

— Потому что у тебя нет цели, ты ни к чему не стремишься, и еще — чем тебе так понравилась эта страна?

— Я подружился там с прекрасными людьми.

— И только?

— Я много узнал и многому научился.

— Чему же?

— Тому, как быть счастливым.

— Ах, Джон! — В голосе ее прозвучал неприкрытый упрек.

— Алиса, — сказал я, — не суди свысока о том, чему я научился, пока не узнаешь об этом подробнее.

— Я всего лишь хочу, чтобы ты понял, какой удар ты нанес родителям.

— И тебе тоже?

— Ты не похож на себя прежнего. Что-то в тебе переменялось. Думаю, дело тут вовсе не в отставке. Ты построил, стал сильнее, лучше выглядишь, так, словно...

— Словно что?

— Словно что-то с тобой случилось, ведь правда, Джон?

— О, очень многое.

— Расскажи мне.

— Расскажу, но попозже.

Алиса дала мне ключ к разгадке. У меня состоялся «серьезный разговор» с отцом и мамой. Я сказал, что очень сожалею о том, что лишился консульской должности, и приехал домой с намерением работать. Все разом встало на свои места. После чего они в свою очередь сообщили, что дядюшка хочет видеть меня как можно скорее и, вероятно... Я ответил, что побуду с ними неделю-другую, а потом отправлюсь в Нью-Йорк.

После того как я решил по справедливости оценить свою страну, иного пути у меня и не оставалось: надо было приниматься за работу и изо всех сил постараться достичь успеха. А пока я хранил в своем сундучке спасительный якорь на тот случай, если меня ждет неудача или если успех окажется несостоящим.

А между тем дома я играл роль блудного сына, всячески и от всего сердца старающегося ублажить тех, кто ради него принес в жертву упитанного тельца своего неодобрения. Уже одно то, что я собираюсь приступить к работе, вполне удовлетворяло родителей. Время, проведенное в Островитянии, они рассматривали как очередную юношескую блажь и без особого интереса слушали мои рассказы о тамошней жизни. Стоило мне завести речь о красоте Островитянии или о тех или иных счастливых моментах, связанных с нею, как на их лицах появлялось удрученно-сострадательное выражение, словно я каялся в каких-то недостатках, от которых надлежало

решительно избавляться. Алиса тем не менее сгорала от любопытства и несколько раз намекала, что не прочь выслушать мою исповедь о том, что же такое «многое» со мной приключилось.

Дома было не так, как в Островитянии, предлагавшей мне путь, по которому можно следовать, да и работать здесь я тоже не мог. Мне же не терпелось привести в действие решение, принятое три месяца назад; я понимал, что, только с головой уйдя в американскую, подлинно американскую жизнь, я смогу узнать, чего хочу от жизни вообще. Дома делать было особенно нечего. Что касается живших по соседству знакомых, то достаточно было нескольких коротких встреч с ними, чтобы подтвердить свои симпатии, но встречи эти не делали нас ближе. Кроме встреч с друзьями, человеку, не ходившему каждый день на службу, заняться было решительно нечем. И все же, располагая временем, я затеял некое предприятие, приятное и интересное, поскольку оно было связано с Островитянией и с одной особой, чье обаяние для меня представлялось по-прежнему живым и ярким. Мне нужна была помощь, и я обратился за ней к Алисе. Она была хорошей сестрой, и ей была оказана честь, которая к тому же удовлетворяла, хотя бы отчасти, ее любопытство.

Не без труда уговорив ее пожертвовать ради меня несколькими часами, которые она обычно посвящала своим благотворительным делам, я пригласил ее на ленч в Паркер-Хаус. Алиса встретила меня тщательно и не без изящества одетая, в своем пышном, по моде того времени, наряде, вся — внимание и доброжелательство. Сидя напротив и глядя на ее бледное, усталое, но решительное лицо, я снова вспомнил об Эке и Эттере, и сердце мое окончательно оттаяло.

Алиса сказала, что ей будет вполне достаточно салата и чашки кофе, но после того, как заказ подали, она с аппетитом съела также сладкие булочки, жаркое из грибов, пюре из шпината, картофель-жюльен и мороженое, хотя и не переставала жаловаться на цены.

— Вот и представился случай, — сказал я. — Ты хорошая сестра, Алиса, и мы так давно не виделись.

Она посмотрела на меня, и я прочел в ее взгляде, что она тоже считает меня хорошим братом, но если и намерена об этом заявить, то не сейчас.

— К чему ты клонишь? — спросила она.

— Я хочу сделать подарок своему другу в Островитянии и хочу, чтобы ты помогла мне его купить — ты наверняка в этом лучше разбираешься. Она ткет холсты и шьет одежду. Она — белошвейка...

— Белошвейка! — повторила Алиса таким тоном, что слово приобрело как бы новый смысл, вовсе не тот, что вкладывал в него я.

— Она — дочь лорда провинции, Алиса.

— И шитьем зарабатывает на жизнь?

— В основном она ткет, но и шьет тоже.

— Как ее зовут?

— Хиса. Это ее основное имя, но люди называют ее просто Наттана.

— А ты?

— И я.

— Наттана, — произнесла Алиса, и, выговоренное на американский манер, слово прозвучало странно, незнакомо, так что у меня возникло ощущение, будто я выдал какой-то секрет, который обещал хранить.

— Сколько ей лет? — спросила Алиса.

— Двадцать три.

— Ты близко с ней знаком?

— Весьма близко. Она мой хороший друг.

Алиса пристально, с подозрением посмотрела на меня и слегка покраснела:

— Значит, в ней причина?

— Причина чего?

— Ты прекрасно понимаешь! Причина того, чтобы оставаться в Островитянии, когда на то не было причин!

— Да нет же! Я решил остаться до мая, еще прежде чем мы стали хорошими друзьями.

— Джон, скажи мне: вы были *очень* хорошими друзьями?

Я не нашелся что ответить.

— Джон! — воскликнула Алиса. — Ты краснеешь!

— Алиса, что у тебя за мысли. Она была просто другом.

— Мы все думали...

— Что?

— Да то, что ты впутался в нехорошую историю. И все это было так непохоже на тебя, непохоже на нас... Твои бесконечные отлучки и то, что ты так надолго задержался без всякой причины, разве что из-за кого-нибудь... Мы боялись, как бы ты не связался с туземкой, — все мужчины одинаковы.

— Я ни с кем не связывался.

— Неужели? Мы слышали, что они там не особенно щепетильны. Папа даже специально взял в библиотеке книгу. И в твоих письмах постоянно говорится о девушках. Представляю, скольких еще ты не упомянул.

— Женщины там такие же щепетильные, как ты, Алиса.

Она вспыхнула и напустила на себя обиженный вид.

— Надеюсь, в отсутствие этого меня не упрекнешь! — сказала она с жаром.

— Я знаю, потому и привел тебя в пример.

— Значит, ты не...

— Что — не?

— Ах, ты же понимаешь. Ну... ни с кем не связался?

— К тому, что произошло, совсем не подходит слово «связался».

— И у тебя не было жены-туземки?

— Жен у меня не было.

— Ты вел себя примерно, Джон?

Если бы я толковал это слово так, как я понимал его, то вполне искренне мог бы ответить «да», но в понимании Алисы оно означало совсем другое, и мне пришлось бы солгать. Вспоминая о наших отношениях с Наттаной, я почувствовал, как кровь приливает к моим щекам.

— Я не сделал ничего, за что мне было бы стыдно, Алиса.

Она вызывающе, почти враждебно посмотрела на меня:

— Но может быть, ты сделал что-то, за что было бы стыдно *нам*?

Оставалось выбирать между ложью, непониманием или же пускаться в долгое объяснение, которое если в чем-то и убедило бы сестру, то ненадолго. Мораль нашей семьи как непреодолимая стена разделяла нас.

— Если бы, зная все, ты устыдилась хоть за один мой поступок, нам не о чем было бы дальше говорить.

— Ты не ответил на мой вопрос, — упрямо повторила сестра.

— Я больше ничего не собираюсь объяснять. Тебе должно быть вполне достаточно, что я не стыжусь за себя.

— Нет, мне не достаточно. Ты не единственный судья.

— Ты тоже. Каждый должен отвечать за себя.

— Веселенькая тогда была бы жизнь! — она сверкнула глазами.

— Алиса, я хочу подарить Хисе Наттане швейную машинку. Ты мне сможешь выбрать?

Не в ее характере было позволять мне так резко менять тему разговора.

— Мне не нравится твоя позиция, — сказала она. — Опять эта твоя проклятая гордыня. Я вижу, ты не хочешь быть откровенным...

— Если откровенность в том, чтобы я сказал, будто сделал что-то постыдное, я не стану лгать и никогда не скажу этого.

— Постыдного — с твоей точки зрения?

— Я не знаю иных критериев, кроме собственных, чтобы решать, чего мне стыдиться, а чего нет.

— Джон!

— Чужие мнения могут иногда сослужить дурную службу.

— Есть определенные вещи, которые неизменны!

— Ты имеешь в виду мораль, Алиса?

— Разумеется! Есть вещи, которые приличный человек не может себе позволить.

— Я не сделал ничего такого, чего не может позволить себе приличный человек!

Алиса внимательно поглядела на меня:

— Но к чему тогда эти намеки?

Очевидно было, что она хочет закончить разговор, сделав вид, будто все поняла.

— Я никогда не намекал ни на что подобное.

Она опустила голову. Широкие поля шляпы скрыли ее лицо.

— Что ж, — сказала она, — полагаю, все в порядке. — И, резко вскинув голову, взглянула на меня: — Можно я расскажу маме?

— Конечно, Алиса.

Она вздохнула:

— Так значит, эта мисс Хиса — твой друг?

— Всего лишь друг, Алиса.

— И всегда была только другом?

— Да.

Эта «американская» ложь для островитянина была бы правдой.

— И других женщин у тебя тоже не было?

— Ни одной, которую бы я знал так хорошо.

— И ты хочешь подарить ей швейную машинку.

Разговор перешел в спокойное русло. Алиса действительно оказалась прекрасной помощницей, целиком посвятив себя поискам наиболее подходящей модели. Купив машинку, мы отослали ее домой, чтобы она была под рукой, пока я перевозю инструкции на островитянский. Потом Алиса отпечатала их, добавив от себя кое-какие практические советы. Она сама много шила, и ей нетрудно было представить себя в положении человека, который никогда не пользовался машинкой. Она заинтересовалась Наттаной, тем, как та работает, живет, и я подробно рассказал ей обо всем этом. Так, тщательно обходя принципы догматической морали, Алиса сочувственно познакомилась с одной из сторон островитянской жизни.

Она была такой милой в своем горячем стремлении помочь мне — и в то же время такой бледной, слабой, изнемогающей под тяжестью своих пышных платьев, что сердце мое буквально таяло от жалости и благодарности. К концу моего пребывания в Медфорде я рассказал ей об Эке, Атте и Эттере, о том, как Эттера решила жить с братьями, помогая им.

— Хорошо бы взять тебя в Островитянию, — сказал я, — и там завести такое же хозяйство.

Это было бы тебе полезно.

— В каком смысле?

— Ты зажила бы более здоровой жизнью, больше времени проводила бы на свежем воздухе, больше занималась бы физическим трудом и носила бы поменьше платьев.

— Поменьше платьев? У меня их и так немного.

— Там носят платья с подолами чуть ниже колена. А в теплую погоду можно ходить босиком...

— Босиком?!

— Ничего, ты бы скоро привыкла, там все так ходят. Тебе не пришлось бы мучиться в этих узких, тесных туфлях, да еще на таком высоком каблуке. Ходить стало бы легче, и ты меньше уставала бы.

Она пристально посмотрела на меня:

— Ты что, решил вернуться?

— Я просто строю предположения, Алиса.

— Думаешь, мне понравилось бы в Островитянии?

— Не могло бы не понравиться!

— И чем бы я занималась? Домашним хозяйством?

— Чем-нибудь... не более обременительным, чем здесь.

— А чем еще?

— Всем, чем тебе захотелось бы.

— Но здесь я приношу пользу. Мне кажется, мы существенно помогаем бедным.

— Этого там, конечно, не будет, но...

— Тогда какая польза была бы от меня там?

— Ты помогла бы строить наше общее хозяйство...

— То есть обихаживать тебя, я так понимаю. Значит, вот чему ты предлагаешь мне посвятить жизнь?

— Я мог бы жениться...

— Тогда я стала бы прислуживать вам обоим? Таковую-то роль ты мне отводишь?

— Ты тоже могла бы выйти замуж.

— Нет! — Она передернула плечами и, глядя мне прямо в глаза, сказала: — Ты полагаешь, я найду там мужчину, с которым смогу ужиться?

— Островитяне — настоящие мужчины.

— Не очень это завлекательно звучит, Джон... посвятить жизнь заботам о ком-то одном, не имея возможности приносить реальную пользу миру!

— Ты станешь здоровой и счастливой.

— Сомневаюсь.

— Я хочу взять тебя с собой.

Она засмеялась:

— Нет, спасибо, Джон!

— Если бы ты знала больше, у тебя было бы другое мнение.

— Тебе меня не убедить! Никогда! Ты и так мне уже достаточно рассказал. Мое место здесь. И мне нравится то, чем я занимаюсь. Я... — Алиса резко умолкла и в отчаянии взмахнула руками. — Конечно, каждому хочется чего-то большего, — продолжала она. — Мне всегда хотелось... ах, не обращай внимания! Я уже отказалась от всяких надежд, но иногда кажется...

И она снова запнулась.

— Тебе всего лишь двадцать семь, Алиса.

— Уже двадцать семь!.. Да к тому же дурнушка.

— Ты очень хорошенькая, Алиса.

— Жаль, что так думает только родной брат! Но мне и в самом деле больше нравится здесь, где от моей работы есть польза. Пусть я не «строю общее хозяйство», но я помогаю бедным и учу их правильно жить.

— Ты могла бы ткать, как Хиса Наттана, или заняться искусством.

— Наверное, я недостаточно эгоистична или неспособна к самопожертвованию. Я нашла занятие по себе, у меня есть родители. Ты хороший брат и, когда сам начнешь работать, поймешь меня лучше.

Настал день отправляться к дядюшке Джозефу, и все наперебой уверяли меня, что мне снова будет дозволено трудиться в его конторе. Перед прощанием я имел отдельный разговор с родителями.

— Я так рада, — сказала матушка, — так рада, что мой мальчик наконец начнет работать с хорошим настроением и что он не сделал ничего, за что нам здесь, в Америке, было бы стыдно... Алиса мне все рассказала. А я так беспокоилась, но, слава Богу, все позади!

Казалось, единственное, что ее действительно заботило, — это насколько я соответствую принятой ею морали и сколь усердно буду трудиться; мысли о счастье, о радостном чувстве единения и согласия с окружающим просто не приходили ей в голову, или, быть может, она считала, что мир, в котором мы живем, так хорошо устроен, что все это само непременно приходит к человеку, если он усердно трудится и соответствует принятой морали. Время должно было показать, права она или нет. Безнравственность на американский лад выглядела непривлекательно, к тому же я честно собирался трудиться с усердием. Она была хорошей матерью, уверенной в том, что в этих двух вопросах оба ее сына и дочь изберут правильный путь, а в остальные подробности не вникала.

Приехав в Нью-Йорк на пароходе по Фолл-ривер — чтобы не мучиться от шума в поезде, — я сразу позвонил дядюшке Джозефу. Секретарша сказала, что он очень занят, но сможет встретиться со мной во время ленча. Чтобы убить время, я зашел в музей Метрополитен взглянуть на картины, которых совсем не было в Островитянии, и увидел их новыми глазами. Многие, особенно с литературным, повествовательным сюжетом, так нравившиеся мне прежде, теперь казались частью далекого прошлого, безжизненными и сухими, как безделушки в моей комнате; но другие, заключавшие в себе частицу вечности, глубоко тронули меня. Больше всего в картинах поражала их изысканность, вычурность, чрезмерная сложность. По сравнению с ними резьба, которую мне приходилось видеть в островитянских домах, выглядела по-детски наивной и грубой. Потом произошло нечто странное. Я присел, чувствуя, как у меня кружится голова: картины казались сгустками избыточного умственного напряжения, выплеснувшегося на холсты. Виски ломило. Большинство художников зашло слишком далеко, сосредоточившись исключительно на своем искусстве. Свежий воздух естественной жизни не проникал в их творения. Я вышел прогуляться по Центральному парку.

С дядюшкой я встретился в его ленч-клубе, в центре города. Мы оба держались официально и несколько натянуто. Дядюшка спросил о том, почему же все-таки Договор лорда Моры провалился, и я снова рассказал ему все, что знал по этому поводу. В свою очередь я поинтересовался, как отнеслись к этому факту в Америке, и дядюшка ответил, что сейчас у американских бизнесменов и так хороший улов, поэтому их не особенно беспокоит то, что с крючка сорвалась какая-то мелкая рыбешка...

— Однако, — сухо добавил он, — кое-кто продолжает там свою ловлю, и поэтому мы тоже хотим получить свою долю. Немало денег было потрачено зря, и теперь их, хочешь не хочешь,

надо возвращать. Рано или поздно Островитянии придется открыть свои границы.

Происшествие в ущелье Ваба и напряженные отношения с Германией оказались для него новостью, и он признался, что последнее время не следил за событиями в Островитянии.

— На данный момент она не в центре внимания, — сказал дядюшка, — но все равно твое знание языка и знакомства могут пригодиться. То, что ты узнал, когда-нибудь окажется в цене, хотя сейчас пользы от этого немного.

Разговор то и дело прерывался томительными паузами. Несколько раз дядюшка спрашивал, каковы мои планы, и я отвечал, что не знаю. Беседа наша постоянно заходила в тупик не только во время ленча, но и позже, уже в дядюшкиной конторе. Он хотел, чтобы я сам попросился к нему на работу, но пригласил меня встретиться он, я пришел, и следующий ход был за ним.

Наконец я заявил, что и так уже злоупотребляю его временем, что был очень рад повидаться, но теперь мне пора идти.

— У меня найдется для тебя место, Джон, — сказал дядюшка, превозмогая себя, — если ты хочешь. Место не особенно важное, но, я думаю, ты сможешь показать себя.

— Я могу приступить сегодня же, дядюшка Джозеф.

Детали мы уладили быстро.

В тот вечер мы ужинали вместе. Внучка дядюшки, моя двоюродная кузина, была единственной гостьей. У дядюшки было двое детей: сын — преуспевающий юрист, женатый человек, и дочь — жена банкира. Супруга его умерла много лет назад, и он, казалось, мучается одиночеством, потому его благодарность к Майре Джефсон за то, что она пришла, выглядела чуть ли не преувеличенной — и она невольно должна была бы почувствовать себя в долгу, однако Майра вовсе так не считала и, сославшись на то, что у нее билеты в театр, ушла рано. Зато я был благодарен: дядюшка совершенно очевидно рассчитывал на то, что Майра поможет мне свести знакомство с местными молодыми людьми.

Теперь, когда я снова оказался в числе его служащих, разговор наш принял более задушевный характер. Старая вражда и обиды были позабыты. Я снова любил дядюшку и, ценя его доброту — ведь он дал мне работу после такого фиаско, — чувствовал, что сгораю от искреннего желания проявить себя как можно лучше.

Мы говорили о бизнесе и о возможностях, которые он открывал. Дядюшка давал мне шанс продвинуться, если я приложу соответствующие усилия. Я тепло поблагодарил его.

— Надеюсь, это надолго, — сказал он, и я вспомнил о приглашении в сундучке. Не окажусь ли я обманщиком, если скрою этот факт?

— Испытайте меня, — ответил я, — и позвольте мне испытать вас, если окажется, что мне захочется чего-то еще.

— Разумеется, — сказал дядюшка несколько напряженным тоном, — ты должен занять свое место среди нас, тогда ты будешь вполне доволен.

Какое-то время оба колебались, наконец дядюшка заявил, что хочет поговорить начистоту.

— Говорите все, что думаете, дядюшка.

— Не знаю, что у тебя на уме, — начал он, — однако похоже, ты довольно долго прохлаждался там, в Островитянии. И уж, конечно, не сделал все от тебя зависящее как консул. Напомню тебе, что я использовал все рычаги, чтобы заполучить это назначение. У тебя был шанс, но ты его не использовал. Ты знаешь язык и водил дружбу с представителями самой влиятельной, хотя и избравшей неверную позицию семьи. Я не говорю, что ты мог что-то сделать при том обороте, какой приняли дела, но я ждал, что ты хотя бы попытаешься вразумить своих друзей. Ждал, но не дождался.

— Это слишком близкие друзья.

— Тем более.

— Разве можно «вразумлять» друзей?

— В политике — да, а это была политика, а не общественное собрание.

— Я говорил с ними. Мы говорили как друзья, высказывали каждый свою точку зрения, даже спорили, но никто не пытался обратить другого в свою веру. И думаю, я вряд ли смог бы на них повлиять.

— Значит, ты признаешь, что не пытался. В этом основная ошибка.

— Однажды я попробовал — устроил «Плавучую Выставку».

— Это была твоя идея?

— Отчасти, и еще одного человека, по фамилии Дженнингс.

Дядюшка улыбнулся:

— Он крутился тут одно время, искал работу. Жалкий тип. Сначала говорил, что мысль была его, но, когда несколько фирм попросили вернуть деньги, он тут же стал уверять, что задумка — твоя, — промолвил дядюшка досадливо. — Твоя идея дорого стоила многим моим друзьям. Они не любят швырять деньги на ветер и просто прохождению мне потом не давали: «Джо, а где же та тысяча, которую я вложил в дело твоего племянника?».

— Где сейчас Дженнингс?

— Уехал куда-то на Запад.

— Вы сказали — у него был жалкий вид?

— Слишком много пьет... Мысль-то была хорошая, если бы она сработала. Но увы. Все бы это еще ничего. Я не в претензии насчет затеи с выставкой, и то, что ты не смог переубедить кучку твердолобых консерваторов, — тоже не страшно. Но ты отказывался помочь своим соотечественникам. Вот что главное.

— Тут есть обратная сторона, дядюшка.

— Я знаю. Они добивались от тебя того, что ты считал незаконным, но если ты не можешь оказать услугу влиятельному человеку или тебе кажется, что не можешь, то, по крайней мере, сделай для него хоть что-нибудь. У тебя была прекрасная возможность произвести хорошее впечатление на нескольких очень влиятельных людей, Джон. Но ты был слишком занят Бог весть какими делами... Кстати, почему ты не вернулся сразу, в июне прошлого года? Пора было уезжать. Я понимаю, что произошло, эта работа не по тебе. Когда в министерстве стали искать случая сместить тебя, я и пальцем не шевельнул. Ты совершенно попусту терял время, топтался на месте. Я писал тебе, чтобы ты скорее возвращался! А чем ты занимался вместо этого?.. Писал статьи в газеты!

Было бы любопытно узнать, свелись ли все старания дядюшки к тому, чтобы не пошевелить и пальцем.

— А почему мне следовало тут же возвращаться? — спросил я.

— По-моему, это абсолютно ясно, — решительно отвечал дядюшка, как бы ставя точку в разговоре.

На следующий день, 5 февраля 1909 года, в восемь тридцать утра я вошел в контору дядюшки Джозефа Ланга — так, словно делал это каждый день всю жизнь — и направился к отведенному мне столу, на котором лежала стопка промокательной бумаги, стояли чернильница, перья, а по бокам — две пустые проволочные корзины. Через несколько минут молодая женщина принесла мне письмо, пачку корреспонденции и, сказав, что, если мне потребуется что-либо продиктовать, она в любой момент к моим услугам, — удалилась. Я стал читать, забытые навыки оживали. Работа началась.

День тянулся медленно, долгий, но не дающий скучать, и под конец я уже со многим ознакомился, припомнил кое-что из опыта прошлых лет, узнал о сроках заключения ряда сделок и испытал приятное чувство удовлетворенности, завершив несколько — пусть и не столь

важных — дел. Моя должность у дядюшки никак специально не называлась, у меня не было строго очерченного круга обязанностей, я просто исполнял ту работу, которую мне препоручали. Не будучи в обычном смысле слова клерком или секретарем, я, как никогда раньше, ощущал себя племянником босса, проходящим испытательный срок.

Уже стемнело, когда я вместе с тысячами таких же, и даже более молодых, но уже успевших продвинуться на пути к успеху людей отправился домой, в пансион, в комнату, по размерам примерно такую же, как та, в которой я жил у Файнов, но со всевозможными ковриками и половичками, картинками на стенах, занавесками, покрывалами и прочими безделушками, долженствовавшими придать жилищу домашний уют. Потом я поужинал за общим столом в компании незнакомых мне людей, которые почти не обратили внимания на мое приветствие и продолжали беседовать о новостях пансиона, о каких-то незнакомых мне лицах, впрочем, то и дело как бы вскользь задавая мне не без подвоха вопросы, с тем чтобы выяснить, кто я и что я, и лишь после этого их обращение со мной стало более непринужденным.

В конторе было интереснее и приятнее, чем в пансионе, но комната мне обходилась дешево. Часы, проведенные в ней, приносили ощутимое чувство удовлетворения при мысли о том, что затраты мои меньше, чем доходы, хоть я и не вполне понимал, чего ради я экономлю.

Первое воскресенье в Нью-Йорке я ужинал вместе с кузиной Агнессой Джефсон, дочерью дядюшки Джозефа, женщиной лет сорока пяти, ее мужем-банкиром, их сыном и еще одной женатой парой. Майра уехала куда-то на уик-энд. Хозяева отнеслись ко мне тепло, по-родственному. Блюда подавались вкусные.

— Тебя так долго не было, — сказала Агнесса, — но наконец-то ты вернулся, правда?

Да, это была правда. Я вернулся, и это само по себе немало значило.

Стараясь поддержать беседу, я начал было рассказывать об Островитянии — выбрав единственную тему, новую для сидящих за столом, — но скоро заметил, что интерес их к моему рассказу чисто поверхностный и скорее продиктован вежливостью. У них, да и у тех, с кем я встречался потом, любое упоминание об Островитянии вызывало одинаковую реакцию: для них это было нечто старомодное и смешное, вроде старой забавы — человечка на ниточках, дергающего руками и ногами. Мнение об Островитянии сложилось единое: отсталая сельскохозяйственная страна на краю света, лишенная даже экзотической привлекательности Японии и Китая, тоже некогда закрытых; страна, упрямо отвергающая прогресс, но обреченная рано или поздно открыться и усвоить хоть какие-то плоды цивилизации, и просто чудо, что она еще так долго держится! Когда я пытался растолковать (испытывая постоянные затруднения) некоторые из островитянских взглядов на жизнь, слушатели мои если и понимали меня, то находили их забавными, и не более. Джефсонов, как и обитателей пансиона, интересовала только окружающая жизнь, иной они не знали, и скоро я понял, что путешественнику, даже если его официально приглашают прочесть лекцию, лучше сначала тихо посидеть на каком-нибудь общественном собрании, чтобы познакомиться с местной жизнью, какой бы скучной она ему ни казалась, и лишь потом выступить самому!

Во всем, что не касалось бизнеса, я в окружающей меня жизни как бы и не существовал и не мог ни среди моих кузин, ни в компании дядюшкиного сына-юриста и его семьи найти себе подходящей роли. Это походило на то, как пытаются склеить разорванный лист бумаги. Мы осторожно подгоняли половинки друг к другу, но клей высох, и, несмотря на чистосердечные обоюдные старания, половинки не соединились.

Со стороны родственников последовал ряд соблазнительных предложений на ближайшее время, к тому же они просили навещать их, не забывая при этом добавить, что их часто не бывает дома. Я ответил, что, конечно, буду заходить и очень благодарен, но половинки бумажного листа оставались каждая сама по себе, без особых сожалений и обид.

В конторе тем не менее я вскоре начал ощущать себя активным участником происходящего, здесь меня не покидало чувство собственной значимости. Разнообразие и космополитизм международной торговли завораживали, даже если вам почти постоянно приходилось сидеть в небольшой комнатухе и следить за событиями вы могли только по бумагам. Впрочем, в конторе довольно часто появлялись люди из различных концов света, говорившие не только о делах. Жизнь, которую я вел, полностью поглотила меня, окутала, как удивительный сон, и Островитяния казалась теперь яркой и живой, но очень далекой. К вечерам в пансионе я притерпелся, весь погружаясь мыслями в завтрашний день. Больше мне ничего не было нужно.

Впрочем, за мной еще оставался визит к Глэдис Хантер. Последнее письмо от нее, написанное в октябре, когда Глэдис еще не знала о моем намерении вернуться, представляло набросанную впопыхах краткую записку, поскольку Глэдис боялась пропустить очередной пароход, увозивший почту, и не хотела, чтобы наша переписка прервалась. Она сообщала только, что занята и более подробно расскажет обо всем в следующем письме. Однако оно меня уже не застало. Так что последним оказалось именно это краткое послание; мое же последнее письмо Глэдис было отослано в ноябре, тремя месяцами раньше, но до этого наша переписка шла очень активно. Мы писали друг другу едва ли не каждый месяц, и у меня хранился пакет примерно с двадцатью письмами, присланными мне из Нью-Йорка и разных городов Европы, пухлый не потому, что Глэдис писала длинные письма, а из-за ее по-детски крупного почерка. Всякий раз она так прочувствованно благодарила меня за мои письма, словно я оказывал ей великую милость, неизменно откликалась на то, о чем я ей писал и что казалось ей забавным и интересным, а иногда и дополняла мои рассказы и впечатления своими, сходными, или же сведениями, вычитанными из книг. Время от времени она сообщала мне кое-какие новости американской или европейской жизни, которые вряд ли можно было почерпнуть из газет, порой задавала вопросы касательно Островитянии, но не особенно распространялась о своих делах, вообще ничего не писала о своих мыслях, и лишь однажды у нее вырвалось: «Я начинаю чувствовать себя очень важной, потому что вы пишете мне такие замечательные письма, и я ужасно польщена. Я до них еще пока не доросла, но надеюсь, что вы по-прежнему будете писать!!!!». Я помнил только, как она выглядела в ноябре 1906 года, более двух лет назад, когда ей было семнадцать; год назад она начала «выезжать», побывала в Европе, сейчас ей было уже почти двадцать, и письма ее были просты, сдержанны, умны и обворожительны.

И все же я откладывал встречу с нею, возможно побаиваясь, что вместо Глэдис, какую я знал по письмам, встречу незнакомую, повзрослевшую женщину, и, пожалуй, еще больше оттого, что мне было немножко стыдно перед ней. Если пачка ее писем ко мне была увесистой, то моя была еще больше, хотя почерк у меня мелкий. На многих и многих страницах я описывал ей островитянскую жизнь и свои чувства — вещь странная для почти двадцатисемилетнего молодого человека по отношению к школьнице, которую он едва знал, которая даже еще не «выезжала»; и, вспоминая некоторые из этих писем, я корил себя за напыщенность и претензии на глубокомыслие.

Все это заставляло меня откладывать визит до середины месяца, но однажды днем в воскресенье я подошел к большому многоквартирному дому — последнему адресу Хантеров. Швейцар сообщил мне, что миссис Хантер два месяца как умерла, а молодая мисс Хантер сразу после этого переехала. Он сказал также, что не может дать мне ее новый адрес, поскольку это против правил, но посланное сюда письмо будет переслано по назначению. Выслушав все это, я испытал горькое разочарование. Тем же вечером я написал Глэдис ласковое письмо, в котором выразил надежду, что она — в пределах досягаемости и я рассчитываю вскорости увидеться с ней.

В среду, вернувшись в пансион, я обнаружил на столике в холле письмо и сразу узнал почерк Глэдис, который хоть и изменился, повзрослел, но оставался все таким же размашистым. Она благодарила меня за мою весточку и писала, что находится в Нью-Йорке с первого января, что вечерами обычно бывает дома и будет рада вновь меня видеть. Жила она совсем неподалеку от пансиона.

На следующий вечер, пройдя несколько кварталов по скользким тротуарам, я очутился перед пансионом, далеко не таким привлекательным, как мой, хоть я и гордился своей экономностью. В довольно неопрятной, тускло освещенной гостиной, служившей обычным местом встреч, неаппетитно пахло кухней и не было и намека на картины и безделушки, способные придать помещению уютный, домашний вид. Тут я остался дожидаться Глэдис.

Высокая, с меня ростом, молодая женщина вошла в комнату и, подойдя, взглянула мне в глаза и протянула свою тонкую длинную руку.

— Здравствуйте, Глэдис!

— Здравствуйте, Джон!

Я испытал странное чувство — словно назвал незнакомую женщину по имени, но было неизъяснимо приятно слышать, как голос этой незнакомки, ровный, хорошо поставленный, произносит мое имя. Глэдис была уже не той семнадцатилетней девочкой, какой я ее видел в последний раз, но и не такой, какой рисовалась мне по письмам. Выглядела она старше, чем на свои двадцать лет, более взрослой, с тенями под выразительными, ясными глазами. Она явно выросла и при этом держалась так по-взрослому и с таким достоинством... Мы сели, и Глэдис стала расспрашивать о моих делах, причем мне, конечно, льстило, что она до мелочей помнит все, о чем я писал в последнем письме. Ей было легко со мной, и она с удовольствием вела беседу, в то время как я искал в ней следы прежней Глэдис.

— А чем вы сейчас занимаетесь? — прервал я ее.

Она переменила позу, нервно закинула ногу на ногу. И вдруг мне вспомнилась грациозно неуклюжая, длиннорукая и длинноногая девочка-подросток. Чтобы развить преимущество, я взял нити беседы в свои руки. Глэдис вкратце рассказала о смерти матери. Сама она сейчас училась в художественной школе. Ей приходилось работать, чтобы зарабатывать на жизнь. У ее матери был какой-то капитал. Но все это случилось так неожиданно. Глэдис действительно хотела стать мастером своего дела, но сомневалась, хватит ли способностей... Она была немногословна, но откровенна. Говорила спокойно и легко, но за этим чувствовалось скрытое волнение.

Задумавшись над ее словами, я замолчал, вновь предоставив ей вести беседу. Разговор наш походил на оживленное сражение, в котором каждый горячо желал прежде всего ввести собеседника в курс последних событий, при этом вовсе не возражая уплатить дань побежденного, открыв ту или иную подробность из своей жизни.

Три жильца прошли мимо двери, каждый задерживался, заглядывал в гостиную и спешил дальше.

Глэдис улыбнулась широкой улыбкой, а затем рассмеялась, звучно, заразительно. Это было ново; судя по письмам, чувство юмора у нее отсутствовало, хотя, как знать, может быть, четыре восклицательных знака в конце фразы: «...вы по-прежнему будете писать!!!!» — и были поставлены с такой же, от самого сердца идущей улыбкой. Взглянув на нее, я вдруг осознал, что сидящая передо мной молодая женщина написала мне целых двадцать писем, держа перо вот этими длинными белыми пальцами, сплетенными на колене, и ее усталые, но живые и веселые, ясные карие глаза внимательно прочли каждое слово, написанное моей восторженной скорописью.

— Меня редко навещают, — сказала она, и на щеках ее обозначились глубокие ямочки, —

и жильцы, по-моему, сторают от любопытства. Скажу им, что вы — выдающийся дипломат...

— Которого попросили поскорее оставить свой пост.

— Да, вы писали. Но, похоже, вы не очень жалеете. И мне тоже ваша работа не очень нравилась.

— В ней не было нужды.

— Что ж, я рада... Я так полюбила ваши письма.

— А я — ваши.

— Мои? Я старалась изо всех сил, но у меня ничего не выходило. Я просто не знала, что делать, и была в полнейшем отчаянии. Наша переписка легко могла прерваться, но когда я поняла, что вы довольны моими усилиями, то решила продолжать.

— Так, может быть, стоит и теперь?

— Конечно! Из чисто эгоистических побуждений, хотя я и раньше была несправедлива, получая так много и так мало давая сама.

— Презабавно! Мне все время казалось, что это я перед вами в долгу.

— Отнюдь нет! — сказала она и добавила: — Вы должны написать книгу про Островитянию. Я достаточно много читала об этой стране, но только вы меня по-настоящему заинтересовали. — Она слегка покраснела. — Все остальные книжки никуда не годятся.

— Я не могу написать книгу. Не могу даже объяснить, что это, в сущности, такое — Островитяния. Не хватает слов.

— Я думаю, вы сможете. Это видно по вашим письмам.

— Мои письма — сплошные эмоции и фантазии.

— Да, это там есть, но есть также и много ценного и хорошего. Как-то я прочла одно из них маме — то, которое мне особенно нравилось. Она рассмеялась и сказала: «У твоего молодого человека весьма цветистый стиль, ты не находишь, Глэдис?». Я так рассердилась, что потом несколько дней едва могла с ней говорить.

Внезапно лицо ее стало замкнутым, словно она испугалась, уж не сказала ли лишнего. Я рассмеялся — она была права. Глэдис с облегчением вздохнула:

— Помните, вы пишете в одном месте: «Пусть это и чересчур, но я не могу не написать этого». Мне так понравилось. В письмах все звучит так замечательно... Напишите книгу!

Я почти уже забыл, что образ Глэдис распался для меня на два. То и дело во время нашего разговора он сливался в один, цельный — образ женщины, повзрослевшей и вобравшей в себя качества обеих Глэдис. Возвращаясь в тот вечер домой, я думал о том, что мы условились пойти на будущей неделе в театр и, конечно, будем говорить об Островитянии.

Миновал месяц моей работы в конторе, пора было получать деньги, и дядюшка Джозеф, которого мне приходилось видеть нечасто, снова пригласил меня на ленч. Он сказал, что я пока неплохо справляюсь, я же ответил, что работа меня очень увлекает. Дядюшка поинтересовался, чем я занимаюсь в свободное время. Когда выяснилось, что мой кузен и кузины всего лишь раз пригласили меня в гости и больше не объявлялись, он был раздосадован.

— Как я устал от этой молодежи, — сказал он. — Когда я бываю у них, Агнессу часто зовут к телефону, чтобы пригласить пообедать или сходить в театр, и, если у нее есть предварительная договоренность с какой-нибудь знаменитостью, она говорит: «Извините, никак не могу, сегодня мы обедаем у Морганов», — но, договорившись с людьми вроде нас с тобой, она отвечает: «Ах, я была бы так рада. Правда, я уже приглашена сегодня и боюсь, мне не удастся». А потом все легко переигрывает, если нужные люди ее попросят. Джо не лучше. — Дядюшка замолчал, задумался. — Но я позабочусь, чтобы и ты встречался с нужными людьми, — продолжал он. — Ты еще молод. Сам я уже не выезжаю, как раньше. Слишком

много дел, и сил уже не хватает. Берегу их для работы. Но насчет тебя я что-нибудь придумаю.

То, что я живу в пансионе, дядюшка тоже не одобрил.

— Тебе следует устроиться попримичнее, — сказал он, — и если все дело в деньгах...

Я испугался, что он в виде милости увеличит мне жалование и тем самым еще крепче привяжет к себе.

— Нет, нет! — быстро сказал я. — Действительно, я хочу кое-что откладывать, но пансион более чем комфортабельный.

— Но зачем откладывать? — На этот вопрос нелегко было ответить, впрочем, дядюшка сам же и выручил меня, спросив: — Уж не задумал ли ты жениться?

— Не совсем так, дядюшка Джозеф.

— Ты еще слишком мало сделал, чтобы жениться. Подожди немного. И сначала хорошенько узнай свою барышню... Уже кого-нибудь приглядел?

После минутного колебания я назвал имя Глэдис, с которой мы однажды встречались, потом ходили в театр и собирались на прогулку в воскресенье утром. Дядюшка поинтересовался, кто она такая, и, выслушав мой рассказ о ее обстоятельствах, сказал:

— О, это опасные женщины. Будь начеку, Джон. Подожди, пока я не подберу тебе хорошую пару. Верный выбор окупится сторицей.

— В каком смысле, дядюшка?

— Во всех! — резко ответил он, и я понял, что дядюшка имеет в виду так называемые «удачные партии» и, если я оправдаю его надежды, он поможет мне и материально.

Помимо прочей разнообразной деятельности, «Джозеф Ланг и К^о» выступала в роли посредника некоторых американских фабрикантов, помогая им устраивать сделки с границей. В мои руки попала подборка писем, рисовавших примерно такую картину: некий покупатель прислал нам из Франции запрос о приобретении партии товара у одного из фабрикантов по цене несколько выше той, по какой товар этот шел здесь. Главный клерк нашей конторы быстро дал ответную телеграмму о том, что предложение принято. Покупатель-француз сообщил, что при подсчетах один из его служащих допустил ошибку и фирма просит расторгнуть сделку. Приказ об отправке товара был уже подписан, и фабриканты вовсе не собирались менять договоренность в связи с чужой ошибкой в расчетах.

Мне казалось вполне очевидным, что французов следует извинить, наши же отношения с производителями оставляли право решать за нами. Я составил и уже чуть было не отослал письмо покупателю о том, что приказ отменен, но в последнюю минуту решил все-таки посоветоваться с дядюшкой Джозефом и показал ему готовое к отправке письмо.

— Что это? — резким тоном спросил дядюшка. — Но разве француз не несет ответственности?

— Я думаю, что...

— Ты консультировался с Таким?

Это был наш поверенный.

— Нет, — ответил я. — Вопрос об ответственности кажется мне в данном случае несущественным.

— Почему?

— Они допустили ошибку, но наш клиент не понес никакого ущерба.

— Мы теряем комиссионные.

— Разве это так уж важно, дядюшка?

— Если б это было не важно, ты бы здесь не сидел! Боишься, что этот француз больше не захочет иметь снами дела? Не беспокойся. У нас эксклюзивное агентство, а товар ему нужен.

Он снова обратится к нам, увидишь.

— Об этом я тоже не подумал.

— Так о чем же ты думал?

— Я полагаю, это несправедливо.

— Чисто правовой вопрос. Посоветуйся с Таким. Если по закону они несут ответственность, пусть забирают товар или платят за отказ от сделки. Будь пожестче, Джон. Нас уже один раз так подловили, и нам пришлось платить. Не давай этим французам прижимать тебя к стенке.

Я посоветовался с Таким, который сказал, что оплошность французов не снимает с них никаких обязательств.

Мне ситуация представлялась следующим образом: производители и мы получали прибыль, которую ни мы, ни они не получили бы при нормальном развитии событий, француз терял определенную сумму исключительно по вине одного из своих служащих; однако установление, именуемое законом, предписывало именно такой ход вещей и такой итог... Я принялся размышлять — почему... Если бы дядюшка Джозеф по ошибке вернул своему приятелю, которому был должен десять долларов, двадцатидолларовый банкнот, то он стал бы презирать этого человека, не верни ему тот переплаченные деньги, равно как и сам кредитор в подобной ситуации обязан быть крайне щепетильным. Закон должен был вынудить его к щепетильности. Так в чем же разница? Какое значение имел тот факт, что француз все равно обратится к нам, поскольку заинтересован в этой сделке? Кто-то был неправ: либо я, либо дядюшка, либо закон, либо положение вещей, которое способствовало существованию подобного закона.

Я написал французам то, что от меня требовали, чувствуя себя при этом крайне удрученным, поскольку мне вплотную пришлось столкнуться с проблемой того, что правильно, а что нет, но больше всего меня удручала неуверенность: я сомневался, не нарушает ли мое первое самостоятельное решение работу хитроумного механизма коммерции. Если и дальше я буду подвергаться подобному нажиму, вряд ли мне удастся сохранить независимость и улаживать дела в соответствии с собственными взглядами и представлениями. И я по-прежнему не понимал, почему было принято именно такое решение.

Но это была лишь одна проблема из многих. Мне очень хотелось обсудить ее с кем-нибудь, и я вспомнил о брате Филипе и о своем островитянском друге. От каждого из них я мог бы услышать мнение и точку зрения, которая позволила бы мне взглянуть на ситуацию свежим взглядом.

Свежесть и ясность взгляда — вот в чем я нуждался, но обрести их при моей теперешней жизни было нелегко. Мне не оставалось ничего иного, как работать дальше, и я продолжал работать.

Дни мелькали один за другим, работа все так же полностью поглощала мои мысли и время. Погруженный в интересное для меня дело, полный сил, я чувствовал себя вполне счастливым. Эпизод с французом остался позади, но я еще долго мысленно возвращался к нему.

После одного из таких дней я очень устал. В сумрачном свете угасающего дня из окон моей комнаты были видны одни лишь темные, синевато-серые стены зданий, протянувшаяся над ними узкая полоска такого же сине-серого, только чуть посветлее, неба и желтые ряды светящихся окон. Снизу доносился шум улицы: гудки машин, голоса толпы. Я устал, но не так, как бывало в Островитянии, когда, утомившись, я погружался в крепкий, сладкий сон; сейчас я лежал совершенно без сил, но сон не шел, мозг продолжал лихорадочно работать. Я ощущал в себе биения разнообразных желаний, но тело было безвольным и нуждалось в подкреплении, будь то стакан вина или что-то еще, чтобы восстановить жизненные силы, энергию,

переполнявшую сейчас мой мозг. Нужно было что-то, что вернуло бы мне спокойное ощущение цельности, умственной и физической.

Я увидел, как стенографистка в окне напротив надевает пальто, готовясь выйти на улицу. На расстоянии она выглядела привлекательной, мысль о ней сладко дразнила и будоражила. Мне хотелось близости с женщиной. Обладание ею, крайнее физическое усилие могло дать хотя бы иллюзию цельности, заставить меня забыть, снять напряжение. Мне не надо было от нее ни ласки, ни любви — острый телесный голод влек меня к ней. Однако мысль о последствиях, о том, что я буду чувствовать, если это случится, была отвратительна... Как легко было бы назвать это отвращение врожденной нравственностью! Как легко — расценить то, чего мне хотелось, как нечто само по себе порочное! Сознание внутренней ущербности, греховности казалось неотъемлемой частью внутреннего раздвоения, вызванного усталостью... Понял ли бы меня Дорн? Мне захотелось рассказать ему об этом. «Посмотри, — сказал бы я ему, — до чего такая жизнь может довести мужчину!»

Впрочем, я знал, что порекомендовало бы мне большинство моих сограждан: раздвоенность не страшна, с ней нужно бороться, давая организму дополнительную нагрузку в виде физических упражнений. Смешно! Советовать человеку, который сам довел свой мозг до опасного перенапряжения работой, отказаться от которой было бы нелегко, упражнения, чтобы довести до такого же изнеможения и свое тело, и без того изнуренное работой мысли! Зло коренилось в самом устройстве жизни, и никому не было до этого дела. В приступе обманчивого ясновидения — следствия усталости и измотанных нервов — вся эта теория показалась мне наивной и нелепой, как предписания средневековых врачей, советовавших использовать омерзительные средства, например выпотрошенных крыс, для лечения не менее омерзительных болезней — таких, как бубонная чума.

Несколько дней спустя мы снова пошли с Глэдис в театр. Она не особенно переживала за свою внешность, и вид у нее был повседневный, даже несколько неухоженный, хотя врожденная опрятность и миловидность все равно делали ее приятной спутницей.

— Вам случалось сильно уставать? — спросил я.

— Ужасно устаю. А что, заметно?

— Нет, — быстро ответил я, хотя это и было неправдой.

— Зато вы выглядите усталым, Джон. Когда мы встретились в первый раз, вы были такой загорелый, цветущий. Вы слишком много работаете. — Она окинула меня ласковым, заботливым взглядом.

— Но вы тоже много работаете, Глэдис.

— А что мне остается?

— Глэдис, — сказал я после раздумья, — по-моему, дело не в том, что мы слишком много работаем. Вам никогда не казалось, что вся беда не в тех долгих часах, которые мы проводим за работой, а в ее природе, в сложности жизни, с которой мы ежедневно сталкиваемся, постоянно внушающей нам чувство хаоса?

— Я слишком устала, чтобы сейчас во всем этом разобраться, — ответила она, — но звучит убедительно.

И я так и не понял, к чему относились ее слова: к тому, что она чувствует во мне родственную душу, или к пьесе, для сюжета которой была взята некая социальная проблема, чье умелое решение в упрощенной и сжатой форме преподнес нам автор.

Пришла весна, но не как очередное, сменяющее своего предшественника время года, приход которого чувства отмечают день за днем, а как гость, неожиданно навестивший город,

как важная персона, чье присутствие вдруг заметили: «Смотрите-ка, похоже, весна!».

Весна для большинства горожан сводилась к тому, что теплые пальто приходилось менять на одежду полегче. В потеплевшем воздухе сильнее ощущались привычные городские запахи — овощей, влажного асфальта, жареных кофейных зерен, бензина. В небе, на которое мы глядели из глубины уличных расщелин, весну можно было заметить по белоснежным пышным облакам, плывшим на фоне более темных в обрамлении яркой лазури, и то и дело на город обрушивались недолгие теплые ливни.

Апрель... Наверное, мой друг Наттана уже получила посылку со швейной машинкой и сочиняет благодарственное письмо, сидя в одной из комнат Нижней усадьбы, куда она перебралась, помирившись с отцом... А у Дорны уже, возможно, родился ребенок. Хорошо бы узнать, как она.

Не знаю почему, но мне было приятно думать, что в Островитянии сейчас не весна, а осень.

Дядюшка Джозеф сдержал слово. Я стал получать разного рода приглашения. Кузины снова вспомнили о моем существовании. Свободных вечеров почти не оставалось. Но понемногу публика начала разъезжаться, причем каждый считал долгом упомянуть, что осенью надеется познакомиться со мной поближе. Проявлений симпатии было хоть отбавляй, но за всеми ними чувствовалась рука дядюшки. Меня принимали как его племянника, но сам по себе я был всем достаточно чужд. Да и мне иногда казалось, будто я — иностранец, которого лишь поверхностно интересуется то, что так волнует их всех. На работе я больше ощущал себя дома: я жил ею.

Настал май, и во время одной из наших воскресных утренних прогулок Глэдис неожиданно сообщила, что через несколько дней покидает Нью-Йорк до осени, а может быть, насовсем. Курс ее обучения подошел к концу, и она решила перебраться к своим родственникам в Вермонт, где жизнь была дешевле. Она говорила о своей работе не меньше, чем я о своей, но ни разу не сказала, как действительно относится к ней или что думает делать в будущем. Глэдис шла, глядя прямо перед собой, в своей длинной юбке, стеснявшей движения, и губы у нее дрожали, как у ребенка, который вот-вот заплачет. Ей было всего двадцать.

Я шел рядом и с волнением слушал, раздираемый желанием помочь и боязнью вмешаться. Проще всего было, разумеется, держаться в стороне.

— Очень жаль, что вы уезжаете, — сказал я. — Надеюсь, вы все же вернетесь. С вами я мог говорить о вещах, которые так много для меня значат. Милый, дорогой мой друг. Все было так замечательно с самого начала, правда, Глэдис?

— Да, конечно! — коротко ответила она.

— Вы редко делились со мной тем, что у вас на душе. Может быть, просто не хотели. Но я хочу, чтобы вы пользовались моим расположением, как я — вашим.

Я почувствовал на себе ее взгляд.

— Друзья обычно не используют расположение другого в полной мере. Они слишком боятся этого. Разумеется, приятно просто знать, что у тебя есть друг, всегда готовый помочь тебе. Так что на меня можете рассчитывать. Я всегда готов все внимательно выслушать, и я очень люблю вас.

— Я тоже, — отозвалась Глэдис.

— И я не обделен кое-каким умом, — добавил я. — А если два ума объединятся, даже когда один из них вполне заурядный, результаты часто бывают хорошие.

— Не скромничайте, — сказала она, улыбнувшись, потом продолжала уже совсем другим тоном: — Только вот... я ни на что не гожусь. Я не знаю, что даст мне моя работа... Конечно, мне не хотелось бы докучать вам, но вы умнее меня и должны помочь мне достичь успеха в том, чем я занимаюсь. У других в нашей школе есть место, где они смогут работать летом, а у меня

— нет. И даже никаких идей, что мне делать дальше. Но и это не все! Я знаю, что должна цепляться за свою работу, не унывать и не сдаваться, но меня так и подмывает вдруг, разом все бросить!.. Я так восхищалась вами. Вы не говорили прямо, но я сама догадалась, что вам не все нравится в том, чем вы занимаетесь, но вы все равно идете по избранному пути. Мне тоже хотелось бы так же, но я не люблю и никогда не полюблю то, что мне приходится делать. В лучшем случае это просто был бы неверный путь, теперь же я вижу, что это — тупик! — Она невесело рассмеялась.

— Чем вы собираетесь заняться летом? — спросил я.

— Буду делать то, что хочу, — ответила она с жаром. — Не буду больше жаться и экономить. Разумеется, следовало бы обивать пороги, искать подходящую работу или обучаться стенографии или чему-нибудь вроде. Вместо этого я собираюсь рисовать пейзажи — может, кто-то купит, хоть я сама знаю, что ничего не продам и что все я делаю не так!

— Сколько у вас осталось денег, Глэдис? — спросил я.

— У меня осталось или, вернее, оставалось пять тысяч, потому что тратить следовало только заработанное. А я поступаю как мама, она тоже жила на наследство. Отец оставил не так много денег, как она надеялась, и хоть и экономила на мелочах, но жила по старой привычке — широко. Привычка испортила ее, и меня тоже.

— А родственники у вас есть?

— Мне не хотелось бы долго жить за чужой счет. Я должна научиться обеспечивать себя сама, но я не вижу выхода, в то время как... — Она резко умолкла.

— Пока у вас остались деньги, вы еще успеете найти работу, — сказал я.

— Они быстро тают.

Никогда я не видел ее такой нерешительной и потерянной. Что можно было сделать для нее, если она действительно была такой — как она призналась — бесталанной? Прежде она жила под родительским крылом, и это испортило ее: да, она слишком привыкла к роли леди. Внезапно я ощутил свое полное бессилие и одновременно вспомнил, с какой естественной легкостью помогали мне когда-то Дорн и Файны. У меня были другие трудности, но, окажись я, подобно Глэдис, в тисках бедности, они и тут без колебания выручили бы меня. Я ничего не платил им, просто работал, насколько это было мне под силу. В Островитянии Глэдис никогда не оказалась бы в такой ситуации, как здесь, но, если бы это и случилось, что произошло бы дальше? Я не сомневался, что рано или поздно она нашла бы свое место среди друзей.

Я высказал свои соображения вслух, и, пока говорил, мне живо рисовалась уютная, просторная усадьба, а не переполненный дом некоего родственника, в котором ты чувствуешь себя нахлебником; Глэдис — в своем небольшом домике, похожем на домик Неттеры, или в своей комнате, вроде той, где я жил у Файнов, занятая какой-то работой для своих хозяев, как то делал я, но всегда находящая время для рисования или резьбы. Я представил себе усадьбу на реке Лей...

— Я бы хотел, чтобы у меня было собственное жилище, где я мог бы предложить поселиться и вам, — сказал я, — но пока у меня его нет... пока, хоть я и подумываю об одном предложении. Но как бы то ни было, сейчас у меня есть лишние деньги. Вы так одиноки, позвольте же мне быть вашим хорошим другом! Позвольте сделать вам небольшой подарок. Конечно, вы всегда можете вернуть мне долг, если захотите...

— До такого я еще не дошла.

Голос ее звучал жестко, холодно, как у обиженного ребенка... Сначала я не понял, в чем дело, но вдруг кровь бросилась мне в голову и прилила к щекам. Над верхушками деревьев виднелись высокие здания, окружающие Центральный парк, и я понял, где нахожусь.

— Вы превратно истолковали мои слова, Глэдис.

Девушка не отвечала. Мы молча продолжали идти вперед.

— Было так чудно, но вы все испортили, — сказала Глэдис.

— Это страна — дурное место, — сказал я, не желая вдаваться в долгие, скучные объяснения.

— И слушать вас не хочу. Я и сама это знаю, но это еще не значит, что...

— Выслушайте меня, пожалуйста. Я не намерен терять вашу дружбу.

— Вы ее уже потеряли.

— Нет, это вы хотите все испортить.

— И вы еще меня обвиняете?

— Нет, но вы будете сами виноваты, если не выслушаете меня.

— Говорить не о чем.

— Нет, есть...

— Нет! Я уже сталкивалась с подобным в школе, но чтобы вы! Никогда бы не подумала... — Она ускорила шаг.

— Послушайте меня, Глэдис!

— Нет, мистер Ланг.

— Вы напрасно унижаете меня.

— Это вы меня унизили.

— Нет, вы! Там, где я был, женское тело не покупают за деньги, и я и в мыслях не держал покупать вас.

— Мм! — яростно воскликнула она, как будто я снова больно обидел ее.

— Я полагался на свой опыт...

— Не говорите мне ничего! Я иду домой.

Я по-прежнему шел рядом. Глэдис молчала. Она направлялась к выходу, и я чувствовал, что, стоит позволить ей дойти до автобусной или троллейбусной остановки, все будет потеряно.

— Файны приютили меня, — сказал я. — Я писал вам об этом, но никогда не упоминал, что был практически нищим. В их доме для меня нашлось место. Мы стали друзьями. Я ничего не платил им. Просто работал, но не весь день, да они и не просили.

— Вы не девушка!

— Я и думал о вас как о друге, а не как о женщине. Я представлял, как стал бы вести себя в Островитянии и как вы смогли бы устроиться там, я думал о том, что ваш друг мог бы сделать для вас здесь. Здесь, как правило, принято помогать деньгами.

— Вы хотели предложить мне их в долг?

— Нет, просто в подарок, от всей души, как это сделали по отношению ко мне Файны.

— Вы сказали, что мне придется отплатить вам.

— Возможно, но вы ни в коем случае не должны чувствовать себя обязанной.

— Ах! — воскликнула она, закрывая лицо руками. — Откуда мне знать: может быть, вы, видя, что со мной это не проходит, решили представить дело иначе?

— Положитесь на меня.

— Как я могу? До сих пор мне было не в чем вас упрекнуть, но мама советовала никогда не доверять мужчинам. Она говорила, что они долго могут держаться прилично, но, как только девушка попадет в беду, они воспользуются этим и сделают что-нибудь ужасное!

— Глэдис, если бы мне что-нибудь было нужно от вас, я сказал бы это прямо, и вам не пришлось бы сомневаться. Так вы готовы меня выслушать? Только прошу вас — верьте мне!

Выражение ее лица смягчилось. Она сказала, что с удовольствием выслушает меня. Лучшего места, чем парковая скамья, было не придумать. Я рассказал Глэдис все о своей несчастливой любви к Дорне, о жизни у Файнов. И уже на этом фоне я попытался объяснить ей

мои истинные чувства, и тут пришлось сказать, что Островитяния по-прежнему жива в моем сердце, поскольку у меня есть возможность вернуться туда.

Вместо того чтобы отправиться каждому в свой пансион, мы пообедали в ресторане, где я продолжил свой рассказ, постепенно выходящий за рамки моей собственной истории. Мне захотелось показать Глэдис живую Островитянию, развеять все ее сомнения.

— Простите меня, — сказала она наконец. — Простите и поймите.

— Разумеется, и вы простите, что я невольно причинил вам боль.

— Да, это было потрясение, — ответила Глэдис. — В глубине сердца я не верила, что вы такой, но иного объяснения у меня не нашлось.

Потом она с улыбкой пообещала мне, что никому ни словом не обмолвится о Дорне и о моем приглашении.

Я проводил ее до дверей пансиона.

— Будь мы в Островитянии, — сказала Глэдис, — и окажись я в трудных обстоятельствах, я, пожалуй, и согласилась бы на ваше гостеприимство, но здесь лучше этого не делать. Так или иначе, еще не пришло время окончательных решений.

Она обернулась на прощание, веселая, улыбающаяся. Я чувствовал себя очень усталым, но на душе было легко.

Темп работы в конторе становился все напряженнее, но я приноровился к нему. Оглядываясь назад, я не без удовлетворения замечал, что кое-чего добился и немало дел было успешно завершено при моем участии. Каждое утро я находил одну из проволочных корзин полной, другую — пустой. Уходя вечером из конторы, я с гордостью оставлял первую из них пустой, а вторую — полной и подсчитывал в уме, сколько подшивок писем и контрактов с моей помощью переключалось из кабинетов, где хранились отложенные дела, в те, где складывались уже завершённые.

Стоявшие за этими бумагами сделки иногда казались нереальными, но время шло, и последствия их становились ощутимей, живей, и дядюшка Джозеф, так же как и старшие клерки, все больше проникался ко мне доверием. Глядя вперед, я видел, что меня ожидает твердый достаток и благополучие. Родственники были довольны. Матушка написала, что очень рада тому, что я наконец нашел свое призвание. Меня тоже радовали результаты моей деятельности, и я подумывал о том, что, возможно, осенью переберусь из пансиона в маленькую, но зато свою квартиру и куплю автомобиль. Близилось лето, и я уже получил довольно много приглашений на уик-энды и на время отпуска, сроки которого пока еще не определились. Новый разнообразный гардероб добавит мне привлекательности и привнесет новый интерес в жизнь. То и дело какая-нибудь яркая вещь привлекала мое внимание: набор посуды для коктейлей, серебряная сигаретница. Думал я и о том, чтобы заняться спортом — гольфом или теннисом — и совершать верховые прогулки в парке. В феврале, марте и апреле Джон Ланг влачил едва ли не затворническое существование, никем не замечаемый, встречался с одной-единственной девушкой, да и то не часто; в мае и июне это был уже многообещающий и идущий в гору молодой бизнесмен.

Жизнь расцвела новыми красками. Чем больше средств и возможностей появилось у меня, тем дальше заходили мои желания. Отовсюду манили соблазны. Пока я лишь приглядывался. Прошла неделя, и я ни разу не вспомнил о приглашении в Островитянию, все так же лежавшем поверх всего остального в моем дорожном сундучке. Вспомнив о нем, я окончательно укрепился в своем намерении, правда теперь оно сводилось не к тому, чтобы остаться в Америке на год, а скорее повременить с окончательным решением, пока год не кончится.

В переполненной корзине для деловых бумаг, взывающих к моему вниманию, я увидел письмо и сразу узнал по почерку руку Дорна. Я писал ему однажды, вскорости по приезде в Нью-Йорк, и теперь передо мной лежала первая весточка из Островитянии, которую я покинул полгода назад.

Я отложил письмо с намерением прочесть его, когда рабочий день кончится, не потому, что был так уж занят, а потому, что боялся, что письмо выведет меня из привычного равновесия. До вечера письмо немым укором пролежало во внутреннем кармане моего пиджака; подумать только: мой лучший, мой самый дорогой друг писал мне, а я все откладываю чтение, и поэтому в пансион я возвращался чуть ли не бегом, словно торопясь найти там послание от любимого человека. Впереди был еще ужин, но вот наконец настал момент, когда я заперся в своей комнате, где никто не мог мне помешать. Станный, квадратной формы конверт, плотная, жесткая бумага, черные чернила и крупный, уверенный почерк Дорна, такой, будто он тщательно, как в прописи, выводил каждую букву, — все это тронуло, заставило зазвучать полузабытые струны памяти. Казалось, запертые двери вот-вот распахнутся.

Я позабыл, как трудно рвется островитянская бумага.

В конверт было вложено еще одно письмо, помимо письма Дорна, датированного десятым апреля и прибывшего с одним из отходящих в середине апреля пароходов. Второго числа того же месяца у Дорны родился ребенок, мальчик. Роды проходили трудно, но опасности не было, и восьмого, когда Дорн получил последние известия из Фрайса, оба, мать и младенец, пребывали в добром здравии. Некка собиралась рожать в сентябре и чувствовала себя как нельзя лучше.

Дорн писал обо всех, кого я знал, и к кому был привязан: о Файнах, лорде Дорне, Стеллинах и прочих, добавив, что отсылает вместе со своим и письмо Наттаны, которая не знала, как написать мне, и которая, он был уверен, сама подробно расскажет о себе и вообще о Хисах. Потом он коротко, но полно, так, словно я имел право это знать, отчитался о состоянии всех трех дорновских поместий. На Фэке он ездил сам, холил его и заботился о нем. Политическая ситуация складывалась благоприятно. Никто не предпринимал попыток пересмотреть вопрос, связанный с Договором лорда Моры, страсти по поводу набега в ущелье Ваба улеглись. Британское правительство уведомило германские власти, что любые агрессивные шаги против Островитянии не останутся без ответа. Тем не менее объединенная комиссия продолжает изучать инцидент.

Далее Дорн писал:

Я часто думаю о тебе. Я понимаю, что ты можешь хорошо жить и у себя на родине, и здесь. Поэтому тебе предстоит решить, что же все-таки лучше. Боюсь, как бы ты не предпочел американскую жизнь только потому, что она сносна. Нет ничего труднее, чем выбирать между хорошим и хорошим. Горная и Речная усадьбы — обе ждут тебя. Забыл добавить, что осенние краски в Речной изумительно красивы, а это немаловажно для жителя Новой Англии. Что-то хорошее исчезло из моей жизни после твоего отъезда.

Дорн.

Разумное здание будущего, которое я успел построить, заколебалось. Мне жадно

захотелось снова вдохнуть запахи Островитянии... Но Дорн сам остерегал меня от того, чтобы я позволил своим американским привязанностям, равно как и привязанности к нему, слишком сильно влиять на мое решение.

Передо мной лежало еще нераспечатанное письмо Наттаны, читать которое мне вовсе не хотелось. Скорее душой, чем разумом я осуждал попытку девушки написать мне, хоть и понимал, что, получив мой подарок, она не могла не ответить. Ради нее, ради ее чувств я попытался отогнать досаду. Но что-то новое закралось в мое отношение к ней — чувство стыда и сожаления. Мне могло не нравиться, как Алиса относится к историям вроде той, что произошла между мной и Наттаной, однако я не одобрял и противоположную точку зрения, которую, впрочем, представлял себе довольно смутно. Стихия чувственности, со слегка несвежим душком, морем разливалась вокруг, и я успел познакомиться с ней еще до того, как отправился консулом в Островитянию, и вновь ощутил ее прикосновение, когда вернулся; стихия эта питалась из самых разных источников, далеко не всегда чистых, обнаруживаясь в рассказах агентов по найму и молодых стенографисток-хохотушек, богатых дельцов и актрис, коммивояжеров и дам, случайно оказавшихся по соседству в поезде; в мужской хвастливой самоуверенности и в якобы неотразимой мужской страстности; обнаруживалась она и в снисходительном отношении мужчин, словно следовавших традициям какого-то тайного мужского сообщества, к некоторым вещам, пользовавшимся неодобрением у женщин, поскольку сами женщины не пользовались одобрением; она сказывалась в громогласном возмущении женской общественности двойным стандартом — их собственным изобретением, — который, считали они, навязывали им мужчины; эхо ее слышалось в проповедях чистоты и целомудрия, клеймивших вожделения плоти, и во многом, многом другом: в гордом тщеславии, животной грубости, идеалистической утонченности — во всем, что смущало, сбивало с толку и не давало покоя человеку, желавшему внести простоту и ясность в свои мысли. Все же я оставался американцем, и внезапное воспоминание о моих отношениях с Наттаной заставило меня почувствовать внутреннее беспокойство. Я взял ее письмо и явственно ощутил прилив гордости — ведь я держал в руках письмо женщины, принадлежавшей мне, даже я... и все же мне было приятно смешение этих разнородных чувств, и виски заломило от напряжения.

Наконец я начал читать, испытывая некое сладострастное волнение:

Ланг, друг мой!

Я получила машинку для делания стежков на ткани, и она поразила меня, как давно уже ничто не поражало. Вот забавно, что Лангу пришло в голову так удивить меня. Я очень благодарна Лангу за все его хлопоты. Тем более что его подарок удостоился особого голосования в Совете. Конечно, и самой машинке я рада, Ланг поймет почему.

Ее привезли в Нижнюю усадьбу, где я теперь живу, в презабавном на вид ящике с американскими надписями, смысл которых отец объяснял нам. Ему было интересно не меньше, чем мне. Мы вместе открыли ящик, но долго боялись притронуться к машинке — а вдруг сделаем что не так и ломаем ее? Мы нашли инструкции и читали их вместе несколько вечеров подряд, чтобы хорошенько во всем разобраться. Картинки очень помогли. Наконец мы осторожно достали машинку и стали налаживать ее, все время сверяясь с инструкцией. Потом просто долго сидели и смотрели на нее. Престранная вещь, ничего похожего я еще в жизни не видела. Первым делом мы перемотали на «шпульку» нитку с катушки, которая была вложена в ящик. Я, первая, несколько раз нажала на то, что в инструкциях называется

«ножной привод». Наконец мы все подготовили и я взяла кусок ткани. Было это уже поздно вечером. Сердце у меня сильно билось. Я сделала то, что написано в инструкции, и на ткани появилось сразу столько стежков, сколько у меня бы никогда не вышло. Мы так волновались оба — лорд Хис и его дочь, Хиса Наттана.

Думаю, машинка очень пригодится. Есть, правда, кое-какие сложности, которые предстоит решить, например подобрать подходящие нитки. Но я уже пробовала ее, чтобы сшить несколько вещей, где не требовалось особой аккуратности, и время она действительно сберегает. Это необычайно важно для меня сейчас, потому что я набрала много-много работы и очень счастлива. Еще я придумала новый способ как красить и теперь шью платье в зеленых тонах, темном и светлом, к июньскому Совету.

Ланг рад будет узнать, что мы с отцом помирились, к полному обоюдному удовольствию. Мы поняли друг друга, хоть и судим о многом по-разному. Он стоит на том, что существует закон, я — что только обычай. Отец сказал, что хочет, чтобы его дети в его доме жили по придуманному им закону, тогда я ответила, что, может быть, оно и так, но уж больно странный закон он изобрел. Тогда отец ответил, что все-таки это закон, а по закону — не по обычаю — те, кто живет дурно, должны наказываться не только самой природой. Я спросила, что же в этом хорошего? Отец ответил, что закон — большая сила и его поневоле будут слушаться. Тогда я сказала, что он, как иностранец, делает из закона божество и приносит ему в жертву своих детей, а у меня другие взгляды и я от них не отступлю. «Пусть так, — сказал он, — но помни о законе». Я отвечала, что закон ни капельки не относится к тому, что я сделала, и лучше подумать, как это сказало на мне и на остальных, потому что я думаю скорее хорошо, чем плохо. Отец спросил: как по-моему, наказание — это хорошо? Я ответила — нет. «Наказание, — заявил он тогда, — хорошо, потому что оно карает нарушителей закона». — «Отец, — сказала я, — это еще надо доказать». Он заупрямился. Я поняла, что дело безнадежное. Закон действительно стал для него богом, существовал только для него и сам правил им. Отец наказал меня, на месяц заперев дверь в мастерскую, где стоял мой станок. Весь этот месяц я ездила верхом, окрепла, загорела и напридумывала много-много новых платьев. С тех пор мы с ним — лучшие друзья, и я пообещала, что буду жить на его лад, пока я у него в доме.

В Верхней усадьбе закончили строить новое крыло, и скот Эка будет зимовать там первый раз. Я пробыла там еще несколько дней после того, как уехал Ланг, и потом тоже уехала. Наконец-то Эк, Атт и Эттера разобрались, что к чему, и теперь перед ними ясная цель. И работы стало меньше.

Неттера снова начала играть, а Байн добрый и все понимает. Конечно, ему тяжело жить с женщиной, к которой он испытывает анию, и знать, что он для нее всего лишь друг и что его хозяйство ей совсем неинтересно. Поэтому он старается полюбить ее музыку, а она — дать ему то, чего он хочет, но ей это не под силу. Вряд ли стоит жалеть ее за то, что она целиком ушла в свою музыку, но его мне жаль. Он дорого платит за свою ошибку, женившись на Неттере. Он мог бы довольствоваться и тем, что имеет, но его ания была истинной, хоть и слепой.

Если Ланг хочет узнать еще о машинке или о том, что вообще делается в Островитянии и о чем я могу рассказать, пусть пишет своему всегдашнему другу Наттане.

Письмо развеяло мою досаду. Наттана ни на что не претендовала, ничего не требовала.

Единственная из всех, кого я хорошо знал, она никогда не говорила, что хочет моего возвращения. Да, у нее был сильный характер, и она сделала меня богаче. Чувства стыда и раскаяния на поверку оказались ложными.

Той ночью мне приснился смутный, обрывочный сон. Мне снилось, что я не здесь, в комнате нью-йоркского пансиона, а в Островитянии и передо мной стоит вопрос не о том, уезжать ли из Америки, а оставаться или нет в Островитянии. Я был владельцем поместья, впрочем не походившего ни на усадьбу на реке Лей, ни на Горную в ущелье Хейл, ни на какое другое определенное место, но неописуемо прекрасного. У меня была жена, в этой роли менялись Дорна, Наттана и Глэдис, а иногда появлялась и вовсе не знакомая женщина. Был ребенок, мальчик. На мне лежала тяжелая ответственность, я должен был принять решение, и хотя знал, что не приму, никогда не смогу принять его, бессвязно и бесплодно рассуждая, как то бывает в снах, я знал также и то, что все равно уеду — презренный дезертир — ради чего-то сладостного и страстно влекущего — Дорны, Наттаны, Глэдис... ребенка... ребенка, похожего на меня, но смуглого и темноволосого — который ходил и на свою мать, и на меня, — пронзительно, невыносимо дорогого и близкого.

На другой день, сидя в конторе наедине с корзинами, переполненными бумагами, ожидающими безотлагательного разбирательства, я обнаружил, что привычное, казавшееся прочным здание моих сосредоточенных на работе мыслей стало похожим на дом, основание которого подмывает поток темных вод. Островитяния пропитала мои чувства — я видел, обонял, осязал ее. Она была в моей крови, как любовь, то и дело вскипающая в жилах, заявляющая о своем существовании, о чем бы человек ни думал и чем бы ни занимался. Но в сугубо деловом мире конторы, в самом центре бурлящего жизнью города, эмоции, вызванные бессвязным сном и двумя письмами, одно из которых содержало всего лишь пересказ новостей и теплое, дружеское слово, а второе — наивное повествование о такой диковине, как швейная машинка, рассказ о спорах с отцом и размышления о замужестве сестры, вряд ли могли кого-то серьезно растрогать. День шел своим чередом, и фундамент невидимого здания обретал прежнюю прочность, а журчание темного потока стало еле слышным.

Процветание фирмы «Ланг и К°» зиждилось на быстром, аккуратном и методичном осуществлении большого числа мелких и более крупных посреднических операций. Мы выступали посредниками и экспедиторами многих фабрикантов и торговцев, к тому же имея и свой товар, и часто покупали и продавали сами для себя. Сходным образом, хотя и в меньшей степени, мы занимались импортом. Это было старое дело, начатое еще моим дедом, но именно дядюшка Джозеф превратил его в то, чем оно стало сейчас. Однако деятельность дядюшки не ограничивалась фирмой «Ланг и К°», он был фигурой более крупного масштаба. Он вырос в фирме, она служила ему основным подспорьем, но он участвовал и во многих других предприятиях. К его мнению прислушивались, с ним часто советовались, и у него было множество друзей. Людям, ищущим удачи в бизнесе, нравилось, когда он был рядом и с ними заодно. Большую часть денег приносили ему как раз эти побочные доходы, но фирме «Ланг и К°» он был предан всей душой и проявлял к ее деятельности неослабевающий интерес. Он не относился, подобно главам некоторых фирм, с пренебрежением к своему детищу, и его глубоко заботило и волновало все, что так или иначе могло отразиться на репутации его компании.

И нас, своих служащих, он воспитывал в духе преданности интересам общего дела. Мы тоже пеклись о тех, в чьих интересах действовали и с кем вели дела, иными словами, как выражался дядюшка, о «правильных людях». Те, кто много лет проработал вместе с ним, знали, каким фирмам он благоволил, а с какими следовало держаться на расстоянии. От этих людей перенимали должный тон и все остальные. Различия в тоне поначалу казались мне ничем не мотивированными, не основанными на каких бы то ни было разумных соображениях. Особенно

это проявилось в истории с французом, чей клерк допустил ошибку в расчетах. Решающим фактором, определившим исход дела, была отнюдь не выгода нашей фирмы, все зависело совсем от другого. Не учитывалась и длительность деловых отношений, хотя, казалось бы, она должна была играть свою роль. Постепенно я стал замечать, что «правильные люди» — одни и те же в деловом мире и мире общественном и что оба эти мира, насколько я мог видеть, пересекаются, если не совпадают полностью.

Француз нуждался исключительно в данном товаре. Почему мы должны были ограничивать его права, а не права дядюшкиного приятеля, допустившего просчет? В обоих случаях мы выступали всего лишь как посредники, и большая часть дохода доставалась не нам, а нашим доверителям; однако в одном случае дядюшка Джозеф настаивал на получении прибыли, в другом же — легко упустил ее, хотя, казалось бы, и не мог полностью распорядиться ею. Я высказался в том духе, что, с точки зрения доверителя, оба варианта равны, после чего дядюшка заявил, что не станет особенно отстаивать интересы того, кто не оставляет за ним права самому выносить суждения в подобных случаях, и его доверителям это хорошо известно! Он ни минуты не сомневался в правильности своих решений. У меня такой уверенности не было. Мне не хватало чего-то, что позволяло дядюшке безапелляционно решать, чьи интересы отстаивать. Его деловое окружение восхищалось им. Иногда это походило на инстинкт, особую, хитрую уловку в некоей игре, позволявшую дядюшке определять, кто чего стоит в бизнесе.

Здесь царили все та же зависть, мелкие интриги, пристрастия и антипатии, что и в жизни общества, с которой я мало-помалу знакомился. Линии поведения были зыбкими, и любой обладающий достаточным состоянием и определенными качествами мог, используя свой капитал, настойчивость или просто везение, проникнуть в привилегированные круги, будь то деловые или чисто общественные. Дядюшка твердо верил, что в бизнесе, в отличие от общественной жизни, царит демократия, но мне начинало казаться, что разницы между обеими сферами нет и что в общественной жизни демократии даже больше, по крайней мере среди людей, уверенных в своем положении. Им демократия давалась легко, они не допускали ошибок. Какие же качества требовались, чтобы проникнуть внутрь делового мира? Я попробовал мысленно сформулировать их для себя, но передо мной выросла загадка, которую я не в силах был разрешить, и чем больше я бился над ней, тем больше запутывался.

Покровительство дядюшки тем не менее усиливало во мне чувство, что я «свой», и это подкреплялось отношением ко мне со стороны. Стоило мне упомянуть одному из наших клерков, с которым я иногда завтракал, что уик-энд я провел у Джефсонов, как он тут же замкнулся и в поведении его появилась незнакомая до сих пор угодливость. До этого момента между нами существовали непринужденные приятельские отношения, теперь же словно некая сила воздвигла между нами невидимый барьер неравенства. С тех пор меня преследовало искушение — вести себя так же, как вела себя моя кузина Агнесса, за что дядюшка упрекал ее.

И именно дядюшка Джозеф был отчасти виновен в заносчивости, столь затруднявшей мне теперь общение с сослуживцами и знакомыми. Он настоятельно требовал, чтобы я как можно чаще появлялся на людях и рассказывал ему о тех, с кем встречаюсь и как сам веду себя с ними. Круг моих знакомств ширился, и дядюшка, забрав меня из Нью-Йорка, отвез в свой загородный дом на Лонг-Айленде, неподалеку от Хантингтона, — старый, уютный, ухоженный. Я приобрел автомобиль и уже редкий вечер проводил в одиночестве.

Подходил к концу жаркий летний день накануне уик-энда. Мы с дядюшкой сидели на широкой веранде, выходившей на лужайку, в дальнем конце которой виднелся ряд густо посаженных деревьев, скрывавших дорогу. Темнело, и высокие уличные фонари уже зажглись, однако я подвинул свое кресло так, чтобы деревья заслоняли их. На столике между нами стояли

стаканы виски с содовой и льдом, причем два последних компонента явно преобладали. Этажом выше находилась просторная комната с низким потолком и широкой, удобной кроватью; в ней по утрам было прохладно.

Огонек дядюшкиной сигары ярко вспыхнул.

— Можно задать тебе один вопрос? — сказал он. Непривычное начало.

— Разумеется, дядюшка Джозеф.

— Помнишь девушку, с которой ты встречался зимой, — мисс Хантер? Что ты знаешь о ее отце? Я недавно слышал о нем.

— Почти ничего.

— Он был довольно видным человеком, где-то в Сиракузах по-моему. Вел там хорошее дело. Жена его то ли из Огайо, то ли из Индианы. Сиракузы пришлись ей не по вкусу, и они перебрались в Нью-Йорк, где мистер Хантер открыл новое дело. Роджер Пендлтон помнит его: красивый мужчина, но почти все время нуждавшийся в деньгах. Поначалу все у него шло прекрасно, только вот жена любила пожить на широкую ногу, что ж, тогда она была яркой женщиной. И вот дела пошли хуже. Бедняга надорвался на работе и умер. Лучше бы уж он оставался в Сиракузах... Думаю, тебе интересно было это узнать, раз уж она сама тебе не рассказывала.

Прежде всего меня поразило, что дядюшка позаботился все это разведать и что он полагал эти сведения важными. Вряд ли он мог более ясно дать мне понять, что мистер Хантер был неудачником, его жена — транжиркой, оба они — людьми не нашего круга и соответственно знакомство с их дочерью нежелательно.

— Мисс Хантер мало говорила о своих родителях, — ответил я.

— Вы по-прежнему встречаетесь?

— Нет. Она уехала в мае к своим родственникам в Вермонт, но, — добавил я, хоть мне и не хотелось говорить это дядюшке, — осенью она скорее всего вернется, и тогда мы снова будем видеться. Пока я был в Островитянии, я писал ей едва ли не каждый месяц, и она отвечала мне. Недавно я отправил ей два письма и она прислала ответ.

— Значит, это серьезно?

Я даже не сразу понял вопрос.

— У меня никогда не было мысли просить ее руки.

— Надеюсь, нет и сейчас.

— Не знаю... но она мне нравится.

— Ну что ж, это не страшно. Только не увлекайся сразу многими. Побереги свои симпатии для мужской компании.

— Почему, дядюшка Джозеф?

— Потихе, потихе! — произнес дядюшка, почти не видимый в темноте. — У женщины в жизни два назначения. Первое — быть женой. В таком случае, если ты подберешь хорошую пару, это можно считать поистине Божией милостью.

— А какое второе, дядюшка?

— Позволять им дурачить себя! Но ничего нет для мужчины более ценного, чем хорошая жена. Такой была твоя тетушка...

Он умолк. *Ания* и *ания*, подумал я. Но *ания* подменялась слащавой сентиментальностью, *ания* вырождалась в простую похоть.

— Я никогда не видел тетушку Бетси, — вежливо ответил я.

— Она была слишком хороша для меня.

Он говорил с таким актерским пафосом, что я подумал, уж не подшучивает ли он надо мной, но нет — после небольшой паузы он продолжал искренним тоном:

— Тебе и вправду следует жениться, Джон, пора. Тебе уже тридцать. Понимаю, женитьба сейчас дорогое удовольствие. Может, ты боишься, что у тебя не хватит средств? Но, когда придет время и твоя избранница, как любая благоразумная женщина, потребует определенных гарантий, обратись ко мне, и я постараюсь помочь.

Он резко умолк, затем спросил:

— Надеюсь, никаких препятствий нет?

— Каких именно препятствий, дядюшка?

— Надеюсь, ты не женился на какой-нибудь из тамошних туземок, которая вдруг объявится здесь и начнет тебя шантажировать?

— Нет, я до сих пор холостяк.

— Человек я не сентиментальный, — сказал дядюшка, — но думаю, мужчина вряд ли женится, если хоть немного не влюблен, какую бы удачную пару он ни подыскал. Мне случалось видеть такие браки — полнейший крах. Но вот что я скажу: мужчине, особенно молодому, гораздо лучше, когда он женат, разумеется, если он найдет достойную избранницу, проявив при этом столько же здравого смысла и проницательности, сколько и в остальных делах. Я хочу, чтобы ты женился и устроил свою семейную жизнь так же успешно, как все, за что ты брался после возвращения. Если у тебя уже есть на примете невеста и дело только в деньгах, можешь на меня рассчитывать, хотя я в любом случае собираюсь основательно повысить тебе жалованье. Все мои дети в том или ином смысле меня разочаровали. Ты — мой племянник. Отец мало чем может тебе помочь, зато я могу!

— Спасибо, спасибо, дядюшка Джозеф! — воскликнул я, тронутый чувством, с которым он говорил, и благодарный за то ощущение уверенности в себе, которое внушили мне его слова... И все же я колебался и, чтобы восполнить некоторый недостаток благодарности и того, что мне надлежало произнести, встал и горячо пожал руку дядюшки.

— Прошу вас только — не поднимайте мне жалованье, пока не будете абсолютно уверены, что польза, которую я приношу фирме, достойна надбавки. В деньгах я пока не стеснен, мне они не нужны.

— Прекрасно, прекрасно, — ответил дядюшка, потихоньку высвобождая руку, — но и глупить тоже не стоит. Если хочешь, чтобы я считал тебя своим сыном, никогда не произноси при мне такого.

Его последние слова поразили меня, и я долго ломал голову над тем, что же, собственно, он имел в виду. Если считать сказанное мною искренним, он мог оскорбиться, что я отвергаю его дары; если — лицемерием, позой, как, вероятно, ему показалось, он должен был презирать меня; но я не мог объяснить ему, что своими словами хотел отвратить жесточайшую несправедливость: дядюшкино презрение для меня мало что значило, но я боялся причинить ему боль... Так я раздумывал и постепенно все сильнее ощущал неуверенность в самом себе, поскольку предложения дядюшки казались мне тем соблазнительнее, чем больше я думал о них. Принимать их или нет, однако, было уже другое дело, — в любом случае не раньше чем по истечении года, когда я окончательно сделаю выбор между Америкой и Островитянией и не буду перед дядюшкой в долгу.

Время шло быстро — как всегда, когда человек чем-то занят да вдобавок пребывает в ожидании. Укороченные на летний период дни в конторе были по-прежнему полны дел, и по вечерам, на досуге, скучать не приходилось. Я даже не заметил, как настал август, — близился полагающийся мне двухнедельный отпуск. В промежутках между составлением деловых писем я разработал план и, ни минуты не медля, отбыл в Бостон, с нетерпением предвкушая домашний покой и уют.

Филип взял отпуск так, чтобы по срокам он совпадал с моим, и, встретившись в Бостоне, мы отправились к нему домой, в Кейп-Код, где я собирался провести по меньшей мере неделю и повидаться с семьей. Старше меня на семь лет, брат был ниже ростом, более худощав; ни единой морщинки на сухом, костистом лице с тонкими чертами и ясным, открытым взглядом светло-голубых глаз, светившихся честью и добротой. В юности он мечтал стать министром, весьма смутно представляя, что это такое, но, как бы то ни было, мечтам его не суждено было сбыться, и он решил пойти в юристы и уже вполне сознательно и целенаправленно закончил Школу правоведения. С консервативной, бостонской, точки зрения, карьера его сложилась успешно, хотя он был далеко не так богат, как дядюшка Джозеф и его друзья.

И вот мы сидели рядом на обтянутых зеленым плюшем сиденьях американского поезда, впервые за то время, что я вернулся из Островитянии. На лице Филипа было знакомое располагающее выражение вдумчивой и тактичной доброжелательности.

Стоял жаркий субботний полдень, и главы семейств, подобно Филипу обремененные трудами и заботами, ехали за город навестить жен и детей. Некоторые дружески и уважительно приветствовали его по имени, и он отвечал им своей широкой, светлой улыбкой.

Мы заговорили о делах семейных. В переполненном вагоне пахло потом и едким угольным дымом. Поезд проследовал Дорчестер, Квинсиз, Брайентриз, Броктон и Мидлборо, и мне остро припомнилось, как в свое время, мальчиком, а затем юношей, я проделывал тот же путь, отправляясь на каникулы в Кейп; покидая скучный, пыльный, душный город, надо было пройти сквозь своеобразное чистилище, прежде чем становилось привольнее и легче дышать: за окном мелькали дюны, сосновые перелески, болотца, летние домики и, наконец, море. Однако я не спешил делиться впечатлениями с Филипом, поскольку знал, что, даже испытывая то же, он все равно не упустит возможности произнести хвалебное слово в адрес городской цивилизации. Слушая брата, я ждал, когда же кончатся муки чистилища, но ожидаемое чувство раскрепощения почему-то не приходило.

Филип сказал, что мать с отцом остановились в скромной гостинице в нескольких милях от его коттеджа, чтобы быть ближе к ним с Мэри, внукам и ко мне на то время, что я проведу в Кейпе. Позже подъедет Алиса, и все семья будет в сборе. Мэри собирается устроить пару пикников. Филип-младший учился ходить под парусом и, наслушавшись рассказов о том, что дядя Джон в этом разбирается, настроился брать у меня уроки. Ему шел четырнадцатый год, а Фейс исполнилось десять. Отношения с ровесницами у нее не ладились, и девочка переживала из-за этого. Вместе с Мэри они пробовали различные подходы.

— Как замечательно, — воскликнул он, — что ты наконец выбрался навестить нас. Подумать только — ты уже полгода как вернулся, а нам ни разу не удалось по-настоящему поговорить!

Они ничего не знали о моих впечатлениях от жизни в Островитянии, а ведь это, должно быть, так интересно. Были вещи, о которых он особо хотел меня порасспросить, и у Мэри тоже имелись ко мне вопросы.

Соседи у них были исключительно замечательные люди, среди них профессор Бедлоу с кафедры английского языка в Гарварде, с женой, Роберт Хауэрд, врач, интересующийся социологией, тоже с супругой. Их общество и беседа доставят мне истинное удовольствие.

— Но прежде, — сказал Филип, — расскажи мне о себе, Джон.

И он устремил на меня свой ясный, бесхитростный взгляд, в котором сквозило плохо скрываемое восторженное любопытство.

— Как дядюшка? Видел кого-нибудь из Джефсонов?

Отвечая на его вопросы, я сказал ему все, что, как мне казалось, могло его заинтересовать, зная, что брат обязательно передаст мои слова маме. Семейное чувство, или, правильной будет

сказать, чувство семьи, было сильно в ней и в брате. Оба всегда с жадностью выслушивали новости о родственниках, которых никогда не видели и с которыми даже не переписывались. Родственники существовали для них как некая особая часть человечества.

Когда родственная информация с обеих сторон была исчерпана, Филип спросил, нравится ли мне жизнь нью-йоркского бизнесмена, и я не сразу нашелся что ответить.

— Работа слишком умственная, — сказал я наконец.

— Что, уже снова затосковал по простой жизни? — рассмеялся Филип.

— Я ни по чему не затосковал, — ответил я.

— В нашей семье, — продолжал Филип, — две ветви: интеллектуалы и антиинтеллектуалы. Дедушка, дядя Джозеф и Агнесса — антиинтеллектуалы. Это вовсе не значит, что они менее интеллигентны, чем остальные. Думаю, и Алиса ближе к ним. Отец, ты и я, как мне всегда казалось, относимся к интеллектуалам. У отца и у дядюшки были равные шансы продолжить дело деда, но вместо этого отец поступил в колледж и уже с самого начала вступил на иной путь. Дядюшка Джозеф считает отца неудачником, а отец, хоть и полагает, что дядюшка отверг все лучшее в жизни, втайне ему завидует... Мы все желаем тебе успехов в бизнесе, но я частенько думал: а по душе ли он тебе? Когда же ты сказал про «слишком умственную» работу... нет, я по-прежнему считаю тебя одним из нас, Джон!

— Не знаю, кто я, — ответил я, — если вообще принадлежу к одной из ветвей. Просто работа требует напряжения всех моих умственных сил.

— Дело тут не в интеллигентности, — возразил брат, — а в том, что тебя больше интересует: интеллектуальные проблемы, идеи, знания или же нечто материальное.

— Не знаю, Филип.

Разговор продолжался, и временами казалось — Филип хочет, чтобы я сделал выбор, причислил себя к той или иной «партии».

День стоял жаркий, душный, и мы с величайшим облегчением вышли наконец из поезда после долгого пути. Смеркалось, и, после духоты вагона, воздух на станции мгновенно освежил и придал нам новые силы. Когда состав укатил, пройдя перед нами грохочущей чередой похожих на игрушечные вагонов, глубокая тишина воцарилась кругом.

Мэри бросилась нам навстречу, с ней были Филип-младший и Фейс. Мэри была в простеньком хлопчатобумажном платье, лицо и руки покрывал загар. Она была ровесницей Филипа, худощавая, как и он, двигалась по-молодому, легко; она не то чтобы поблекла, но как-то высохла за прошедшее время, а выражением глаз стала еще больше походить на мужа.

Ах, как она рада меня видеть, ну просто замечательно! Она быстро поцеловала меня, но не успел я ответить ей тем же, как она уже выговаривала Фейс, крепко схватившейся за материнскую руку и пребывавшей в крайнем смущении. Затем, одарив Филипа лучезарной улыбкой, Мэри сказала, что «папа и мама» — имелись в виду наши родители — собирались заглянуть после ужина, что она купила в деревне двух цыплят к воскресному обеду, кстати, и в воскресенье они тоже собирались заглянуть, как бы не запамятовать, а Джон первый раз у них, — все же как она рада меня видеть! — и она надеется, что после Нью-Йорка их жизнь не покажется мне слишком простой, что выгляжу я прекрасно, что нам пора идти, нет, все-таки Джон очень неплохо выглядит, и она надеется, что Филип не забыл зайти к Пирсам, и что ей так хочется услышать все-все про Островитянию!

С той же энергией она разместила нас во взятом напрокат автомобиле, и мы поехали по уходящей вдаль песчаной дороге. Росшие по обочинам сосны источали влажный вечерний запах смолы. Пахло морем.

Домик был новый. Стоял он на небольшом холме над укромной бухтой, позади высились сосны. К северу и к югу вдоль фестончато вырезанного берега, тоже на взгорках, виднелись

похожие домики. Вместе с домом Филип приобрел десять акров земли. Сразу за домом располагалась конюшня для верховой лошади, где стояли и дрожки, а на берегу, на красивом песчаном пляже, — купальные кабинки.

Домик был неоштукатуренный. Большая комната, куда вы сразу же попадали, служила одновременно и гостиной, и детской, и библиотекой, и комнатой для музицирования — словом, всем, кроме кухни и столовой. Наверху находились спальни и оборудованная по последнему слову техники ванная. Спальни были большие, и потому их было всего несколько.

— Пока Алиса еще не приехала, ты можешь занять свободную комнату, — сказала Мэри, — ну а потом устроим тебя вместе с маленьким Филом. Видишь, как все просто. Летом мы стараемся жить попроще. Мы оба решили, что штукатурка лишит дом простоты и безыскусности.

— Он не проще, чем те, к которым я привык в Островитянии.

— Ты должен мне все про это рассказать. Не беспокойся, переоденешься попозже. Спускайся сразу.

Я слышал, как она о чем-то говорит с Филипом в соседней комнате, как бродят внизу дети, звенит посуда на кухне. Над письменным столом зажглась электрическая лампа. Предметы личной гигиены наличествовали в полном наборе. Но мне недоставало уединенности, я не хотел, чтобы меня слышали, не хотелось слышать чужие звуки и голоса. В этом доме я ощущал себя как в клетке. Стены островитянских домов были толще. Кроме тех моментов, когда хозяйствовали совместно, как то случилось в Верхней усадьбе, каждый в своей комнате жил словно в отдельном доме. Обстановка здесь тоже сводилась к минимуму и была даже, пожалуй, более сподручной, удобной, однако недостаток уединенности сводил на нет все остальные достоинства. Чужие жизни назойливо вторгались в вашу своими звуками...

Вечером того же дня в экипаже, принадлежавшем гостинице, где они остановились, приехали родители. В окружении сыновей — Филипа и Джона — и жены старшего они сидели на веранде. Внуки наверху уже спали. Встреча получилась немногословной, однако объединяющая нас теплая, глубокая привязанность казалась почти осязаемой. Столь сильного чувства Островитяния изменить не могла. Основной новостью и соответственно предметом общей беседы вначале стало мое пребывание в Нью-Йорке. От меня потребовали отчет по всей форме, и я переживал из-за того, что он может не удовлетворить моих слушателей. Большую часть рассказа я уделил отношению дядюшки Джозефа и его обещаниям. Разумеется, об этом не следовало бы говорить, но сидящие рядом со мной имели право знать все.

Сыновнее чувство подсказывало мне, что родителей больше всего интересует, во-первых, надежным ли было мое финансовое будущее, и, во-вторых, доволен ли я работой. Насчет первого успокоить их не составило труда, что же до второго, то я не придумал ничего лучшего, чем описать свой рабочий день, добавив, что работа всецело поглощает меня. Доволен ли я на самом деле и буду ли доволен впредь — этим вопросом я пока не задавался. Дабы дополнить картину, я пересказал несколько сложившихся в процессе работы ситуаций, чувствуя, как постепенно краснею, настолько внимательно, затаив дыхание, они слушали меня. Наконец я не выдержал и замолчал.

— Как странно видеть тебя бизнесменом, — сказала мама.

— С удовольствием бы еще посидела и послушала, — сказала Мэри, — но тогда утром вы останетесь без завтрака.

Отец спросил Филипа про книгу и вышел взглянуть на нее.

— Джон, — сказал брат, — ты должен ответить мне на многие вопросы, которые уже давно меня мучат. Ты — первый бизнесмен из Нью-Йорка, оказавшийся в моей власти. Так что ответь

по совести: как ты думаешь, справедливы ли все те обвинения против большого бизнеса, которые теперь можно услышать на каждом шагу?

Я щедро поделился с ним своими скудными знаниями.

Родители ушли. На веранде снова появилась Мэри и, усевшись поудобнее, сказала:

— Теперь, — причем в голосе ее слышалось «Уф, наконец-то!», — теперь я могу спокойно поговорить с Джоном.

— Наверное, уже поздновато, — заметил Филип.

— Мне не хочется спать, да и Джону, по-моему, тоже, — ответила Мэри едва ли не умоляющим тоном.

— Конечно, Мэри, с удовольствием. Сна у меня ни в одном глазу.

— Завтра будет не до разговоров, — сказала она. — Кухарка совсем взбеленилась, жалуется, что на нее навалили столько работы, как будто она раньше не знала. Прости, Джон, но ты — свой человек, и я от тебя ничего не скрываю. Придется мне помочь ей и сходить за мороженым. Папа и мама будут завтра к обеду, а днем мне нужно съездить в клуб узнать программу мероприятий на будущую неделю. Вечером мы все собираемся на ужин к Бедлоу, и еще у меня стирка.

— Тем более... — начал было Филип.

— Милый, — откликнулась Мэри, — сегодня тоже был сумасшедший день, и лучше всего сейчас переключиться на что-нибудь совсем, совсем другое.

— Ты безнадежна, — вздохнул брат.

— Нет, я не безнадежна, Филип! Но уж точно стану такой, если не буду позволять себе хоть ненадолго расслабиться.

— Думаю, тебе лучше всего лечь и хорошенько выспаться.

— Я не хочу ложиться! Расскажи мне об Островитянии, Джон! Надеюсь, там-то хоть женщинам живется полегче?

Я сказал, что проблем с кухаркой в Островитянии просто не может быть, так же как там нет клубов, куда нужно ездить узнавать о мероприятиях, а продукты не приходится привозить издалека. Мэри слушала, пропуская то, что я говорю, через собственный опыт. Разговор стал конкретнее и, похоже, не собирался скоро заканчиваться.

Филип был явно недоволен.

— Всего за одну ночь не обсудить, — нервно вмешался он.

— Я хочу знать все до мельчайших подробностей, — заявила Мэри.

— Цельного представления у тебя так и так не сложится.

— Сложится, если Джон задержится еще ненадолго, — ответила Мэри и тут же спросила, как у островитянок обстоят дела со стиркой. Я сказал, что стирают они реже, одежда у них проще, и к тому же они ее не гладят. А что до самой стирки, то она мало чем отличается...

— Мэри, — сказал брат, — уже начало первого!

— Что ж, — отозвалась Мэри, — мой господин и повелитель призывает меня, и я обязана повиноваться. Сдается мне, что женщины в Островитянии работают не меньше нашего, но это не стоит им таких усилий.

— Знаешь, Филип, — сказал я, — а ведь у Мэри сложилось цельное представление.

Мэри встала, и Филип обнял ее за плечи.

— Завтра продолжим, — сказала на прощание Мэри и вышла вслед за мужем, выключая по пути свет.

Оставшись один, я внезапно подумал о других различиях, и сердце мое учащенно забилося. В Островитянии родители, у которых двое сыновей, причем один женатый, вели бы совместное хозяйство, объединенные *алией*. Там отец не стал бы, подобно моему, ворчать и принимать в

штывки то, чем занимается его сын, мать — поняла бы своего ребенка, и, собравшись вместе в счастливом семейном кругу, равно заинтересованные в одном и том же, мы не спеша вели бы беседу, не чувствуя никаких преград и барьеров. Там — работа моей жены не отличалась бы столь резко от моей. Наттана справлялась с тележкой для перевозки камня не хуже любого мужчины. Ее братья помогали Эттере на кухне.

Филип и Мэри сами создали себе разделение труда. Мэри распорядилась воскресными делами, что отнимало у нее весь день, в то время как Филип приглядывал за детьми, которые до того целую неделю были под присмотром матери. Но воскресенье являлось исключением. На протяжении всей недели заботы мужа и жены почти не соприкасались.

Купаясь перед обедом, минут пять мы с Филипом обсуждали эту проблему. Мэри, запыхавшаяся, присоединилась к нам. Филип сказал, что хочет, чтобы и она искупалась. Одна из обязанностей, которую ей следовало исполнять неукоснительно, состояла в том, что она — его жена.

Мэри заявила, что было бы прелестно, если бы муж и жена могли выполнять какую-либо работу вместе, но конкретных идей у нее на этот счет не появилось. Она пыталась реально представить это себе, но обобщения ей явно не давались.

— В целом, — подытожил Филип, — я думаю, что у нас все устроено наилучшим образом. Я специалист в своей области и зарабатываю деньги, а у Мэри — свои заботы.

— Мне приходится так много всего делать, что я уж точно не специалист ни в чем, — сказала Мэри.

— Ты специалист в очень многих вещах, Мэри. Жизнь сложна, и человек, который ни в чем не разбирается, просто не выживет. Если бы мы с Мэри половину своего времени занимались не своим делом, то это дело и наполовину не делалось бы так хорошо, как сейчас.

— Я ни в чем не разбираюсь! — воскликнула Мэри. — А мне хотелось бы. Я все время об этом думаю.

— Разбираешься, Мэри... разборчивей жены не найдешь.

— Ну разве это дело, милый.

— Будь жизнь несколько проще... — начал я, но Филип не дал мне договорить.

— Софизмы, — категорично произнес он. — Величайшее счастье человека в том, чтобы стать специалистом в какой-то области и достичь в ней совершенства. Так называемая простая жизнь не позволяет ему до конца развить свои способности. Человеку приходится разбрасываться.

— Мы изо всех сил стараемся быть проще, но у нас ничего не получается, — добавила Мэри. — Неужели тебе действительно хочется быть юристом — и только, Филип? Кругом много других занятий, которые могли бы получаться у тебя не хуже.

— Миссис Ланг! — крикнула появившаяся на берегу кухарка.

— Надо идти, — сказал Мэри. — Что ж, если ты счастлив, я тоже довольна.

Покинув нас, она поспешно, прямо в купальнике, поднялась по песчаному склону.

— Мэри действительно специалист, — сказал Филип, глядя ей вслед. — Поневоле станешь специалистом, когда приходится заботиться о стольких вещах сразу. Главная ее проблема в том, о чем она сама сказала: она слишком много думает. Ей недостаточно хлопотать по дому, растить детей, ей хочется чего-то еще. Она постоянно ищет какого-то занятия помимо прочих, но времени на все не хватает. Ты заинтриговал ее своими рассказами, но, я думаю, Островитяния — совсем не для Мэри. Какое побочное занятие могла бы она там найти, чтобы отвлечься от хозяйства и детей?

Я рассказал ему об Эттере, бок о бок работавшей вместе с братьями, принимавшей участие в семейных советах, к голосу которой прислушивались, да и значила она не меньше их в едином

хозяйстве Верхней усадьбы.

— Для тех троих твоя работа юриста и ее хлопоты по дому — одно и то же.

— Ну, мы уже выросли из пеленок, — сказал Филип.

— И этот рост был сознательным?

— Таковы законы эволюции.

— Только не для Островитянии.

Филип рассмеялся:

— Не слишком-то увлекайся бреднями об опрощении, Джон. Порок, типичный для интеллигента. Возможно, тебе жилось там и неплохо, как любому, кто, захотев сменить обстановку, уезжает на ферму и живет там, но сам при этом не фермер.

— По-твоему, это порок, — сказал я. — А может быть, это естественная реакция человека, который инстинктивно чувствует, что все окружающее его полно разного рода излишеств и ненормально?

— Попробуй займись фермерством, и очень скоро ты сам убедишься, что такая жизнь не сахар.

— А что — бизнес? Юриспруденция?

— Лучшая жизнь — та, что дает человеку как можно полнее раскрыть свои возможности. Конечно, неплохо живется и на ферме, где хозяйство ведется современно, по-научному.

— Островитяне вряд ли назвали бы свои принципы ведения хозяйства научными, но все это слова. Они развили искусство жить на земле до очень высокой степени.

— А тебе не кажется, что они люди ограниченные, узкие и их мало что интересует?

— Нет, не кажется.

— Да, наверное, я все же ошибался, и ты не интеллектуал.

— Хотелось бы надеяться, что я не укладываюсь в твою классификацию, Филип.

— Тут человек не властен.

— А почему бы не сочетать в себе оба начала?

— Так устроена жизнь. С одной стороны, ей нужны юристы, ученые, мыслители, а с другой — рабочие и бизнесмены. Наша цивилизация и есть плод подобного разделения.

— Откуда ты знаешь, что это разделение не результат беспорядочного, случайного роста?

— Я верю в прогресс, Джон.

Его светлые глаза блеснули почти зло. Продолжать разговор не имело смысла. В голове у меня творилось что-то непонятное; беседа наша вдруг представилась тропинкой, уводящей в некий нереальный мир.

Увы, подобных стычек с Филипом не удавалось избегать и в дальнейшем. Весь вечер у Бедлоу мы только и делали, что спорили. Кроме хозяина и его жены, а также доктора Хауэрда с супругой была приглашена мисс Хайд, чтобы уравнять число мужчин и женщин. Поначалу беседа текла неторопливо, однако неожиданно Филип, с горящими глазами, вновь принялся отстаивать свою теорию разделения. Несколько минут присутствующие развлекались, выясняя, к какой категории относится каждый. Филип открыто заявил, что он — интеллектуал.

— Думаю, я тоже, — сказала мисс Хайд.

— А я нет, хотя так хотела бы, — сказала Мэри.

— Я, наверное, тоже, — произнес Бедлоу.

— Разумеется, — подключилась его жена, — еще какой.

— Ну а начет тебя? — спросил Бедлоу.

— Я тоже! — ответила миссис Бедлоу, даже как бы с некоторой досадой. — Мы все интеллектуалы. — И вопросительно взглянула на меня.

Филип не дал мне и рта раскрыть:

— Джон тоже, хотя и считает, что нет. Он у нас бизнесмен. А вы что скажете, доктор Хауэрд?

— Я — ученый, вынужденный работать, чтобы зарабатывать на жизнь.

— Быть ученым — высшее проявление интеллектуализма, — сказал Филип.

— Куда же отнести художников? — спросила миссис Хауэрд.

— К существам низшего порядка, — откликнулся мистер Бедлоу, и все дружно рассмеялись.

Задав разговору определенное направление, Филип выдвинул вопрос: считать ли цивилизацию следствием разделения или *vice versa*.^[1] Все оживленно включились в обсуждение. Немного погодя Филип вскользь упомянул об Островитянии и попросил меня высказаться на этот счет. Я же просто стал описывать то, что мне довелось увидеть. Меня то и дело прерывали, задавая самые разные вопросы. Кое-кто высказывался весьма дельно... Под конец Филип, как искушенный юрист, подвел краткое резюме с широкими обобщениями: человечество, безусловно, находится в состоянии прогресса, развития, стремится к достижению определенных целей; каждый, по мере сил, вносит свой небольшой вклад в это движение вперед; в наиболее развитых центрах цивилизации люди овладевают новыми навыками, разрабатывают новые технологии, совершенствуют свой образ мыслей — и все это, в каждой отдельной области, способствует прогрессу в целом, развивается в его русле; отсюда и критерий различения цивилизованной и нецивилизованной личности, а именно разнообразие или, напротив, его отсутствие в жизни людей. И что может быть прекраснее, чем жить в наши дни!

Мэри, Филип и я возвращались домой по тропинке, выющейся среди дюн и огибавшей песчаные берега небольших бухт. Молодой месяц то показывался, то исчезал за верхушками сосен.

В ответ на вопрос Мэри я сказал, что мне очень понравился вечер и я даже не особенно стремлюсь разбираться почему.

— Восхитительный вечер, — тут же подхватил Филип, — хотя говорить пришлось почти исключительно одному мне!

— Ты прекрасно вел беседу, — сказала Мэри приятным, спокойным, молодым голосом. — Не знаю, однако, договорились ли мы до чего-то определенного.

— Думаю, да. Я проверил свою идею. Конечно, из любого правила есть исключения, но в целом, если судить широко, она верна. К тому же она объясняет причины развития цивилизации, состоящие в том, что цивилизация открывает перед людьми все более широкие возможности. Что ты думаешь об этом, Джон?

— Я видел места, где твоя идея не приживается, а цивилизация не ведет к разделению и узкой специализации.

— Но если взять в качестве примера развитые цивилизованные страны, а не полуварварские, отсталые?

— Джон терпеть не может, когда его пытаются втиснуть в тот или иной разряд, — вмешалась Мэри. — Я буду говорить за него, потому что бедняга Джон не понимает хода твоей мысли.

— Хорошо, тогда каков ход его мыслей?

— Его, как мне кажется, больше интересуют конкретные факты и чувства.

— Джон, — со смехом сказал Филип, — похоже, Мэри готова зачислить тебя в антиинтеллектуалы.

— Правда, Мэри? — спросил я.

— Я? Ну уж!

Она задумалась, отвернувшись к блеклой, голубой слюдой отливающей глади бухты.

— Мне вообще не по душе все эти классификации. Взгляните лучше, какая дивная ночь. Я прекрасно провела время, все было так ново, но теперь я устала. Почему ты вечно носишься со своими теориями и классификациями, Филип?

Брат ответил не сразу. Последние слова жены больно укололи его, я это почувствовал.

— Я зашел слишком далеко, Мэри? — спросил он.

— Ах, нет, Филип, милый!

— Это всего лишь попытка как-то упорядочить окружающее, — мягко ответил Филип. — Если во мне есть такая потребность... По крайней мере, мне никуда не деться от этих мыслей...

— Я понимаю тебя, милый, — прервала его Мэри. — Мы все думаем об этом, и мы все в растерянности, просто ты не хочешь подчиняться бездумно, как большинство, и жаловаться... Извини, я вовсе не собиралась тебя критиковать.

— Успокойся, дорогая! Но я должен разобраться во всем до конца. Сама жизнь толкает меня на это. А ты что думаешь, Джон?

— В твоей развитой цивилизации много непонятного, много противоречащих друг другу законов, враждующих сил. Всякий, кто смотрит на вещи реально, как ты, и умен, как ты, естественно, начинает задумываться, ищет ответа и старается уложить все противоречия в некую систему.

— Именно! — сказал Филип. — А обнаружив систему, наконец познаешь истину.

— Да, если ты обнаружил ее! Но сегодня вечером ты обнаружил, что просто придумал свою систему. Твои обобщения ловко подогнаны одно к другому, однако все они спорны.

— А не лучше ли, — быстро сказала Мэри, — если ты обратишься к собственным взглядам и попробуешь свести концы с концами? Филип всего лишь проверял, правильна ли его идея.

— Мне бы хотелось, — продолжал я, чувствуя, что начинаю горячиться, — чтобы люди избавились от этой мании — все укладывать в систему. Я хочу, чтобы мы поменьше умствовали и больше чувствовали!

— Ты эпикуреец, — сказал Филип, — и размышления твои ведут к гедонизму! Откуда эта тяга к чувственному, желание повернуть историю вспять?

— Оттого, что мы слишком много думаем, и чем дальше развивается цивилизация, тем больше мы полагаемся на мысль, а не на чувство. Оно уже не в состоянии соперничать с нашим интеллектом. От этого мы все такие издерганные и неуравновешенные!

— Нет! — почти крикнул Филип. — То, что тебе, Джон (а ты, уж прости меня, самый настоящий материалист и гедонист), кажется неуравновешенностью, как раз и есть уравновешенность высшего порядка — плод развития, тяга к лучшему.

— Филип! — начал я, но брат прервал меня:

— Чувства — вещь второстепенная. Я же хочу составить себе ясное понятие о мире.

— Ладно, — сказала Мэри, о которой мы совсем позабыли, и голос ее раздался неожиданно, прохладный и мягкий, как лунный свет. — Меня ужасно интересует, какие чувства питает ко мне Филип, каковы и мои чувства к нему, но сейчас, пожалуй, еще больше — что вы чувствуете по отношению друг к другу.

Нам обоим ее вмешательство было неприятно, поскольку отвлекало от главной темы.

— Разумеется, меня тоже интересуют мои чувства к тебе, — сказал Филип, — но суть в том, что я пытался доказать...

— Что Джон слишком чувствительный, да, по-моему, и ты тоже, — сказала Мэри, — и все из-за каких-то идей. Зачем портить такой замечательный вечер!

Мы вынуждены были замолчать, но я не сомневался, что каждый мысленно продолжал спор. Я думал о том, что способность чувствовать у современного человека не только отстает от его мыслительных способностей, более того — сверхинтеллектуализм извращает чувства,

умерщвляет их... Мои собственные в тот вечер были тому примером, и от путаницы мыслей и чувств у меня разболелась голова. Мэри, единственная сохранившая спокойствие, поскольку спор не затронул ее, поступила правильно, помилив нас и прекратив бесполезную дискуссию. Я хотел сказать ей об этом, сказать, что она — истинная островитянка, но, подумав о реакции Филипа, решил промолчать.

Неделя шла своим чередом. В доме было много книг, и мы много говорили о них. Оба, Филип и Мэри, любили читать, но как Мэри удавалось ознакомиться с тем, что крылось под переплетами, не знаю, поскольку большую часть времени она проводила переставляя книги с места на место и вытирая с них пыль. Филип постоянно подкладывал мне один том за другим, говоря, что вот это я обязательно должен прочесть, но глаза мои бесцельно скользили по строчкам — чтение не давало пищи ни сердцу, ни уму. Слишком половинчато рассматривались поднятые в этих книгах вопросы, слишком много было в них смутных, отвлеченных рассуждений. Филип считал, что Островитяния и мои занятия бизнесом отучили меня воспринимать серьезную литературу. Чем я теперь пробавляюсь — беллетристикой? Я ответил, что Островитяния научила меня узнавать вещи из первых рук.

Мы плавали под парусом, купались и непрестанно ссорились. Филип стал раздражать меня своими приступами сварливости, чуть только речь заходила о том, что Мэри называла «какими-то там идеями», в конечном же счете я все серьезнее и чаще задумывался об Островитянии и о том, что пережитое там стало еще реальнее с тех пор, как я вернулся.

Нет, отпуск решительно не удался. Мне хотелось чего-то более существенного, чем возможность с приятностью поразмять мышцы и вести бесконечные разговоры, которые всегда заканчивались сумбурно и ни к чему не вели. И как бы ни было сильно чувство привязанности, которое я испытывал к брату, Мэри, их детям, к родителям и Алисе, я не находил ему должного выражения. Сосновые рощи и море сами по себе были замечательны, но рассудительный голос Филипа не давал насладиться их красотой. Поэтому, как только представился неожиданный повод уехать, я незамедлительно воспользовался им.

Повод же состоял в том, что пришло письмо от Глэдис — написанное в спешке, но довольно длинное, словно она вдруг решила излить кому-то душу, и этим человека оказался я.

Глэдис писала, что родственники стали чрезмерно опекать ее, и это действует ей на нервы. Когда на первых порах к вашим занятиям живописью относятся как к милому и безобидному оправданию собственного безделья, на это можно не особенно обращать внимание; однако, спустя некоторое время, когда вам уже постоянно и весьма серьезно начинают задавать вопросы типа: каковы ваши планы на будущее и что за занятие такое — живопись, это становится просто нестерпимо! В такой обстановке невозможно не только рисовать, но и вообще делать что-нибудь серьезное. Вместе с тем, продолжала Глэдис, родственники были очень милы с ней и предлагали остаться у них насовсем. Они даже взяли на себя труд узнать, не найдется ли для нее место в городском банке! Но она мечтала об одном — бежать отсюда любой ценой. На две недели она собиралась в Нантакет, к друзьям. Тут же было указано название гостиницы, где Глэдис думала остановиться, и дата ее прибытия и отъезда. Прочитав мое последнее письмо, она обратила внимание на то, что сроки ее пребывания в Нантакете и моего отпуска совпадают. Что ж, писала Глэдис, буду смотреть на север через пролив и думать: где-то там, совсем недалеко, Джон. Может быть, ему тоже захочется приехать в Нантакет и повидать Глэдис.

Сначала письмо пришло на адрес пансиона, оттуда его переслали в загородный дом дядюшки Джозефа, а от дядюшки — Филипу. До конца отпуска Глэдис оставалось всего несколько дней, я принял решение почти сразу — слишком уж настойчиво призывала меня Глэдис. Немедленно отослав письмо на адрес гостиницы, я сообщил Глэдис, что хочу ее видеть и приеду на пару дней, вот только не знаю, как добираться: из того места на побережье, где я находился, выхода к проливу не было. В ответ девушка телеграфом указала расписание подходящих мне поездов и пароходов, и дело, таким образом, уладилось.

Волны с неровными, зубчатыми краями, торопливо набегая одна на другую, разбивались о нос парохода, плывшего к Нантакету. Свежий юго-восточный ветер рябил дымчато-голубую воду, и белые пенные буруны то и дело вскипали на острых верхушках волн.

Стоя на палубе, я искал Глэдис в толпе встречавших и, вскоре заметив ее высокую и стройную фигуру, снял шляпу и помахал ею. Глэдис увидела меня, кивнула и приветственно подняла руку, оставшись стоять там, где была, в то время как все прочие с шумными криками бросились к сходням.

Спустившись на берег, я подошел к девушке, держась позади всех. Глэдис казалась выше в своем белом длинном платье и светло-желтой соломенной шляпке с белой лентой, с одной стороны поля шляпки, отогнутые кверху, мягко обрамляли ее лицо. Волосы темной волной падали на плечи. Выглядела она посвежевшей, бодрой, ни следа не осталось от той усталой, бледной, растерянной Глэдис, какой я помнил ее в Нью-Йорке. Она была похожа на цветок, который вы видели в бутоне, но который наконец раскрылся и теперь очаровывает вас красотой своего зрелого цветения. Я не нашелся что сказать, кроме нескольких слов благодарности за телеграмму.

— Ну, с таким чемоданом, — деловито заметила Глэдис, — придется нам нанять экипаж.

На пыльных вытертых подушках она в своем белом, воздушном наряде выглядела явно не на месте.

Я спросил, где смогу остановиться. Глэдис сказала, что договорилась о комнате во флигеле: отель переполнен.

Она держалась несколько скованно, даже робко и еще ни разу по-настоящему не улыбнулась. Но это было не важно: впереди нас ждал вечер, а потом целый день вместе и еще один вечер, к тому же никаких лишних хлопот, связанных с отъездом. Правда, я вспомнил о друзьях Глэдис, и попросил ее рассказать о них, боясь, что они смогут нарушить мои радужные планы. Глэдис ответила, что они уже уехали.

— Так, значит, вы здесь одна?

— Да, — ответила девушка, — но все нормально. Я выгляжу старше своих лет. Кое-кто дает мне двадцать пять.

Мы подъехали к гостинице — невыразительному, длинному, с тесными рядами небольших окон, деревянному строению. Стены его были выкрашены белой краской, а вокруг тянулась широкая веранда.

Пока я расплачивался с возницей, Глэдис исчезла, сказав, что будет ждать меня. Я зарегистрировал свои документы, и меня отвели во «флигель», находившийся через улицу (это был небольшой коттедж, где обычно размещалась гостиничная прислуга), и показали мою комнату, очень небольшую, после чего я вернулся в отель за Глэдис. На веранде, в зеленых качалках, собралось довольно много публики, разглядывавшей улицу. Пока я взглядом искал Глэдис, все внимательно следили за мной. Из-за угла был виден кусочек пристани, плещущие о причал волны, а за ними — полоска песчаного берега, белесого, словно скрытого тонкой пеленой дыма. В дальней части веранды народу собралось меньше. Потом я заметил Глэдис, уже без шляпки: она сидела ко мне в профиль, чуть подавшись вперед. При взгляде на ее загорелую шею и по-детски худые плечи она показалась мне совсем девочкой, но в линиях лба, скул и гордо посаженной головы чувствовалось достоинство и благородство. Она беседовала с темным от загара молодым человеком лет двадцати трех, который, как только я подошел, встал и вскоре удалился.

Из-за серой, выложенной понизу галькой стены старой верфи показалась, плавно развернувшись, парусная лодка со взятыми рифами. Ее неожиданное появление было до боли ярким и прекрасным.

Нас ожидали долгие, неспешные часы вместе. В душе у меня царил счастливый покой... Но вот Глэдис беспокойно пошевелилась в кресле. Я обернулся и увидел ее недоуменный взгляд, широко раскрытые глаза пристально глядели на меня.

— Я все думала, обмолвитесь ли вы хоть словом? — сказала она. — Вы так долго молчали.

— А надо было обязательно что-то говорить?

— Хм! Когда люди встречаются, они обычно разговаривают, разве нет? Я решила молчать, пока вы не заговорите первый.

— Вы правы, Глэдис, — ответил я, — но никаких особенно важных мыслей у меня не было. Я просто думал о том, как все хорошо... Вы писали, что родственники действуют вам на нервы. Мой брат — тоже, и все больше и больше последние десять лет. Такое облегчение уехать от них, хоть я и очень люблю брата. Мы все время ссорились.

Глэдис наклонилась ко мне, ее длинные руки лежали на зеленых подлокотниках качалки. Она загорела, но кожа рук была по-прежнему тонкой и нежной, а длинные, суженные к концу пальцы тесно переплелись.

На мгновение я забыл, о чем идет речь.

— Вы расскажете мне поподробней о ваших родственниках, ладно? — спросил я. — Нам нужно о многом поговорить.

— Да, конечно!

Она расцвела своей уже знакомой мне улыбкой, озарившей все лицо, на щеках появились глубокие ямочки.

— Мы с Филипом никак не могли прийти к единому выводу насчет простой жизни, — начал я. — Филип думает, что я идеализирую простую жизнь из-за Островитянии, хотя простого там — только социальное устройство. Он такой непоследовательный! Не успел я к ним приехать, как он и Мэри, его жена, стали рассказывать про то, как просто они живут летом, хотя, по крайней мере для нее, это очень сложное время. Для Филипа простая жизнь значит время от времени колоть дрова, одеваться попроще, жить в комнате без обоев и прочее в этом роде — все, что отличается от его привычного образа жизни.

— А существует ли она вообще, эта «простая жизнь»? — спросила Глэдис.

— Нет, но жить можно по-разному, усложняя либо одну, либо другую сторону жизни. А так, если ты, конечно, не ящерица...

— «Идеальная жизнь»? — спросила Глэдис с улыбкой.

— Вы читали притчу Станнинга?.. Вы читаете на островитянском, Глэдис?

— Немножко. Кое-что мне удалось понять и у Бодвина. Он как раз ссылается на «Идеальную жизнь».

— Вам понравился Бодвин?

Этот вопрос я задал на островитянском. Глэдис внимательно, задумчиво посмотрела на меня. Нет сомнений — она поняла. У меня было такое чувство, словно в доме, каждый уголок которого я отлично знал, вдруг запахнулась дверь еще одной комнаты, неожиданной и прекрасной.

— Сначала я просто читала эти истории, не задумываясь, что в них есть какой-то глубинный смысл. Но он был. Мне хотелось понять его, и я страшно жалела, что так необразованна. Я плохо разбираюсь в философии, но уверена, что в этих историях заложена своя философия.

— С Филипом мне ничего не помогло. Едва я принимался объяснять ему, что думают островитяне, он тут же называл их гедонистами, а когда я отвечал, что в таком случае они — люди добросердечные, Филип заявлял, что это абсурд. Так обычно проходили наши разговоры.

— Кто такие гедонисты? — спросила Глэдис. — Я ведь никогда не ходила в колледж.

— Я посмотрел по словарю. Кстати, словарь у Филипа всегда под рукой. Слово греческого происхождения, от *hedone*, что значит «удовольствие». Видимо, гедонисты считают удовольствия высшим благом и строят свою жизнь соответственно. Но мне никогда не удавалось ничего извлечь из философских определений. Они все равно что палка о двух концах. Пока над ними не задумываешься — все прекрасно, но стоит поразмыслить, и они оказываются сплошным противоречием.

— Хотела бы я учиться в колледже.

— Все, чему там учат, вы и сами со временем узнаете.

— Почему вы так говорите?

— Вы быстро схватываете, и вам интересны знания. К тому же у вас нет предрассудков.

— Я полна предрассудков.

— Можете ли вы пожертвовать жизнью ради одного из них?

— Нет... только не из-за предрассудков.

— Значит, они вам не помеха.

— Я всегда теряюсь, когда говорю с человеком, окончившим колледж.

— Есть такая притча, Глэдис. Двух лошадей отпустили погулять на лугу. Одна умчалась вперед, а другая безнадежно отстала. Но первая подождала ее, и с тех пор они прекрасно играли вместе: никто не убегал вперед и никто не отставал.

В ее взгляде промелькнуло что-то далеко не робкое.

— Что еще вы прочли на островитянском? — спросил я.

— Вашу «Историю Соединенных Штатов».

— Так вы прочли ее! Вы писали, что для вас это слишком сложно.

— Пока мама болела, я по-настоящему взялась за островитянский. Мне нужно было что-то совсем, совсем другое: я уставала быть только сиделкой.

Так проговорили мы до ужина, когда раздался звучный удар большого колокола.

Глэдис торопливым шагом вошла в столовую — длинную залу с низким потолком и рядами столов. Посуда, скатерти, стены, потолок и передники девушек-официанток сверкали белизной. За каждым было закреплено его место, и, невольно нарушая эту уныло-безупречную симметрию, вы чувствовали себя едва ли не нарушителем границы.

Мы сели за стол, накрытый на десять персон. Мне отвели место в конце, так, словно я почему-то не имел права сидеть рядом с Глэдис. Кроме нас, за столом пока никого не было.

— Я люблю приходить раньше других, а то все обычно так пьются, — сказала моя спутница.

— Ну, вы такая симпатичная, высокая, привлекательная, — ответил я.

Глэдис удивленно взглянула на меня.

— Не надо мне льстить, пожалуйста, — сказала она с едва заметным, но больно кольнувшим меня упреком, словно я и вправду сказал что-то неподобающее.

Понемногу стали подходить и другие посетители, Глэдис поспешно и явно смущаясь представляла меня им.

Еду подавали в массивных белых тарелках, окруженных большим числом маленьких, плотно теснящихся вокруг, словно буксиры вокруг корабля в порту. Стучали ножи и вилки, звучала оживленная беседа. Глаза мои, выискивая хоть какое-нибудь теплое, живое пятно в белом однообразии скатертей, салфеток и лиц, остановились на Глэдис.

Она оказалась права. На нас, причем не столько на нее, сколько на нас обоих, было устремлено множество взглядов, не враждебных и не дружеских, а скорее любопытных, жадных, липнувших к нам, как клейкие мушиные лапки. Приветливая с виду женщина лет пятидесяти, называвшая Глэдис по имени и то и дело отпускавшая ей тонкие комплименты, задала и мне несколько осведомительных вопросов. Я вдруг понял, что всех этих людей занимает одно: какие у нас отношения с Глэдис; мне показалось, словно чьи-то чужие пальцы ощупывали, обшаривали нас.

Ужин кончился. Я предложил Глэдис прогуляться, и после минутного колебания она побежала к себе за накидкой, — было довольно прохладно, сыро, и с моря еще задувал ветер. Мы шли по тихим, малолюдным улицам, вдоль старых зданий, и Глэдис, в длинном темном плаще, служила мне проводником.

— Чем мы займемся завтра, Глэдис?

— А чего бы вам хотелось?

— Давайте весь день проведем у моря.

— Очень жаль, — ответила девушка, помолчав, — но с утра я собиралась кататься на лодке. Настал мой черед примолкнуть.

— Извините, — повторила Глэдис, — мне очень жаль.

— Ничего страшного, — ответил я, — пусть это будет не целый день.

— А вы уверены, что мы достаточно хорошо знакомы?

— Но какое же отношение это имеет к тому, хотите ли вы отправиться со мной или нет?

— Мне бы хотелось...

— Тогда чего вы боитесь? Меня?

— Нет, нет, не вас!

— Чужого мнения? Того, что скажут люди? Вам неприятны их пересуды?

— Я здесь одна, и мне следует быть осмотрительной.

— Значит, вам небезразлично, что подумает о вас эта публика?

— Не совсем... Конечно мне все равно! В любом случае я никого из них больше не увижу.

Но мама часто повторяла, что если ты одна, да к тому же девушка, люди только и ждут, что ты что-нибудь сделаешь не так. Она говорила — это от зависти. Она считала, общество всегда следит за тобой и поэтому ты тоже должна быть начеку.

— Я скомпрометировал вас своим приездом?

— А вы как считаете?

— Разве что в глазах тех, чье мнение для вас не важно. Только в их глазах.

— Думаю, вы не совсем правы, — сказала Глэдис. — В Нью-Йорке человек легко может затеряться в толпе, но здесь... Не лучше ли вести себя так, как католики?

— Это спокойнее, — ответил я, — хотя и католики порой могут заставить вас почувствовать себя неуютно. Но не кажется ли вам, что вы боитесь призраков?

— Мне не хотелось бы вести себя вызывающе, — сказала Глэдис. — Это нехорошо — так учила меня мама.

— Что вызывающего в том, что мы проведем день вместе? И почему это нехорошо, если вы хотите этого, не боитесь меня, а единственная опасность — в том, что кто-то из тех, чье мнение вас не волнует, осудит вас.

— Наверное, я глупая, но я решила, что если проведу часть дня с кем-то еще, то люди подумают...

— Вы же сами сказали: вам не важно, что они подумают.

Глэдис задумалась:

— Как бы то ни было, я уже обещала.

— Ладно, держите слово, но мне обещайте вторую половину дня.

— Конечно.

— И вечер тоже.

— Хорошо.

Мы продолжали идти молча, и мне было не по себе от тайной досады: сказанное встало между нами, словно стена тумана.

— Глэдис, — спросил я, — объясните, какая разница, знаете вы меня больше или меньше?

— Знай я вас дольше, я могла бы представить вас как старого друга семьи, которого помню с детства... что-нибудь такое.

— Отчего же так и не сказать?

— Я привыкла говорить правду. — В голосе ее прозвучали звенящие нотки.

— Но стоит ли говорить правду людям, чье мнение вам безразлично и кто вообще не имеет права судить вас, тем более если из-за этого вы лишаетесь того, чего вам хочется?

— Еще раз — извините.

— А вы уверены, что не боитесь меня?

— Ни капельки! — быстро ответила она.

— Итак, вы доверяете мне, человеку которого знаете, и боитесь абстракции, общественного мнения?

— Вы считаете меня очень глупой?

— Гораздо хуже. Нет, нет, вы очень умудрены! Но как ужасно подчиняться *такой* мудрости.

— Мы слишком серьезно говорим о пустяках, — сказала Глэдис.

— Да. Но важно не то, что мы теряем время, которое могли бы провести гораздо лучше, а

причины, по которым мы его теряем.

— Вы думаете, все это ерунда?

— Именно... Как-то я провел день вместе с Дорной, помните, я рассказывал? И даже не день, а целых два. Мы отправились на ее лодке, и нам пришлось заночевать на борту, потому что ветер стих. Я знал ее тогда еще меньше, чем вас. Ни чьи глаза не следили за нами. Мысль о том, правильно или неправильно мы себя ведем, не гнала нас. И все же, с точки зрения островитян, молодому человеку и девушке, которые случайно оказались вместе, нехорошо было слишком долго оставаться наедине, поскольку рано или поздно дружеские чувства, увлекавшие их, начинают артачиться, как норовистая лошадь, и верх берет чисто животное влечение.

— А как долго это «слишком долго»? — спросила Глэдис.

— Зависит от людей. Один день, пожалуй, не слишком.

— Я ни разу не проводила целый день одна с мужчиной. Мне иногда хотелось. Но маме это не нравилось.

— Хотелось?.. Действительно?..

— О да. Мне казалось, что мама ведет себя глупо, не доверяя мне. А она все твердила, что я ничего не понимаю. Хотя, — продолжала Глэдис, — я реалистка, и даже, может быть, мне не хватает наивности.

— Если это и так, то потому, что жизнь сделала вас такой. Теперь мне ясно, как это все происходит. Представьте, что мы с вами исчезли куда-то на два дня, как мы с Дорной...

— А разве вам, побывавшему в Островитянии, путь от Доринга до Острова не кажется достаточно долгим?

— Да, верно.

— В письме вы ничего не писали о том, с кем вы были.

— Но вы — американка, и я боялся, что вы составите неправильное мнение.

— О вас?

— О Дорне.

— Полагаю, я была бы удивлена.

— А теперь удивлены? Или, может быть, теперь вы худшего мнения о нас с Дорной?

— О вас, разумеется, нет. А о ней я ведь знаю только с ваших слов. Похоже, она очень красивая.

— Да, Глэдис.

— Вы рассказали мне о ней, — мягко сказала моя спутница, — и я вам за это благодарна... Как же неверно я все себе представляла!

— Общество внушило вам свой узкий взгляд на жизнь.

— Что ж, видимо, вас Островитяния сделала менее практичным... Но почему вы хотите теперь рассказать мне о Дорне, раньше ведь вам этого не хотелось?

Ответ нашелся не сразу.

— Потому, что мне никогда не приходило в голову, что у вас могло составить превратное мнение.

— Уверяю вас, нет! — твердо ответила Глэдис.

— Представьте, что если бы мы с вами уехали на два дня, то у обитателей гостиницы скорей всего составилось бы ложное мнение. И я объясню вам почему. Дело в том, что они и на минуту бы не задумались о том, что мы с вами за люди. Они лишь заметили бы, что произошло нечто, чего «не следует делать». Их шокировало бы нарушение условностей. А попроси их объяснить, почему же не следует делать того-то и того-то, они пустились бы в туманные рассуждения о соблазнах и прочем, по-прежнему не считаясь с нами как с конкретными, живыми людьми. Возвращаясь к уже случившемуся, они, вполне вероятно, предположат, что зло

коренилось именно в нарушении условностей. Но откуда им знать, что мы чувствовали: было ли то искушением, соблазном или нормальным, обоюдным влечением двух любящих существ? Так или иначе, почему они вправе вмешиваться? Тем не менее они считают своим долгом вмешаться из-за того, что нарушена условность, а вовсе не из-за того, хорошим или дурным был сам поступок... Косность взглядов — вот камень преткновения. Будь взгляды этих людей шире, они моментально ощутили бы себя свободнее и сами свободно решали, как воспримут другие их поступки!

— Не знаю, как бы я могла существовать без условностей, — беззаботно откликнулась Глэдис. — На что же тогда опереться?

— Условности хороши, когда касаются правил поведения, — ответил я, — но не тогда, когда превращаются в неумолимый слепой закон.

— Я не верю в них именно потому, что они существуют. Мама обычно говорила, что презирает их.

— Но тем не менее соблюдала?

— О да! Она говорила, что так надо.

Я подумал о покойной матери Глэдис, которую она любила, но во мне миссис Хантер и ее поучения не вызывали симпатии.

— Она всегда была непоследовательной, — продолжала Глэдис, — а порой и просто говорила невесть что.

— И все-таки вы отказываетесь представить меня как старого друга семьи.

— Мама учила меня никогда не лгать, и я так и не привыкла врать... по крайней мере с легкостью.

— А что значит «невесть что»?

— Ну что она умнее меня... и я пока еще слишком глупа, чтобы судить, когда следует лгать, а когда нет.

— О, детская доверчивость!

— Я не была образцовым ребенком, — сказала Глэдис. — Вот вы напали на законы и правила. А как по-вашему, разве не должно быть такого правила — не лгать?

— Нет, — ответил я. — Вы обязаны говорить правду тому, кто имеет право ее знать, потому что эта правда может повлиять на его дальнейшие поступки. Тому же, кто просто сует нос не в свои дела, вы ничем не обязаны.

— Не совсем с вами согласна!

— И вы не должны осуждать человека за ложь, даже если знаете, что он лжет.

— Я не осуждаю. Но разве вас не учили быть правдивым?

— Учили. Моим родителям ложь представлялась чем-то столь ужасным, что, стоило мне солгать, меня ждала порка, хотя в остальных отношениях они были люди мягкие. В результате долгое время одна мысль о лжи вызывала у меня жгучие ощущения в определенной части тела. Все это неправильно!

И я рассказал о том случае, когда Алиса взяла на себя вину за мой проступок, чтобы меня взяли в поездку.

— Оба мы говорили неправду, — сказал я, — но испытывали при этом такое чувство общности, благодарности и сострадания друг к другу, что оно полностью затмевало собой сознание вины. Разумеется, это было так по-детски.

— И что следовало сделать вашим родителям?

— Им следовало разобраться в наших чувствах, объяснить, как далеко могла завести нас такая практика и как по-детски мы рассуждаем. Наказание было бессмысленным.

— А в Островитянии?

— Там это вряд ли могло случиться. Наказание порождается условностями и законами, — сказал я и описал возвращение Наттаны в Нижнюю усадьбу так, как она сама рассказала о нем в письме, только опуская имена, и добавил: — Единственное наказание, какого потребовали в данном случае островитянские законы, — на некоторое время лишить эту девушку возможности заниматься любимой работой.

— Она не такая, как другие, — сказала Глэдис.

— Стало быть, и относиться к ней следует особо. Закон подстраивался под неё, а не наоборот.

— Но как же определить, кто особенный человек, а кто нет? Законы пишутся для обычных, простых людей. Для тех, кого большинство.

— В Островитянии общество устроено намного проще, поэтому там нет нужды в особых законах для простых людей. Суждения составляются с учетом характера каждого. Все более гибко.

— И все равно я думаю, — сказала Глэдис, — что поведение той островитянской девушки кажется ужасным ее отцу. Ей следовало бы постараться понять его.

— Но они и так прекрасно поняли друг друга.

— Этого мало. Почему бы ей не пожертвовать своими убеждениями?

— А разве не лучше оставаться честной?

— Не всегда... то есть я хочу сказать, не так. Допустим, я понимала, что мама часто непоследовательна, несправедлива, но какая разница, если я могла сделать ее счастливой? Если бы она даже наказала меня, это ничего бы не изменило. Я старалась быть такой, какой ей хотелось меня видеть.

— Вы любили ее, — сказал я. — А вы были счастливы, исполняя ее желания?

— Конечно.

— Вы истинная островитянка, Глэдис. Пока я теоретизирую насчет законов и условностей, вы думаете о чувствах конкретного человека.

Правда, я не добавил, что и Глэдис оказалась непоследовательной. Ведь если бы она действительно разделяла мысли своей матери, то не стала бы называть их несправедливыми и необоснованными.

Мы подошли к старой ветряной мельнице, темневшей на взгорке. Красная полная луна вставала в небе. Обернувшись, мы взглянули на ровный красный диск. В порывах не стихающего ветра складки плаща Глэдис то и дело, развеваясь, касались моей руки.

Мы удалялись от города по грязной, размытой дороге. Кое-где на низкой плоской равнине виднелись редкие дома. Млечный свет встающей луны рассеивал мглу, и тени становились более угловатыми и острыми.

Глэдис шла легко, плавно, несмотря на свое длинное платье, и я представил, как бы она была хороша — еще более раскованная и завершенная — в свободной островитянской одежде.

Оставленная мною земля Островитянии просвечивала повсюду, как память о сне. И Глэдис тоже словно была связана с нею...

Она шла то опустив голову, и тогда тень скрывала ее лицо, то поднимая ее и глядя в небо, и лунный свет падал на ее лицо. Каждое мое переживание несло в себе частицу ее существа, ощутимо сладостную, томительную и тревожную.

— Я надеюсь, вы правильно поняли все, что я говорила вам о маме, — вдруг сказала она, и внутренняя связь ее мыслей была для меня совершенно ясна: Глэдис боялась, что я буду несправедлив к той, кого она так любила.

— Не бойтесь, я понял все правильно, — ответил я.

— Маме жилось нелегко, — продолжала девушка. — Она с детства была избалованна, а потом деньги наши все таяли и таяли и она мучилась, не зная, что с нами будет.

— И она не могла подыскать себе какой-нибудь работы?

— Как-то она призналась мне, что чувствует, что ни на что не годна... Всякий раз, как только подумаю о какой-то другой жизни, вспоминаю, как тяжело приходилось маме. Ее воспитали с мыслью, что ей никогда не придется работать. Дедушка мой был вполне обеспеченным человеком. Он путешествовал, ни в чем себе не отказывал... Жизнь в Сиракузах, после свадьбы, показалась маме очень убогой. Она чувствовала себя космополиткой. В Нью-Йорке отец не преуспел... Вообще, я не очень хорошо помню его. Мама обычно говорила, что он был преуспевающий провинциал и ему не стоило уезжать из Сиракуз... Конечно, мы с ней все время жили вместе, и я не знала, что деньги на исходе. Маме казалось, что нам хватит того, что у нее было, на двоих, и я не сомневалась, что и после ее смерти буду жить без забот. Она старалась внушить мне мысль, что следует искать счастья в замужестве. Я же беспокоилась только о том, чтобы быть такой, какой она хочет меня видеть... Она действительно любила меня, Джон, я знаю. Кроме меня, у нее ничего не было.

— И вы любили ее.

— Конечно.

Сейчас Глэдис шла с понуренной головой, казалось едва касаясь земли.

— Вы понимаете ее, скажите правду?

— Да.

— Жизнь оказалась жестокой к ней.

— У нее не было своей *алии*, — сказал я.

— Что это значит?

— Я уже, наверное, наскучил вам Островитянией?

— Нет, нет. Расскажите.

— Островитянским девушкам никогда не прививают мысль о том, что ожидающая их жизнь может быть более пышной и яркой, чем та, что они ведут. Каждая знает, что, если выйдет замуж, условия ее жизни останутся практически теми же. Девушка отдает предпочтение мужчине, исходя из его собственных достоинств, а не из его достатка. И после свадьбы она не пытается изменить жизнь мужа. В браке она обретает чувство уверенности и постоянства и на этой основе может сама построить богатую и счастливую жизнь. *Алия* — это любовь человека к дому и семье, как к чему-то, что, даже меняясь, остается неизменным... Главное в ней — любовь родителей к детям, детей к родителям и всех родственников друг к другу. Это делает семейные узы естественными и прочными. У всех общая цель. Взять хотя бы мой случай.

И я поделился с девушкой своими раздумьями о любви родителей ко мне и моем отношении к ним, о том, какие чувства питают Филип и мама к нашим родственникам, и наконец сказал:

— Все это, Глэдис, примеры любви, но любви ущербной, хотя она могла бы принести и гораздо лучшие плоды, будь у каждого из нас *алия*.

— Бедная мама, — тихо сказала девушка. — Интересно, понравилось ли бы ей такое.

— А вам?

— Мне? — Глэдис задумалась... — Скорее всего я не гожусь для островитянской жизни.

— Но почему?

— Я во всем сомневаюсь. Та островитянка, про которую вы рассказывали, твердо знала, чего хочет. Мне это, в каком-то смысле, не дано.

— Неужели они показались вам людьми, не ведающими сомнений?

— Разве это не так?

— Они прекрасно разбираются в человеческих отношениях, потому что образование их строится иначе: меньше внимания уделяется фактам и гораздо больше — реальным человеческим чувствам и поведению. Такое образование развивает в них чуткость души.

Глэдис погрузилась в задумчивость.

— Мне трудно ответить вам, — заговорила она наконец, и слова ее, изобличая еще свежий жизненный опыт, прозвучали интригующе. — Значит, они так хорошо понимают друг друга?

— Если островитянин влюбляется, а его возлюбленная отвергает его, она считает своим долгом объяснить ему все причины и быть с ним предельно искренней.

— И Дорна повела себя так же? — робко спросила Глэдис.

— Да, и, зная, как ревностно берегут женщины тайну своих прихотливых поступков, думаю, что она повела себя как замечательный, истинно добрый человек.

— Быть может, лучше иногда пожалеть мужчину и не говорить ему все напрямик? Ведь если он будет постепенно узнавать истину, ему придется не так больно.

— Нет!

— Но часто девушка сама не в силах разобраться в своих чувствах.

— Пусть так и скажет.

— Она может не захотеть, испугаться...

— Островитянки с детства приучаются к откровенности. Скажите, Глэдис, вы имеете в виду что-то конкретное?

— Да, однажды мне сделали предложение. Мне исполнилось всего восемнадцать, но мама была «за». Даже не берусь описать, что я чувствовала. Казалось, мне стоило ответить согласием. Это разрешило бы многие проблемы... Но потом я поняла, что не могу! Но причин отказа я ему не объяснила. Это было невозможно!

— Если причины были вам ясны, почему вы не захотели объяснить открыто?

— Ах, — воскликнула Глэдис, — как же может женщина признаться мужчине, что он для нее всего лишь друг, и только?!

— Разве это так трудно? Это — правда и звучит более чем определенно.

— Мама твердила, что я должна поступиться тем, что чувствую. Она вконец запутала меня... И как я могла, сидя рядом с ним, говорить ему такие вещи?

— Разумеется, — ответил я, — не могли, не имея ясного представления о том, что с вами происходит. Сначала человеку следует хорошенько разобраться в себе, а уж потом говорить о своих чувствах. Уверен, вам обоим пришлось бы гораздо меньше терзаться и переживать.

— Значит, можно научиться...

— Пройдя тяжелый, мучительный путь.

— Мне кажется, я еще не знаю... Разве можно быть уверенным вполне?

— Можно, если сбросить лишнее бремя.

Мы возвращались к гостинице узкой улочкой, по обеим сторонам которой росли старые деревья, а осанистые старинные дома гордо и неколебимо высились в лунном свете, словно обещая милый уют и тепло — отдых после тягот жизни на море, чей соленый запах чувствовался в воздухе.

Глэдис задумчиво молчала... Мне ничего не хотелось от нее скрывать, и я первым нарушил молчание.

— Я любил Дорну, — начал я, — и не сомневался, ни на минуту не сомневался в своей любви. Потом я потерял ее... Это было тяжело. Но есть что-то такое в Островитянии, что всегда придает человеку силы. А затем Дорна подарила мне те несколько дней, те часы воздаяния, после которых между нами не осталось никаких недомолвок и неясностей. Теперь она —

прекрасное воспоминание, а я — окончательно свободен.

— Скажите, а эта история... она не настроила вас против американок?

— О нет!

Безмолвная, но живая, теплая, милая тень скользила рядом...

Мы подошли к двери гостиницы.

— Может быть, зайдете? — нерешительно спросила Глэдис.

— Пожалуй, нет.

— Что ж, тогда... попрощаемся здесь?

Она стояла на ступеньку выше меня, и мне не хотелось, чтобы она уходила.

— Так, значит, завтра, Глэдис...

— Встретимся внизу, в восемь?

— Да, в восемь! А как же ваше обещание?

— Обещание, да... Мне так жаль теперь. Не надо было этого делать.

— Не беспокойтесь.

— Я вернусь к двенадцати, и мы сможем пойти купаться. Так, значит, доброй ночи? Это был счастливый вечер.

— Я не утомил вас разговорами?

— Нет, мне теперь так о многом надо подумать!

— Завтра можно устроить передышку.

Глэдис вдруг примолкла.

— Доброй ночи! — быстро проговорила она, словно очнувшись.

Касаясь ее тонкой, прохладной руки, я чувствовал, что дрожу.

— Доброй ночи, Глэдис.

Девушка взбежала по ступенькам и скрылась.

Перейдя улицу, я вошел во флигель и поднялся в свою комнату, скошенная стена которой и часть потолка были неровно оклеены обоями; вдоль стены стояла деревянная койка. Умывальник, небольшой письменный стол и единственный стул, грубо сколоченный из золотистой сосны, довершали обстановку. Занавеска на единственном низком открытом окне трепетала от налетавшего влажными порывами ветра.

Когда я выключил назойливо-яркую электрическую лампу, свет высоко стоящей в небе луны просочился в комнату и белым пятном, перечеркнутым тенью рамы, лег на полу...

Слишком много было передумано за последние дни, но это были неприятные, сами собой текущие мысли о том, что видишь и слышишь кругом, о том, что само приходит в голову, — слишком много было сухого, уводящего от жизни теоретизирования и ненужных сообщений. Жизнь в среде «интеллектуалов» развивала природу человека очень однобоко. И теперь все лихорадочно теснившиеся в моем мозгу мысли устремились к Глэдис, и я казался себе жалким в собственных глазах...

Ее загорелые длинные руки будоражили меня. Я хотел касаться этих рук, всего ее высокого, стройного тела. Какое-то время после возвращения на родину чувства мои пребывали в покое, потом месяцами я сдерживался, и вот наконец плотину прорвало.

Я понимал, что мое влечение к Глэдис, по сути, дурно. В висках жарко гудела кровь, я снова чувствовал мучительную раздвоенность. Чрезмерное напряжение мысли — результат моего нынешнего образа жизни — вело к неизбежному раздвоению на человека духовного и плотского. Если бы нашлась какая-нибудь простая, нехитрая работа на солнце, на свежем воздухе! Мне хотелось вновь обрести цельность, избавиться от преследующего, как рок, нечистого желания, которое не заслуживало даже слова *ания*... А раздвоенность вела меня к новым самокопаниям.

За завтраком мы чинно раскланялись и разыграли перед миссис Питерс и прочими небольшой спектакль. Глэдис как бы невзначай обронила, что сразу после завтрака отправляется кататься на лодке, а я мельком упомянул, что приехал уладить кое-какие дела и собираюсь осмотреть Нантакет.

На Глэдис была короткая пикейная белая юбка с широкими складками, в которой ее ноги в черных гольфах казались еще стройнее. Кроме этого, она надела сегодня белые спортивные туфли и простенькую блузку из тонкой ткани, подчеркивавшую мягкие линии рук и спины. Ее костюм ничем не отличался от сотен других, и когда я увидел ее с перехваченными черной лентой волосами, то подумал, что она явно преувеличивала, когда уверяла, что ей дают двадцать пять лет. Выглядела она на свои двадцать, но уверенное выражение лица и пронизательный взгляд придавали ей достоинство и ограждали от непрошенных домогательств, как если бы она была пятью годами старше. Ее страхи перед обществом могли показаться даже смешными, но стоило задуматься над тем, какой опыт, какие горькие уроки послужили тому основой, и ее становилось жаль.

Все утро мы покорно играли навязанную нам роль, но, очутившись после обеда на веранде, особенно ясно почувствовали, сколь неумолимо даже самое маленькое общество склонно подавлять в человеке любое естественное движение.

— Пойдемте прогуляемся, — предложил я, — и не будем медлить. Можно захватить ужин и вернуться попозднее, при лунном свете. Вечера здесь темные, но луна встает быстро.

Глэдис молчала в нерешительности, серьезно и задумчиво глядя на меня. Потом глаза ее неожиданно ярко блеснули.

— Прекрасно! Куда же мы пойдём?

Я отправился нанять дрожки, а Глэдис — собрать нам ужин.

Встретившись снова, мы уселись в наш экипаж, одно из больших колес которого громко скрипело. Не сговариваясь, мы направились в сторону моря. Все было чудесно: запах лошади, гладкие кожаные поводья в руках, когда-то зеленоватая, а теперь выцветшая до рыжины полость, прикрывавшая наши колени, дорога, то быстрее, то медленнее скользившая под нами, город позади, становящийся все меньше, невысокие холмы и пустоши, поросшие низкорослыми деревьями, и высокое синее небо с тонкой пеленой облаков.

Мы говорили о самых простых вещах, окружающих нас, и какое счастье доставляло отмечать любое совпадение наших наблюдений: вот невысокая каменная насыпь вдоль дороги приближалась навстречу, быстрой слитной чередой мелькала мимо и снова неспешно удалялась, словно перейдя на шаг. Мы говорили о том, как и в чем нам приходилось ездить, и сравнивали достоинства и недостатки; говорили о лошадях, при этом частенько упоминая Фэка, о котором я много писал в своих письмах.

— Фэк по-прежнему мой, — сказал я, — а пока он в усадьбе у Дорна.

— Я бы, наверное, сразу узнала его, когда увидела, — ответила Глэдис, — вы так живо и ярко описали его.

Обсуждали мы и кобылку, которая везла наши дорожки, не слишком ухоженную и крепкую, но покладистую. Глэдис рассказала о почтенного возраста жеребце своих родственников, а затем и о них самих.

— Типичные «новые англичане», — сказала девушка. — Главное — все начистоту, и как можно громче. Они считают, что чем больше собеседнику, тем добросовестнее они исполняют свой долг.

Я рассмеялся и сказал, что обязательно запомню эту колкость. Глэдис посмотрела на меня с удивлением.

Впереди показалась рыбацкая деревушка. Небольшие сборные дома лепились по верху песчаниковых скал, часть сгрудилась внизу, у кромки берега. Оставив нашу повозку и захватив корзину с ужином, мы спустились к морю.

Большие зеленые волны накатывались одна за другой, вздымались, выгибая лоснящиеся спины, то тут, то там вспыхивали ярко-белые буруны, и длинные язычки пены лизали берег. Гулкий рокот прибоя отдавался в ушах, пригревало солнце.

Деревня почти скрылась вдали. Мы расположились на сухой полосе песка, куда не доставали волны... Разговор наш почти смолк. Время шло...

— Глаза слипаются, — сказала Глэдис.

— Так вздремните, — сказал я, но девушка отрицательно покачала головой. Она сидела прямо, перебирая песок загорелыми пальцами.

Я прилег, опершись на локоть.

Глэдис опустила голову и неожиданно быстрым движением легла так же, как я, вытянувшись, потом подперла щеку ладонью, поправила платье на коленях и вздохнула.

— Поспите, — снова предложил я.

— Вы не обидитесь?

Наконец, словно перебарывая себя, она откинулась на песок, слегка согнув ноги. Веер черных ресниц отбрасывал тень на щеки, шелковистые, слегка размягчившиеся, в редких бледных веснушках. Губы приоткрылись, блузка мерно вздымалась на груди.

Меня потянуло к ней. Хотелось лечь рядом, близко, заглянуть ей в лицо, переплести пальцы с ее загорелыми пальцами, словно бы глядящими песок.

Глядя на ее беззащитные губы, слегка разведенные колени — две возвышенности под складками ее юбки, — я вспоминал то, что она обиняками говорила о предложениях, которые ей делали в школе, о мужчинах, которых сватала ей покойная мать. Чего удавалось добиться от нее другим мужчинам? Я почти ненавидел всех, кто хоть когда-нибудь касался ее, и мучился от ревности при мысли о Глэдис, кокетливой, манящей, обольстительной.

Все в ней было желанно; и, сколько бы она это ни отрицала, обладание ею было драгоценно, и в то же время она, воительница, могла отстоять свою свободу и судьбу. Эта девушка обладала властью пробуждать сильное, очень сильное желание. Но сколько тенет и ловушек, расставленных *анией*, подстерегало в этом смятенном мире ее, чья темная природа будила влечение, но и сама готова была отдаться ему? Сможет ли она трезво, как Наттана, расценить свои силы, если однажды кому-то удастся тронуть ее сердце?

Никто не должен был потревожить ее чарующе естественный сон. Открыто вверяющий себя чужому взгляду, он еле слышно обещал большее. Глэдис — одинокая и отважная, ребячливая, но негибаемо сильная. Ее суровость воительницы была для меня не менее важна, чем для нее самой. Я хотел, чтобы ей встретилась настоящая любовь, ибо она была достойна *ании*...

Солнце, пройдя зенит, стало спускаться, окутанное туманной дымкой, задул влажный прохладный ветер. Я, как мог осторожно, укрыл девушку накидкой, но она проснулась и резко, испуганно села. В глазах читалась растерянность, одна щека горела.

— Неужели я уснула? — спросила она.

— Да, Глэдис, но вы спали совсем недолго.

— Ах, извините! А вы что делали?

— Лежал.

Она взглянула на упавшую ей на колени накидку.

— Это вы меня укрыли?

— Да, и, к сожалению, разбудил.

— Я так устала. Сегодняшнее утро, потом эта прогулка в лодке, да еще и ночью я почти

совсем не спала... не знаю почему.

Я не стал больше ничего спрашивать...

Глэдис замерзла. Мы встали и пошли по кромке берега. Большие валы один за другим накатывались на него, и, улучив момент, мы подбегали близко к воде, а потом наперегонки мчались обратно, и пенные широкие языки, вперемешку с песком, шипя, гнались за нами.

Волосы Глэдис влажными вьющимися прядями прилипли к пылающим щекам. Девушка остановилась, переведя взгляд со своих туфель на волны:

— Как хочется побродить босиком по воде!

— Почему бы и нет?

Она покачала головой.

Мне самому хотелось ощутить ногами соленую влагу, почувствовать, как откатывающаяся волна с упругой силой тянет меня за собой.

— Можно было бы раздеться и выкупаться, — сказал я.

Глэдис быстро взглянула на меня.

— Да, здорово было бы! — воскликнула она и побежала по сверкающей водной глади, причем одна из волн едва не унесла ее туфлю, белая юбка на мгновение отразилась в воде, тут же замутившейся поднятым со дна песком.

Ветер стих, и солнце снова ярко сияло в небе.

Мы вернулись к месту, где оставили корзинку с провизией и плащи, но по дороге Глэдис не углядела, и коварная волна вконец вымочила ее туфли. Пришлось собрать плавника и развести костер.

Белые туфли Глэдис потемнели от воды и все были в песке, а на черных гольфах проступили пятна соли. Стало понемногу темнеть, и мы принялись за еду. Глэдис накинула плащ и, как она сказала, наконец согрелась, только ноги были еще холодные.

— Почему бы вам не снять туфли и гольфы и не высушить их у огня?

Она отказалась.

Мы ждали, пока взойдет луна. Наконец идущий на убыль месяц показался из-за темного моря. Это был знак. Мы поднялись и, взобравшись по песчаному откосу, запрягли нашу лошадку, стоявшую в пахнувшей сеном полутемной конюшне.

Мы ехали, удаляясь от моря, по безлюдной дороге, и колесо тянуло свою скрипучую песню.

Разговор шел о разных мелочах, но каждый знал, что и другой пьян своим счастьем, изнемогает от него и с наслаждением думает о долге, покойном сне.

На следующее утро Глэдис пришла к пароходу проводить меня. Так многое надо было сказать, но нужных слов не находилось.

— Я был очень, очень счастлив, — сказал я, беря ее продолговатую ладонь.

Девушка прямо встретила мой взгляд, и рука ее доверчиво пожала мою.

— И я тоже давно не была так счастлива, — ответила она. — Смотрите, вы меня избалуете.

— Ну разве могу я вас избаловать? Вы сами были так добры.

— Ах да, простая жизнь... Наверное, все это из-за Островитянии.

Она улыбнулась, но глаза ее оставались серьезными.

С палубы я долго смотрел на Глэдис, стоящую на медленно удалявшейся пристани. Она оставалась там, когда большинство провожающих уже разошлось, и я различал только светлое живое пятно на фоне темно-серой стены дока, — пятно, вскоре превратившееся в крошечную точку, в которой сосредоточилось все упование моего счастья.

Дядюшка Джозеф выразил надежду, что я хорошо отдохнул и с прежним усердием готов приняться за работу. Дела не стоят на месте, добавил он, и я, поняв намек, отвечал, что чувствую себя в прекрасной форме.

Потом он спросил, где я успел побывать, и я рассказал, как прошел отпуск. Затем последовали расспросы о семье — я представил полный отчет.

— Ну а с барышней своей встречался? — неожиданно спросил дядюшка.

— Гостил у нее день в Нантакете, — ответил я.

— Тогда все, — сказал он, но, когда я уже повернулся, чтобы идти, вновь окликнул меня. — Смотри не слишком спеши, Джон. Ты только-только вернулся домой, в страну, где живут самые красивые девушки в мире. Не увлекайся первым же смазливym личиком. Живи в свое удовольствие, но не спеши... Деньги не нужны?

— Нет, спасибо, — ответил я.

— Ладно, к этому еще вернемся.

Стоял сентябрь, и пурпурно-золотые краски его наряда, высокие голубые небеса и свежий, прозрачный воздух были прекрасны и здесь, в Нью-Йорке. В Островной усадьбе, на болотах Доринга, где сейчас только начиналась весна, у Дорна и Некки скоро должен был родиться ребенок.

За шесть месяцев, проведенных в конторе дядюшки, я приобрел сноровку, значительно облегчавшую работу и дававшую возможность яснее представлять детали каждого дела. Приятно было чувствовать себя полезным и приносящим реальную пользу, приумножая капиталы компании «Ланг и К^о», и поэтому я откладывал решение вопроса, которое должен был принять до конца года. Испытательный срок, назначенный дядюшкой Джозефом, поглощал все мои мысли. Я сознательно лелеял в себе образ преуспевающего нью-йоркского бизнесмена: постоянные дела в конторе, но при свободном расписании; дом или квартира в городе; свой клуб, где, впрочем, я плохо представлял, чем буду заниматься; театры, обеды, вечером партия в бридж с приятелями; загородный дом; загородный клуб; гольф, верховая езда и, может быть, яхта; жена и, разумеется, дети; друзья, во всем похожие на меня; чтение в свободную минуту. Рисуя подобные картинки, я помещал себя, Джона Ланга, в круг движущихся персонажей. На всем лежал отпечаток определенного стиля. Со временем я обрету ощущение полноты жизни, а еще позже окончательно свыкнусь с нею. Смутное удовольствие доставляли также мысли о росте моего успеха. Нужно ли мне это или нет, я мог решить, лишь реально почувствовав его привкус. А посему трудился изо всех сил, вкладывая в работу весь свой ум, всю свою волю и стараясь ублажить дядюшку.

В середине октября, когда начался сезон визитов, я получил записку от Глэдис, уже из пансиона. Она обещала написать, как только окажется в Нью-Йорке, но выяснилось, что вернулась она уже около двух недель тому назад, и, извиняясь, что не известила меня сразу, сослалась на то, что была очень занята. Я навестил ее. Она выглядела старше и казалась похудевшей. Нам о многом надо было переговорить, но обоим сковывало невольное чувство отчужденности, словно оба мы незаметно изменились и здесь, в городе, с трудом понимали друг друга. Однако глаза ее заблестели, едва разговор коснулся школы и ее занятий.

— За это лето я стала совсем другим человеком, — сказала она. — Теперь буду работать изо всех сил, чтобы наверстать упущенное. Раньше я слишком много думала о себе. Теперь это меня не волнует.

Мы договорились встретиться вечером через неделю и довольно сухо попрощались.

Неужели это была та Глэдис, которая сказала, что я сделал для нее невыносимой обычную жизнь? Неужели я был тем человеком, который увидел в ней залог своего счастья? Быть может, в обличье бизнесмена я уже не казался Глэдис островитянином, и в этом была причина? Тот давний день на морском берегу был следствием чрезмерной чувствительности или... *аниии*?

Что-то в Глэдис поблекло, и моя собственная жизнь вдруг показалась мне довольно-таки невыразительной и пресной.

Нужна была встряска. Но где? как? Я был далеко не единственным, кто после тяжелого рабочего дня нуждался либо в покое и отдыхе, либо во встряске. Многие «виды» встряски можно было купить, — скажем, приобрести билет на какую-нибудь игристую пьеску, на какую-нибудь оперетку, даже из числа вполне невинных. Но встряску, которой я действительно желал, могла дать мне только женщина, и не тогда, когда смотришь на нее из зала, когда она распевает куплеты чужого сочинения... Дядюшка Джозеф уловил мое настроение. За его финансовыми предложениями крылось нечто большее.

Подобно Мефистофелю, которого, находясь в схожих обстоятельствах, призвал Фауст, неожиданно, проездом из Чикаго, объявился Дженнингс, бодрый и цветущий.

Он интересовался новостями, видимо строя планы осесть в Нью-Йорке, и между прочим спросил, как дела там, в этой «чертовой дыре» — Островитянии.

— Богом проклятое место, — сказал он. Вид у него был преуспевающий, ухоженный, лицо снова приобрело херувимскую свежесть, только под глазами залегли темные круги и взгляд их как-то потускнел.

— Как Мэннера? — спросил он.

— Полагаю, вернулась домой.

— Отличная девчонка, но она вместе со своей чертовой страной, которая, помнится, тебе так нравилась, довела меня до ручки. После нее дела мои пошли прахом. Ты едва не разорил меня со своей выставкой, Джонни!.. Но теперь у меня все в порядке.

Он рассказал о том, какой пост сейчас занимает и как удачно идут дела. Однако мысль о Мэннере явно не давала ему покоя.

— Когда она, слава тебе Господи, решила не ехать со мной, я решил поручить ее тебе.

— То есть как?

— Оставил ей письмо и попросил передать его тебе, если ей понадобится рука друга.

— Она ничего не передавала.

— Мне показалось, что у нее с тобой найдется немало общего, ведь ты так легко уживался с этими лесными дикарями и был чертовски добр, уж во всяком случае лучше Гарри Даунса... Нет, она не моего типа. Впрочем, все они там сущие ведьмы, но ты умел с ними справляться.

— Ты ведь вообще невысокого мнения о женщинах, не так ли?

— Вовсе нет. Когда мне попадается действительно хорошая девчонка, это другое дело.

Потом мы устроили нечто вроде небольшой дружеской пирушки. Но об Островитянии Дженнингс неизменно отзывался с презрением.

— Мэннера довела тебя до ручки, — сказал я, — и, похоже, до сих пор не дает покоя.

— Что ты несешь, старина!

— Такой женщины, как Мэннера, тебе уже больше не найти.

— Не умничай, Джонни.

— А если я когда-нибудь вернусь — поедешь со мной?

— Думаешь, я захочу увидеть ее старухой? Нет уж, уволь!

— Почему ты так любил ее? Только отвечай прямо.

— Она была... в общем, такая простая... Нет, не знаю.

— Так ты нашел хорошую девчонку?

— Хорошую девчонку? — Он неожиданно напустил на себя загадочный вид. — Да, она славная, и с ней я спокоен.

Теперь сама мысль о встряске казалась мне противной. Но как-то оно будет в следующий раз? Вполне вероятно, кто-нибудь когда-нибудь снова скажет мне, что «хорошая девчонка» успокаивает мужчину. Что ж, если я воспользуюсь таким успокоительным, значит, я действительно низко пал.

Дядюшка не спешил возвращаться к разговору, на который намекал сначала летом и затем в начале осени. Я ломал себе голову, гадая, в чем допустил просчет и неужели сил у меня хватило всего на два месяца.

Филип приехал в Нью-Йорк по делам, мы пообедали вместе, и я, по праву брата, доверил ему свою тайну.

Рассказав о происшествии в ущелье Ваба и о том, как мне посчастливилось спастись, я не умолчал и о приглашении переехать в Островитянию, о предложенных мне Дорном усадьбах.

— Путь открыт, — сказал я, — и до конца года я должен принять окончательное и бесповоротное решение. Откладывать больше нельзя. Либо эта жизнь, либо та, и никаких сожалений. А жизнь там и здесь очень разная.

— Почему ты ничего не сказал нам?

— Потому, что мне хотелось самому, без чьей-либо помощи, составить справедливое суждение о вашем образе жизни.

— О *вашем* образе жизни! — воскликнул Филип. — Но, скажем, у меня и у дядюшки Джозефа они разные. У нас нет единого образа жизни. А ты, между прочим, пока один из нас. Какое же право ты имеешь говорить «*ваш*»?

— Да, они разные, но все — резко отличаются от жизни в Островитянии...

— Это-то и замечательно, что у нас они разные. Но так или иначе, ты, безусловно, очень расстроил всех нас. — Он изучающе взглянул на меня: — Я все думал, что же могло так изменить тебя. Ты стал таким нервным, взвинченным.

— Отнеси это за счет необходимости принять решение. Но я, по правде, не чувствую в себе никакой нервозности. В Островитянии мне говорили, что я был сгустком чувств, когда приехал, но никто не повторил этого перед отъездом.

— Может быть... ты всегда был очень чувствительным, но, по крайней мере, всем нам эти чувства были понятны... Не понимаю, о каком выборе тут может идти речь для интеллигентного человека. И разве это не потеря — стать менее чувствительным?

— Полагаю, я стал чувствительнее к реальным вещам.

— Ты веришь в Островитянию?

— В Островитянию и своих друзей там.

— Друзей можно иметь и здесь. Чем они хуже?

— Мои лучшие друзья теперь там.

— Но почему ты не пытаешься завязать дружбу здесь?

— У меня есть здесь приятели.

— Ты слишком заносчив.

— Ах, Филип! Неужели надо быть настолько верноподданным, чтобы водить дружбу исключительно с соотечественниками?

— Разумеется нет, но ты специально приводишь в пример предрассудки и ходячие истины. Конечно, когда речь идет о более простых вещах, предрассудки непреложны, как закон

Ньютона, но если дело доходит до более важных вопросов, о них следует позабыть.

— Главное в том, чтобы вообще от них избавиться. Островитяния выработала во мне такую гибкость и враждебность по отношению к любым устоявшимся нормам, что мне чужды решительно все предрассудки, без которых не обойтись в этом обществе, слишком сложном, чтобы решать любые — будь то важные или пустяковые — вопросы без помощи закона Ньютона.

— И снова ты противоречишь себе. Твой предрассудок — в фанатичной проповеди «простой жизни», чего-то наподобие Брук-фарм, Чарльза Вагнера или выдумок Руссо!

— Нет, Филип, я ни на минуту не смешиваю все эти теории с реальностью островитянской жизни. Там тоже не все просто. Я побывал во многих переделках и знаю это. Общество их устроено просто. Соответственно упростились и отношения между людьми. Но эмоционально все отнюдь не так!

— Теперь мне ясно: Островитяния — еще одна утопия, на сей раз эмоциональная! Чистейший гедонизм.

— Эмоции, чувства — все, что помогает человеку сознавать себя человеком, в Островитянии свободно, Филип.

— Гедонизм! Но ведь есть вещи более высокие.

— Что же?

— Мысль и дух!

— Отвлеченные умствования там не очень в чести, и я полагаю...

— Мне жаль тебя, Джон!

— Но что хорошего дают они человеку, если только он не профессиональный математик?

— Правильное устройство жизни невозможно без отвлеченных размышлений.

— Если ты действительно так считаешь, Филип, ты пропащий, заблудший человек. Но мы топчемся на месте. Позволь мне сказать кое о чем, что мне не нравится здесь.

— Мало ли что тебе не нравится... Ты, я вижу, стал вроде индивидуалиста-прагматика.

— Можешь называть меня как угодно. Но будь конкретным, Филип. Скажи, что тебе так не по душе в Островитянии?

— Ладно, так и быть, скажу... Как я понял из твоих слов, страна эта преимущественно сельскохозяйственная, каждое поместье почти полностью обеспечивает свои нужды, и, за исключением переездов, связанных с браком, человек умирает там же, где родился. Это означает, что образ жизни его заранее предопределен. А следовательно, ему нигде реализовывать свои притязания. В результате жизненная энергия в человеке слабеет. У него нет стимула к переменам, к использованию всех возможностей. Это хорошее место для работяги-труженика, для любителя спокойной, тихой жизни, но для человека, не лишенного...

Он задумался, подыскивая слово.

— Непоседливого? — предположил я.

— ...не лишенного притязаний, — это гибель. Уехав туда, ты распишешься в собственной слабости, Джон.

— Притязания, амбиции считаются здесь хорошими качествами, поскольку зачастую помогают улучшить свою жизнь, но сами по себе они не несут ничего хорошего... Можно теперь мне?

— Давай.

— Мне думается, что человек рожден со стремлением быть активным и заниматься разнообразной деятельностью. В Островитянии это стремление — витальность — находит применение, естественное для человека, если предположить, что человек — это существо из плоти и крови, двуногое животное, в то же время наделенное развитым интеллектом. Здешняя

жизнь предъявляет такие требования, что люди, чтобы выжить, вынуждены тратить свою жизненную энергию, витальность, неестественным образом. Островитяне же, более уравновешенные, разносторонние, умеют находить в жизни изоощренное удовольствие...

— Гедонист! — воскликнул Филип.

— Хорошо, я принимаю твое тяжкое обвинение и опровергну тебя с точки зрения того же гедонизма... Удовольствие, радость — величайшее благо! Но удовольствие для тебя и для островитянина вещи разные. Для тебя удовольствие — это удовольствие, непосредственно воспринятое чувствами или пережитое в уме. Здесь каждый тратит такую дьявольскую уйму времени на то, чтобы выжить, и для этого принужден делать столько неприятных вещей, что поневоле превозносит их и открыто порицает все, приносящее удовольствие. Для тебя удовольствие — это потакание собственным страстям, нечто порочное, предосудительное. Если так, то удовольствие, конечно, нельзя считать величайшим благом. Однако Островитяния — не для каждого. Есть люди, столь извращенные, что им доставляет удовольствие все неприятное, — это реформаторы, те, кто хочет переделывать чужие жизни по себе. Но нормальный человек, с нормальными желанием, с развитым умом и физически здоровый, не настолько извращен. Все это я говорю к тому, что островитянский образ жизни дает ему гораздо лучшую возможность с радостью быть самим собой, чем эта страна.

— Получается, Островитяния — гедонистический рай!.. Но то, что ты называешь извращенным, здесь отнюдь не таково!

— Быть может, если выживание, такое как здесь, является главной целью; однако предположи, что люди с самого начала избрали путь медленного развития и сохранения условий своей жизни, чтобы добросердечие и гедонизм оставались наилучшими условиями для жизни и выживания, — разве тогда личность, стремящаяся все переделать, изменить, не показалась бы извращенной, выпавшей из общего гармоничного целого?

Филип покачал головой:

— Нельзя сдерживать самолюбивые притязания человека. Если личность отличается от своего окружения, у нее нет иного выхода.

— Такие личности обычно физически или нравственно ущемлены, либо это праздные люди, которым некуда девать свою энергию.

— Как ты можешь так говорить! Среди реформаторов — благороднейшие из людей!

— Ты прав, и это трагедия, что условия жизни сделали их таковыми.

— Джон, ты просто сноб, который носитя со своей Островитянией, самодовольный и надутый сноб!

— Не знаю, но уж они во всяком случае не снобы. В них нет ни капли самодовольства. Их гедонизм идет от чистого сердца, ваш — нет. Доброта — тоже радость. Для островитян это естественно. Для островитянина доброта рождается из чувства общности и из сознания, что его потомок появляется на свет слабым и хрупким в отличие от вылупившейся из яйца рептилии или насекомого.

— Ты имеешь в виду, что у них развито семейное чувство?

— Необычайно.

— Уверен, что не больше, чем у нас.

Мне пришлось повторить то, что я уже рассказывал Глэдис об островитянской *алии*, о том, какую почву она давала для развития «семейного чувства», и объяснить, насколько *алия* и *ания* взаимосвязаны.

— Славно, славно, — ответил Филип, — но ты ни за что не убедишь меня, что твои островитяне довольствуются исключительно своим домашним очагом и своими женами.

— У них нет слова «жена», — возразил я. — Самое близкое, пожалуй, в буквальном

переводе означает «возлюбленная-по-алии»... Но ты прав. Есть у них и другое понятие: *ания* — чувственное влечение к тому, кто не разделяет твоей *алии*.

— Я так и знал! Стало быть, и они не во всем совершенны.

— Они признают, что природа, как всегда не скупясь, щедро наделила мужчин и женщин привлекательностью и восприимчивостью друг к другу.

— Допустим! Но есть ли у них понятие безнравственных отношений?

— Слово «безнравственный» в островитянском отсутствует. Что же до отношений, лишенных *алии*, то надо помнить, что тесно связанные чувства *алии* и *ании* способствуют созданию такого общества, в котором, как нигде у нас, становится очевидной бесплодность отношений, основанных на одной лишь *ании*. Для нас «любовь» — это узлы. У островитян мужчина или женщина еще менее склонны порывать с домом, семьей ради *ании* или даже *ании*, потому что их объединяет общая *алия*.

— И все же ты признаешь, что они безнравственны.

— Для них понятия «безнравственный» не существует. У них нет единых для всех случаев нравственных норм. Им они не нужны!

— Вот тут-то ты неправ! — торжествующе воскликнул Филип. — Нравственность заложена в человеке изначально, как врожденный инстинкт. Безнравственные люди ущербны.

— *Ания* — тоже естественный человеческий инстинкт, но все это не нравственность.

— И все-таки они безнравственны, согласишься.

— Если ты подразумеваешь любовников, которых не связывает *алия*, то ты прав.

— Я вовсе не то имел в виду. Я говорю о любовных отношениях помимо супружеских.

— Это другое дело, — ответил я. — Женщина, согласившаяся разделить твою *алию*, формально считается твоей женой, но если она утрачивает это чувство и появляется другая, его разделяющая, то право первенства переходит к ней. Подобные отношения никто не осудит.

— Это безнравственно, — сказал Филип.

— Пусть, но какая разница?

— Джон, они развратили тебя! Ты перестал ощущать границы нравственности.

— Пусть... то есть если бы я жил там.

— Хочу только сказать: надеюсь, что ты не позволишь себе настолько опуститься.

— Стало быть, обладать женщиной, которая не разделяет с тобой *алии* или не твоя жена, значит опуститься?

— Ну конечно!

— Тогда я предпочел бы оказаться там! — сказал я в порыве внезапного гнева, без всяких угрызений вспомнив о своих отношениях с Наттаной, однако тут же пожалел об этом. Брат глядел на меня удивленно, в глазах его зажегся огонек.

— Теперь наконец все ясно! — воскликнул он. — Зачем только ты лгал Алисе, когда она спрашивала тебя об этом? Мы все полагали, что ты вел приличную жизнь.

— Я скрыл сам факт, но насчет приличий сказал правду. Правила морали, жесткие нормы поведения делают ложь разумной и неизбежной.

— У тебя была любовница, Джон?

— Да.

— Я бы не назвал это приличным.

— Почему?

— Ты был влюблен в нее? — настаивал Филип.

— Мы оба поняли, что это не *ания*.

— Тогда я не могу простить тебя.

— Простить! За что?

Огонь в его глазах разгорелся.

— Если хочешь знать, — почти выкрикнул он, — я считаю подобные отношения, тем более если люди не любят друг друга, скотскими!

— Если невинный молодой человек и невинная девушка сходятся, в этом нет ничего скотского, Филип, в том смысле, который ты придаешь этому слову. Это прекрасно, уверяю тебя! Однако мы не так уж и расходимся во взглядах, потому что и вправду такие отношения могут вызвать и в нем, и в ней чувство мнимой *ании*.

— Если они женаты?

— Необязательно.

— Рад, что ты так считаешь, Джон.

— Я не считаю, я знаю. В подобных случаях ты уже не способен делать что-либо по-настоящему полезное и ничто не приносит тебе удовлетворения.

— Значит, не все еще потеряно! Я слышу в тебе голос совести.

— Голос... чего?

— Совести, Джон!

— Я не понимаю, что это значит! — воскликнул я, стиснув голову руками.

— Нет, понимаешь.

— Я прекрасно сознаю, что я сделал, — ответил я. — Мне также известны некоторые последствия.

— Значит, в глубине души ты сожалешь!

— Я ни о чем не жалею!

Филип на мгновение умолк, потом воскликнул:

— С такими мыслями тебе и в самом деле лучше вернуться туда!

— Вполне вероятно, я так и сделаю, если мне до конца жизни будут устраивать здесь подобные сцены. Я имею в виду не только тебя, Филип. Мне противны идеи, которые ты отстаиваешь.

Филип слегка побледнел:

— Ты начинаешь дерзить, Джон.

— Прости. Мы с тобой никак не можем поладить.

— Надеюсь, *там* ты найдешь с кем поладить.

— Филип, — сказал я, — все эти споры из-за Островитянии становятся, наконец, невыносимы. Мне безразлично то, что ты называешь меня безнравственным, но мне не безразличны чувства, которые ты испытываешь, называя меня так. И теперь мне еще больше не нравятся разговоры, которые мы вели до того, как перейти на личности. Если раньше это было приятной умственной разминкой, то теперь — слишком реально. Я ненавижу здешнюю жизнь — она такая суматошная, путаная!

— Но думать о ней, обсуждать ее — это единственный способ прояснить положение!

— Если слишком много о ней думать, можно только еще больше запутаться, и тогда она утратит всякий смысл. Я могу быть совестливым здесь, только когда не думаю об этой жизни.

— Счастье не главное в жизни.

— Какая чудовищная мысль!

— Нет! — крикнул Филип. — Великая мысль!

— Тебе не хватает только нимба великомученика, Филип!

— Джон! — снова воскликнул брат. — Ты должен найти хорошую девушку и жениться! Тебе нужна жена!

— Мне не нужна женщина, которая блюла бы мою нравственность. Мне вообще не нужна жена как прибежище от несчастий. К тому же я слишком требователен.

— Вы оба обретете величайшее счастье, протягивая друг другу руку помощи.

— Как вы с Мэри, — сказал я.

Филип кивнул. Я замолчал, думая о том, что мне не столько хочется помогать кому-то или ждать помощи, сколько — строить, созидать.

Выговорившись, высказав все накипевшее, мы долго молчали, но в конце концов братские чувства взяли верх, и мы расстались добрыми друзьями.

За октябрем последовал ноябрь, и так же, как прежде, грезя наяву, я представлял себя процветающим бизнесменом, так теперь рисовал себя простым островитянином, хотя сердце мое было по-прежнему беспокойно. Несмотря на все то, что я говорил Филипу, решение мое еще не созрело... В Островитянии меня ожидала работа, не слишком тяжелая, большей частью на свежем воздухе, работа в зависимости от времени года, от того, какая погода будет стоять; дом мой будет расположен на земле, где мне предстоит трудиться; в столицу я буду выбираться не часто, зато остров Дорнов, подаривший мне *танридуун*, станет моим вторым домом... Домашние радости сведутся к дням приема гостей и тем, когда я сам буду навещать соседей, к музыке вроде той, что играла на своей дудочке Неттера, к присмотру за своим хозяйством и к счастливым минутам работы на своей земле... Жизнь моя будет протекать в основном в стенах моего дома, и не будет клуба по вечерам, но у меня будут свои лошади и своя лодка, будут друзья — не одинаковые и одинаково похожие на меня, а яркие, самостоятельные личности — Дорн, Стеллина и те, с кем я пока еще не знаком... Осенью будет горький дымок сжигаемых листьев, дождь, не сводящийся к необходимости зонтика и галош, солнце, которым я буду наслаждаться не только потому, что оно освещает мир и согревает меня, ветер и облака в небе, каждый день по-новому интересные, и земля — не просто нечто, на чем покоится основание моего дома и по чему я каждый день ступаю... Там не будет ни театра, ни оперы, ни иллюстрированных журналов, ни изощренного искусства — ничего из пряных удовольствий западного мира; вместо них будут часы тяжелой, давящей тишины и непривычные для слуха звуки, но там меня ждет покой и ощущение живой грезы, и, трудясь, я буду постоянно открывать для себя что-то новое — будь то выращивание растений или разведение животных... Кожа моя посмуглеет от солнца, и, может быть, я стану несколько грубее, не таким бойким на язык, как в разговорах с Филипом; желания мои сделаются сильнее, проще, я стану спокойней и уверенней и часто буду чувствовать себя страшно одиноким...

Когда-то пережитое впервые ощущение одиночества в Островитянии показалось мне зловещим, наводящим ужас, но теперь я не боялся его. Что-то, однако, вызывало у меня страх, но что? То, что я могу умереть вдали от близких и родных мне людей? Сможет ли островитянка, которая станет моей женой, возлюбленной моей *алии*, заменить их? Быть может, мне до конца дней суждено оставаться холостяком, так и не найдя себе пары, и все же я, иностранец, наполовину завоевал Дорну и целиком — половинку сердца Наттаны. В Островитянии было много красивых, соблазнительных женщин, но я помнил совет Стеллины — жениться на девушке из страны, где я вырос. Островитянка так или иначе будет слишком опекать меня — как мать, как наставница. Смогу ли я убедить кого-то отправиться со мной?

Размышляя так, я представлял себе фермера, который отправляется в город подыскивать себе невесту. Джентльмену или леди это, конечно, показалось бы грубым, равно как и результат подобного предприятия — далеким от совершенства. Люди благородного происхождения привыкли ожидать любви как чуда. Но фермер преследует три основательные цели: найти подругу, которая удовлетворяла бы его мужские желания, подарила бы ему отпрыска, который помогал бы в хозяйстве, и вдобавок получить дополнительную пару рук, способных к определенному труду. Цели эти могут показаться неприглядными, только если в расчет не

принимается чувство и если на детей смотреть исключительно как на бесплатных работников. Тот же, кто не имеет ясных целей, полагая любовь чудом, и считает, что его избранница как-то сама собой впишется в лелеемый идеал, — по-своему тоже заблуждается. На самом деле идеал где-то посередине: там, где любовь к женщине сочетается с целью жизни, любовь — *ания* и цель — *алия*. Будь я истинным островитянином по взглядам и рождению, чудо любви свершилось бы естественно, между мной и моей женой не было бы ничего чуждого и найти общую *алию* оказалось бы несложно. Но я не был островитянином. Джон Ланг — житель Островитянии? Конечно, это исключение. И поскольку лишь американка могла стать моей подругой, поскольку семейная жизнь виделась мне предпочтительней — я мог с определенным основанием заняться поисками жены.

Но из кого выбирать?

Я знал многих девушек, и еще больше встречал незнакомок, очаровательных, обольстительных, которые могли бы подарить мне множество радостей сейчас или в будущем. Среди них была Глэдис, но я слишком любил ее, чтобы выступать по отношению к ней в роли фермера, выбирающего невесту. И хотя я любил ее со всей полнотой чувства, я никогда не предложил бы ей разделить со мной островитянскую жизнь.

Со времени ее возвращения в Нью-Йорк мы виделись дважды, и вот теперь, в начале ноября, после разговора с Филипом, я направлялся к ней в пансион.

Единственным местом, где она могла принять меня, была все та же тускло освещенная гостиная, но, хотя Глэдис и выглядела усталой и бледной, источаемый ею внутренний свет драгоценными отблесками ложился на выцветшую обстановку. Волосы ее, которые она, в отличие от большинства женщин, не взбивала кверху в стиле «помпадур», были с обеих сторон зачесаны назад, как два крыла, черные и блестящие в скупом желтом свете, падавшем сверху. Длинное темно-красное платье сидело на ней свободно, но не чересчур. Оно не сковывало движений девушки, при каждом из которых очертания ее фигуры угадывались под ним. Высокий воротник и длинные манжеты оставляли открытыми лицо и кисти рук. Единственной туго обтягивающей деталью ее наряда были чулки, полоска которых была видна только на подъеме, когда Глэдис закидывала ногу на ногу.

Если бы я действительно был фермером, мне следовало бы для начала сказать о том, что я могу предложить своей будущей жене, и расспросить ее, хорошо ли она умеет стряпать и не боится ли тяжелой работы — других вопросов не требовалось. Но, поскольку я все же еще не стал фермером, мне захотелось рассказать Глэдис об Островитянии. С этой целью, проявив учтивый интерес к ее занятиям, я понемногу направил разговор в это русло, сказав, что время принять окончательно решение — близко.

Глэдис не сводила с меня своего умного, пронизательного взгляда, каряя радужка блестела на фоне ярких белков.

— Помогите мне сделать выбор, Глэдис.

— Как же я могу помочь вам?

— Выслушайте меня.

— С удовольствием.

Она улыбнулась, вздернув округлый, четко очерченный подбородок, глаза вспыхнули темным огнем, и она приняла позу слушательницы. Тогда я рассказал ей о своих дневных мечтаниях, где представлялся себе то процветающим бизнесменом, то простым островитянином, однако пока ни словом не упомянув о жене.

— В одном случае вас ожидает нечто надежное, в другом нет, — сказала девушка. — Почему вы так уверены, что станете преуспевающим бизнесменом?

— Я не уверен, но и не хочу отдавать предпочтение Островитянии из-за страха потерпеть

неудачу здесь.

— Вы словно играете на скачках, — ответила Глэдис, — а мне хотелось бы, чтобы вы сопоставили не бизнесмена и островитянина, а островитянина и кого-нибудь еще.

— То есть?

— Не думаю, что лучшие люди у нас — бизнесмены.

— Но люди, которые больше других чувствуют себя здесь как дома, для которых созданы самые подходящие условия, — это именно бизнесмены. Остальные либо живут за их счет, либо критикуют.

— Слишком материалистический взгляд.

— А вы бы что выбрали, Глэдис?

— Если бы я была вами или оставалась собой?

— Если бы вы были Джоном Лангом.

Она опустила глаза, обхватила руками колени, вздохнула, бросила на меня быстрый взгляд и, улыбнувшись, сказала с легким оттенком зависти в голосе:

— Островитянина — это звучит так заманчиво.

— Будь вы сами собою, — спросил я, — что бы вы выбрали?

— Но кем бы я там могла быть?

— Чьей-нибудь женой или сестрой.

— Сестрой... а как же тогда моя живопись?

— Если помните, я писал вам о Кетлине и ее занятиях резьбой, — сказал я. — Вы почувствовали бы себя свободнее, потому что нормы жизни там проще. Никто не будет мешать вам в ваших увлечениях, и вам не придется постоянно конкурировать с кем-то. Искусство в Островитянии не такое изоциренное, как здесь, и поэтому оно понятно всем и приносит радость, несмотря на свою детскую наивность, а художники там счастливы.

— Но я смогу там рисовать?

— Разумеется!

— Я не слишком хорошо стряпаю и побаиваюсь тяжелой работы.

— Вам она не нравится, Глэдис?

— Мне не часто приходилось ею заниматься... но я смогла бы, Джон. Я — сильная.

— А если бы вы были не сестрой, а женой?

— Если бы я полюбила человека, я была бы счастлива с ним везде. В Островитянии или где-нибудь еще, это не важно.

— Но предположим, вы могли бы выбирать.

Глаза Глэдис потемнели, она задумалась. Потом покачала головой:

— Все это так нереально.

— Послушайте меня, Глэдис, и все станет для вас гораздо реальнее. В Америке женщина, делая выбор, учитывает, во-первых, хочет ли она жить с мужчиной, быть его женой, и, во-вторых, будет ли ее жизнь сносной, если она выйдет за него замуж. Если первое желание очень сильно, остальное отступает на второй план.

Глэдис загадочно улыбнулась, я же продолжал:

— Если сильнее оказывается второе, то это сказывается и на женщине, что вполне естественно. Если преобладает первое, а вторым пренебрегают, люди говорят, что женщина пожертвовала собой ради любви; если же преобладает второе — назовут материалисткой или скажут, что она заблуждается. Но в любом случае здесь мы сталкиваемся лишь с этими двумя соображениями. В Островитянии существует и третье. Там женщина — конечно, это в равной степени относится и к мужчине — воспринимает себя как создательница *алии*, разделяя это чувство с мужчиной, которого любит. *Алия*, хоть так и может показаться, вовсе не

ограничивается соображениями комфорта, общественного положения, возможностей для работы или исполнением прихотей и капризов. И это не только желание иметь детей. То есть и это, но плюс нечто большее: имея детей, обеспечить им хорошую жизнь, которую взаимными усилиями создают для них родители... Следы *алии*, наверное, можно обнаружить и в нашей жизни здесь, но там она — развитое, осознанное чувство. Идеальный брак подразумевает для островитянки соединение трех вещей: во-первых, любовь и желание близости; во-вторых, сносные условия жизни и, наконец, в-третьих, родственность его *алии* ее чувствам... Да, по большей части мужчина может предложить девушке лишь стать женой фермера, но я уже подробно описывал вам эту жизнь. У вас должно было составиться какое-то представление. Для человека здорового и сильного лучшей жизни не придумать... Эта жизнь делает человека здоровым, не то что Нью-Йорк.

Я замолчал, вспоминая, с чего, собственно, начался разговор. Глэдис сидела очень тихо, глаза ее затуманились; потом она ласково поглядела на меня:

— Я и не думала, что все так сложно. Для меня первое условие — единственно важное.

— Тем не менее уверен, что хорошая *алия* сделала бы вас счастливее.

— В любом случае я буду счастлива.

— И вот еще что, Глэдис. Любовь там не только то, что понимаем под этим мы. Их любовь прежде всего *ания*. По-моему, это изумительное, прекрасное чувство. Глядя на женщину, вы не думаете: «Я хочу ее, хочу спать с нею». Вы думаете: «Да, это она. Она близка и дорога мне. Она как бы часть меня и в то же время совсем другая. Я хочу, чтобы что-то после нас сохранилось и продолжало жить. Для меня нестерпима даже мысль о том, что она может умереть... Каким будет наш ребенок?». Конечно, вы хотите обладать ею, но это не лихорадочный жар, не торопливая страсть, которая улетучивается, как только цель достигнута. Ваше желание исходит из глубины вашего существа и несет покой... И если вы можете предложить такой женщине достойную *алию*...

— Я понимаю вас, — откликнулась Глэдис.

Воцарилась напряженная тишина.

Глэдис сидела совершенно неподвижно. Кровь бросилась мне в голову. С одной стороны был дядюшка Джозеф и путь делового человека, с другой — Глэдис, Глэдис в своем длинном платье, с тонкими белыми пальцами художника, стройная и высокая в отличие от Наттаны и Дорны, скорее похожая на Стеллину, и совершенная американка по своим привычкам и взглядам. Как-то скажется Островитяния на ней?

— Я так и не решил, ехать мне или оставаться, — признался я.

Ее ресницы резко, словно с облегчением, взметнулись вверх.

— Надеюсь, что свою *анию* вы уже нашли, Джон, — сказала девушка. — Я верю в это всем сердцем.

— Надеюсь, что и вы нашли ее, Глэдис... С Дорной мне это не удалось. Я был тогда еще слишком... юным, так я теперь думаю. Была еще одна женщина. Я хотел жениться на ней. Мы дружили, и нас влекло друг к другу. Одно время мы были влюблены. Но потом мы поняли, что это не *ания*, и расстались.

Глэдис опустила голову.

— У меня нет от вас секретов, — сказал я. — Если я вернусь в Островитянию, наши с нею пути больше не пересекутся... После той истории я что-то потерял, но приобрел гораздо больше.

— Что же? — тихо спросила Глэдис.

— Я понял, что такое красота и то, что мне, американцу, никогда не пришло бы в голову само по себе, — что любовь, страсть это еще вовсе не *ания*.

— А что вы потеряли?

— Обычно человек предпочитает думать не об этом, а о том, что он сделал все, что мог, ради другого.

— Понимаю... — сказала Глэдис. — Мне нравится *ания*, — добавила она немного погодя. — Она должна делать этих людей еще лучше.

— Ах, Глэдис! — воскликнул я. — Значит, вы поняли!

Она взглянула на меня, и глаза ее сузились, словно я сделал ей больно.

Настал декабрь, и дядюшка Джозеф уведомил, что хочет поговорить со мной. Из окна его кабинета в узком просвете между небоскребами виднелось море. По голубовато-серой поверхности его, которую рябил ветер, сновали буксиры и паромы. Дядюшка сказал секретарше, чтобы его не беспокоили, и предложил мне сесть. Потом он сам сел за свой стол, напротив меня, и закурил сигару. Я заметил на его лице морщины. Это было лицо старого, усталого, но отнюдь не несчастливого человека.

— Я собираюсь рассказать тебе кое-что о нашем деле, — начал он после многозначительной паузы и не спеша, во всех подробностях описал настоящее и даже будущее компании. Доход, который она приносила, оказался даже больше, чем я полагал.

— Мой отец — твой дед, Джон — был основателем фирмы «Ланг и К^о», — сказал дядюшка. — Она сделала из меня человека, хотя теперь я не завишу от нее. Мне хватает на жизнь и есть что оставить Агнессе и сыну. Так что судьба компании их тоже не очень волнует. У каждого из них своя самостоятельная дорога. Я не хочу, чтобы «Ланг и К^о» умерла вместе со мной. Наверное, это покажется тебе сентиментальным... может быть, так оно и есть. И я хочу, чтобы у сына моего брата тоже был шанс, как когда-то у меня... шанс, который упустил его отец. Я собираюсь взять тебя в партнеры начиная с первого января и передать тебе свою долю. Я хочу, чтобы ты вел дело и дальше, пока оно обеспечивает тебе безбедную жизнь. О большем просить не могу.

Я собирался заговорить, но дядюшка жестом остановил меня:

— Мысль эта пришла мне в голову не только что. Она возникла после того, как мой сын решил стать юристом. Я не заговаривал об этом раньше, потому что хотел, чтобы сначала ты показал себя. Что ж, Джон, ты справился со своей задачей за последний год. Какое-то время я совсем было потерял надежду, но теперь я буду самым счастливым человеком, если смогу передать дела «Ланг и К^о» в твои руки.

Внезапно и с неожиданной ясностью я понял все. Направляя мою судьбу, дядюшка Джозеф сначала дал мне попробовать свои силы в Островитянии. Должность консула была испытанием, которое я не выдержал, тогда он предоставил мне другую возможность. И вот теперь я узнал, что то, чего я желал больше всего на свете, дядюшка собирался дать мне... «Ланг и К^о» была его *алией*, которую он хотел увековечить. Его собственный сын избрал другой путь. Значит, продолжить дело должен племянник.

— Итак, Джон?.. — спросил дядюшка. В голосе его сквозило волнение...

Если бы я знал о его намерениях, когда отправлялся в Островитянию, все могло обернуться по-иному. Я держался бы так же уверенно, как знатные молодые островитяне. Я совершенно иначе говорил бы с Дорной... Какое горькое разочарование!

— Дядюшка Джозеф!

Он подарил мне Островитянию. Быть может, мне следовало вернуть ему долг, приняв его *алию*? Островитяния все равно будет жить во мне.

— Наверное, я был чересчур суров, — сказал дядюшка, — так долго держа тебя в неведении...

— Нет, — ответил я, — вы повели себя очень мудро!

— Выходит, я не ошибался, — сказал он с облегчением. — Я рад, что ты воспринял это именно так.

Хоть от одного лишнего сожаления мне следовало его избавить.

— Для меня было бы лучше не знать об этом, дядюшка.

— А теперь, Джон, не пора ли оформить наш уговор? Все необходимые бумаги здесь, передо мной. Я даю тебе третью долю.

Щедрость дядюшки поразила меня. Доход мой соответственно возрастал в шесть раз. С первого января я смогу считать себя преуспевающим бизнесменом... в тридцать лет!

— Мне очень жаль, дядюшка Джозеф, но я хочу навсегда вернуться в Островитянию.

В изумлении дядюшка долго молчал.

— Нет! — сказал он наконец. — Не губи себя! Опомнись!

— Мне больше по душе та жизнь.

— Но что ты будешь там делать?

— Возьму с собой все сбережения и куплю поместье.

— Какой из тебя фермер!

— Вы правы, но я научусь.

— Ты только развалишь хозяйство.

— О нет! У меня не будет недостатка в помощи и совете. Хозяйство в поместье, которое я покупаю, уже налажено.

— Это самоубийство, Джон! А как же твоя семья?

— Вы спрашиваете про родителей?

— Нет, про... твоих будущих детей.

— Им там будет хорошо... и они станут хорошими островитянскими фермерами.

— У тебя там жена? Может быть, дело в этом?

— Нет, дядюшка Джозеф. Там нет женщины, которая связывала бы меня.

— Тогда... эта девушка, здесь, — она не хочет замуж за бизнесмена?

— Нет. У меня нет здесь девушки, и никто не влиял на мое решение.

— Послушай меня, Джон! Это самый ответственный шаг в твоей жизни... важный и для меня тоже. Я настроился взять тебя в фирму. Но теперь я думаю о том, как тебя спасти, о твоём благе. Уехав, ты подпишешь себе смертный приговор. Ты лишишься всякого будущего, всех перспектив... Почему, почему ты хочешь вернуться?

— Потому что та жизнь для меня более полная и счастливая, дядюшка.

— И ты говоришь мне это сейчас! — Он покачал головой.

Мы еще долго говорили, но доводы и с той, и с другой стороны словно падали в пустоту. Дядюшка не уставая взывал к достоинствам здешней жизни, о которой мечтал и для меня. Он так же верил в свою *алию* и был так же счастлив ею, как любой островитянин.

Чтобы распутать веревку, часто достаточно развязать один узел. Все, что привязывало меня к деловому миру, внезапно утратило силу. Ничто не привлекало меня в той жизни, которую я вел, и ни о чем в ней я не жалел. Напротив, я был полон счастливым нетерпением любовника, который знает, что его возлюбленная ждет его. Никто из родни, по сути, не противился моему отъезду, хотя все умоляли меня остаться. Я понимал, что прощаюсь с ними навсегда, и сердце мое разрывалось от боли.

Что касается Глэдис, то я сознательно избегал ее, боясь, что она может поколебать мое решение и узел вновь затянется. Билет до Саутгемптона на 5 января 1910 года был уже куплен.

Под Рождество я навестил родных, встретил с ними Новый год и третьего вернулся в Нью-Йорк. В тот же день я повидался с Глэдис.

Мы встретились в полутемной гостиной. Глэдис была в том же мягкими складками обвивавшем ее красном платье, и смотреть на нее было мучительно.

— Я все гадала, что с вами случилось, — беспечно сказала она. — Наверное, вы были очень заняты.

Она улыбнулась, разомкнув ярко-красные губы, и желание, которому я упрямо противился, стало почти невыносимым.

— Да, я действительно был очень занят, — ответил я. — Готовился к отъезду в Островитянию.

Кровь отхлынула от ее щек, и даже губы, которых мне так хотелось коснуться своими, побелели. Подбородок задрожал, рука поднялась было к груди, но снова упала на колени. Однако она пересилила себя, по-прежнему пристально, твердо глядя мне в глаза. Я тоже не отводил взгляда, словно ничего не замечая.

Глэдис улыбнулась:

— Надеюсь, вы будете счастливы. — На лице ее все было так живо написано, что я почувствовал себя несказанно счастливым, и это едва не поколебало мою решимость.

— Глэдис... — начал я.

Опустив голову, она глядела на свои сложенные на коленях руки и, казалось, не слышала меня.

— Я хотела бы знать, почему вы все же решили вернуться, — сказала она.

Ответ был у меня уже наготове. Мне хотелось объяснить все как можно яснее.

— Потому что островитянская жизнь — лучше. Чувства и рассудок там существуют в человеке слитно, и он не теряет своей цельности, то возносясь в небеса, то падая слишком низко. Здесь же труд, ценимый превыше всего, позволяет узнать реальную жизнь лишь из вторых рук. Мы слишком много думаем о наших мыслях и крайне редко — о реальных чувствах и вещах. Выбирая узкую специальность, человек имеет дело с частью, а не с целым. Мы живем в постоянном смятении, запутываясь все больше и больше. Наша перенасыщенная умственная деятельность либо иссушает здоровое, животное начало в человеке, либо превращает его в звериное. Поверьте, Глэдис! Желание становится чем-то нечистым, извращенным, чем-то, что нужно скрывать вместо того, чтобы встретиться с ним лицом к лицу... Я люблю вас, но не доверяю своей любви. Я слишком долго пробыл здесь и потерял ощущение себя!

Она взглянула на меня, щеки ее горели, но взгляд был полон решимости.

— Я хочу вас, Глэдис, но внутри меня борются два человека, и я должен сначала снова обрести себя... Лучше всего мужчина уживается с женщиной, когда *алия* и *ания* объединяют их. Я думал было просить вас поехать со мной, но решил не делать этого. Кроме вас, в жизни у меня сейчас никого нет, но Островитяния — суровая страна, и американцу может показаться там одиноко. Сейчас ничто не связывает меня ни с одной женщиной в Островитянии. Да я побоялся бы жениться на ком-нибудь из них. Они мудры и сильны, но по-своему. Стать моей женой можете только вы, Глэдис. Жить с женщиной и иметь от нее детей, трудиться вместе, заниматься одним делом и делить интересы друг друга — лучшей жизни не может быть, моя дорогая. Но я не хочу просить вас ехать со мной только потому, что знаю, что женатому там лучше, чем холостому. Такой выбор сомнителен. Вы достойны лучшего. Находясь здесь, я никак не могу определиться. Меня до сих пор завораживают картины того, чего я мог бы достичь здесь. Но, пробыв несколько месяцев в Островитянии, я наконец пойму — *ания* ли то чувство, которое я испытываю к вам, и тогда вам напишу.

Она слушала меня, не произнося ни слова, с легкой улыбкой на губах. Во взгляде

устремленных на меня глаз сквозила умудренность куда большая, чем та, что звучала в моих речах, а полыхавший на щеках румянец зажигал огонь в моей крови.

— Вы ведь, так или иначе, напишете мне, правда? — спросила она.

— Конечно, Глэдис, что за вопрос.

Румянец ее становился все ярче.

— Я имею в виду не обычную переписку. Только не это опять, пожалуйста! Напишите мне, даже если поймете, что не чувствуете ко мне *аниш*.

— Разумеется.

— А когда, вам кажется, вы сможете понять?

— Месяца через два-три.

— Стало быть, я получу от вас известие в мае или в июне?

— Это очень не скоро, не так ли?

Она слегка улыбнулась и потупилась.

— Если бы я остался здесь, я не колебался бы хоть сейчас предложить вам руку.

— Я не хочу, чтобы вы оставались!.. — быстро сказала Глэдис. — Я сама еще окончательно не разобралась и не знаю, что будет дальше... Пять месяцев — немалое время, Джон.

Она подняла голову, и я прочел в ее глазах тревогу и предупреждение. Но я не мог взять свои слова обратно.

— Когда вы едете? — спросила Глэдис.

Я довольно неохотно рассказал ей о своих планах и о том, что прибуду на Остров не раньше двадцать третьего февраля.

— Там я встречусь с Дорном, — продолжал я. — Он предложил мне на выбор два поместья. Одно из них — единственное в своем роде. В нем разводят лошадей, и расположено оно на плоском выступе скалы, высоко над узкой долиной, окруженной горами. Это романтическое, дикое, суровое, прекрасное место. Другое мало чем отличается от сотен остальных, стоит оно на приветливой холмистой равнине, довольно далеко от гор, на берегу реки, по которой не ходят больше суда, но там есть место, от которого до моря всего восемь миль... Я пока не знаю, какое выбрать.

— А какое хотят оставить за собой Дорны?

— Не знаю.

— Пожалуй, иностранцу не следует претендовать в чужой стране на что-то уникальное, — сказала Глэдис, — а впрочем, не знаю, что вам посоветовать.

— А что вам больше нравится, Глэдис?

— На вас это никак не должно повлиять. Да я и сама не знаю.

— Можно я еще расскажу вам о них?

— Если хотите.

Тогда я подробно описал ей обе усадьбы. Она слушала внимательно, молча, с мудрой улыбкой. Глаза ее ярко светились, румянец рдел на щеках, и по мере того, как я говорил, она становилась все более волнующей и желанной.

Я поскорее закончил свой рассказ, иначе, останься я рядом с Глэдис еще чуть дольше, я не устоял бы и разрушил с таким трудом возведенное здание.

— Мне пора, Глэдис, — сказал я.

Она тоже поднялась, с удивленным выражением на лице. Я взял ее за руку, почти прохладную в моей горячей ладони.

— Мы еще повидаемся до моего отъезда, — сказал я.

— Ах, пожалуйста, нет! Ступайте и не беспокойтесь обо мне, даже не вспоминайте, по крайней мере пока не приедете. Но напишите мне хотя бы одно письмо.

Ее пожатие было уверенным и крепким — за ним чувствовалась вся она, неколебимая и в то же время податливая, мягкая, желанная каждой частицей своей души и тела.

— Я обязательно напишу.

— До свидания, Джон.

— До свидания, Глэдис.

На мгновение воздух словно всколыхнулся от других, так и не сказанных слов.

Дул холодный, порывистый ветер, и небо над головой зияло черным беззвездным покрывалом, где терялись отвесно уходившие ввысь стены зданий, правильными треугольниками обступивших голую, залитую асфальтом улицу. Я шел так быстро, словно за мной гнались. Островитяния казалась несбыточной мечтой, мое решение — нереальным. Америка, Нью-Йорк привязывали меня к себе узами кровного родства, которые я не в силах был порвать. Я думал о Глэдис, которую не увижу по крайней мере семь или восемь месяцев. Я желал ее. Мне хотелось сорвать с нее ее красное платье, коснуться ее обнаженного тела... Я даже не попытался открыть дверь. Я чувствовал — хотя и не знал наверняка, — что она распахнется мне навстречу. Мне была дана возможность, но я, похоже, упустил ее, стремясь к неведомому в Америке совершенству, слишком возвышенному для здешней запутанной, смятенной жизни... Как глупо было даже думать об *ани* здесь. Мне следовало не упускать свой момент, а поймав удачу, крепко держать ее. Мое решение оказалось рассудочным, оно противоречило чувствам, бившимся в моем сердце, моей крови, оно не было связано с моим желанием и принято в страхе перед ним. Я говорил о раздвоенности, но был раздвоен сам. Мои слова звучали дешевыми фанфарами, сдержанность Глэдис — звонким серебряным колокольчиком.



Глава 36

РЕШЕНИЕ

Наконец я снова был в море. С книгой на коленях я сидел в углу кают-компании, а Нью-Йорк между тем быстро таял за дымной завесой. Лежащий впереди горизонт мало-помалу кольцом обоймет корабль, и я окажусь со всех сторон окруженным океанской стихией. Усталость одолевала меня. Так бесконечно много всего, и не всегда приятного, пришлось переделать за последнее время. Всю свою собственность я обратил в чеки Британского банка в Св. Антонии, и уже одно это вызывало во мне сложные, гнетущие мысли: справедливо ли тратить средства основанной еще моим дедом «Ланг и К^о» на покупку поместья в Островитянии? Я изменил своей американской *алии* чувствовал себя уже вполне островитянином, чтобы сожалеть об этом... Но и островитянская *алия* обманула меня именно тогда, когда я больше всего в ней нуждался. Жесткая необходимость должна была подхлестнуть меня к действию. Робкую лошадь следует понукать...

В кают-компании было тихо — всего несколько пассажиров. Заметив мой утомленный вид, пришедшая проводить меня Алиса сказала, что за время путешествия я прекрасно отдохну... Но, Бог мой, разве это жизнь, когда человек настолько изнурен, что ему не хватает ночи, чтобы выспаться, чтобы организм мог полностью восстановить силы! В скрывшемся за горизонтом море люди бежали задыхаясь, падали, изнуренные, и вновь вставали, чтобы продолжить бег. Даже просто перейти на шаг там было невозможно.

Я попросил Алису поехать со мной, хотя бы на время, а потом вернуться, но она отказалась, сказав, что какой бы больной и подавленной она иногда ни выглядела, это еще не означало, будто ей не нравится жизнь, которую она ведет. Я сказал маме, что у нее будет в Островитянии свой дом, однако она сослалась на то, что для ее возраста это слишком серьезная перемена, к тому же здесь остаются ее внуки, муж, Филип и Алиса. Отец ответил, что более тоскливой жизни, чем та, которую я описывал, нельзя себе представить. Все они старались казаться довольными, хотя к Америке их привязывали скорее попытки любым образом обмануть себя, выдавая желаемое за действительность. Я ответил, что, так или иначе, мой дом — их дом...

Теперь же, мысленно обращаясь взором к Островитянии, я видел суровую красоту ее бесстрастной природы, представлял нелегкую работу и крепкий сон, вспоминал о друзьях, о покое, который меня окружал, но то, что согревало жизнь, осталось позади.

Корабль тяжело вздрагивал. Поскрипывала дверь. Все напоминало мое возвращение в Америку год тому назад. В моем единственном дорожном сундучке лежали вещи, сшитые для меня Наттаной. Другой поклажи у меня почти не было... Закрыв глаза, я задремал...

Проснувшись, поднялся на палубу. Дул резкий ветер, холодная изморось колола лицо. В Островитянии сейчас сорн, лето...

Потом я прошел на корму и стал смотреть назад. Темнело, но горизонт был еще виден. Америка же скрылась из глаз.

Когда я вернулся, в кают-компании было пусто. Казалось, на корабле вообще никого нет.

Больше чем когда-либо связанный с Островитянией, я начинал лучше понимать себя. Сомнения, затуманившие мои чувства и смущавшие мои мысли, вдруг рассеялись, словно остались там, в напряженной, слишком сложной для меня сумятице нью-йоркской жизни. Америка отомстила мне тем, что всячески сбивала с толку тогда, когда ясное понимание самого себя было для меня более чем необходимо. Мелочные соображения мешали двигаться вперед. Я желал сейчас не какую-то одну из многих существовавших Глэдис, а ее всю. Ум мой перестал сравнивать и сопоставлять ее качества. Отныне внутренняя раздвоенность кончилась. Обретя

цельность, я и Глэдис хотел видеть такой же — цельной в ее совершенстве... Только я и она, не ведающие сомнений, знающие цену друг другу, богатые этим плодотворным сознанием...

Да, так вот, значит, какая она — *ания*, и как все просто. Стоило лишь почувствовать ее... Окончательно успокоившись, чувствуя себя поистине счастливым, я стал думать, как исправить ошибки, допущенные в пору моих сомнений.

Пароход уносил меня на запад, с каждым мгновением увеличивая расстояние между нами, и самому вернуться было уже невозможно, так же как и отправить послание по воздуху. Придется ждать. По прибытии в Саутгемптон я смогу послать оттуда письмо и каблограмму. Пусть ответ Глэдис на письмо и решит, возвращаться ли мне в Америку, оставаться в Англии или ехать в Островитянию.

Тем же вечером я принялся за послания, стараясь наиболее внятно выразить свои чувства... Холодные, стеклянисто-зеленые валы вставали, зыбясь на фоне сумрачного, серого неба и едва не переваливаясь через борт. Сидя в темной, уютной кают-компани, в курительной, в собственной каюте, я вынашивал письмо Глэдис, мучительно и радостно обдумывая каждое слово и мечтая об ожидающей нас жизни. Это были уже не бесплодные мечты, как тогда, с Дорной, нет, на сей раз они вполне могли стать реальностью. Мне представлялось поместье на реке Лей — безусловно, более подходящее, не «слишком уникальное» — и Глэдис на фоне пожара осенних красок. Ведь когда мы приедем, в Островитянии будет листопад, по-нашему — осень. Мне виделась Глэдис в коротком платье, ничем не скованная, не боящаяся ни ветра, ни дождя, и мое желание к ней, ровное и глубокое, будет подобно течению полноводной реки.

Письмо ушло тринадцатого января. Получилось оно довольно коротким: я писал о том, почему решил узнать ее мнение раньше, чем обещал, о том, что ожидало ее в Островитянии и как я люблю ее. Лишь в одном отношении я решил не идти на поводу у своего чувства: единственная жизнь, которую я предлагал Глэдис разделить со мной, была жизнь в Островитянии. В Америке мной снова овладели бы сомнения — не столько в нашем счастье, сколько в будущем. Наша общая судьба должна была основываться на чем-то, во что бы я твердо верил. Одновременно я послал каблограмму:

Сомнения позади телеграфируйте согласие на брак, если да возвращаюсь Нью-Йорк или остаюсь здесь противном случае восемнадцатого отбываю Островитянию ждите письма.

Каждый день я ходил справляться в контору телеграфной компании об ответе. Его все не было. Я ломал голову, пытаюсь объяснить причины молчания Глэдис то ее внезапной смертью, то тем, что послание мое до нее не дошло; в конце концов, либо она так ни на что и не решилась и ждет письма, либо ответ был послан по неправильному адресу... По моему настоянию компания направила запрос; выяснилось, что телеграмма получена. Поскольку утвердительного ответа от Глэдис не последовало, я заключил, что она отвергает мое предложение и хочет, чтобы я ехал в Островитянию, причины же отказа, не зная о муках моего ожидания, предпочла объяснить в письме.

Однако я продолжал надеяться до последнего, когда же надеяться стало уже не на что, заказал билет на «Грейтон» до Св. Антония. Островитяния была моим прибежищем, как тогда, когда я потерял Дорну, но в глубине души еще теплилась надежда... С разных сторон ко мне протягивалось множество спасительных соломинок, но ни за одну из них я не мог ухватиться. Мешал же мне прежде всего постоянно терзавший меня страх, что я сам лишил себя последнего шанса завоевать сердце Глэдис, поставив ей слишком жесткие условия и отказываясь вернуться.

Такова была кара за мою нерешительность в Нью-Йорке.

Шесть дней, выйдя из полосы ветров, плыли мы субтропическими морями и двадцать четвертого прибыли в порт назначения. Оставалась вероятность, правда скорее теоретическая, что послание Глэдис ждет меня здесь. Я справился, опасаясь, что даже уверенность в разочаровании не смягчит боли.

Чиновник в конторе вручил мне зеленый конверт.

Пережитое, еще минуту назад представлявшееся вполне реальным, показалось кошмаром, от которого я внезапно очнулся. Через приоткрытую, выходящую на палубу дверь видна была синяя морская гладь и никогда не виденные раньше дома, белыми точками усеявшие темную зелень холмов. В изменившемся, новом мире они казались мутными и далекими моему расслабленно скользившему по ним взору.

Я вскрыл конверт и прочел:

Телеграмму получила девятнадцатого письмо тоже дошло согласна буду Городе пятнадцатого апреля Глэдис.

Глэдис, уже наполовину ставшая призраком, теперь снова живо и ярко, словно въяве, представилась мне. Ответ был датирован четырьмя днями раньше. Какова бы ни была причина задержки, мысль Глэдис была мне ясна: видя, что не успеваешь застать меня в Саутгемптоне, она решила, что лучше всего будет, если я продолжу свой путь, она же последует за мной. Никакой иной разумный повод не приходил мне в голову, учитывая, какой долгой покажется ей дорога в одиночестве. Пароход, прибывавший в Город пятнадцатого апреля, шел не со стороны Св. Антония, а со стороны германских колоний. На него можно было пересечь только с борта германского судна, идущего из Бремена или Шербурга, к тому же он не заходил в тот порт, где остановился мой корабль... Да и у меня не было возможности вернуться в Европу, чтобы перехватить Глэдис.

И снова — горькие плоды моей нерешительности. Теперь Глэдис предстоит добираться до Островитянии одной. Единственное, что я мог сделать, — это рассказать ей о том, как я счастлив, узнать, нет ли нужды в деньгах, которые я мог бы переслать ей по телеграфу, и попросить адресовать ответ в Св. Антоний.

Несколько часов спустя я плыл к югу, теперь уже зная, что Глэдис — моя. Я страстно желал ее, и хотя временами в сердце закрадывалось сомнение — способна ли она ответить мне равноценным чувством, — охватившее меня счастливое нетерпение не становилось меньше. Женщина, которая вверяет вам себя, дорога вдвойне...

И снова меня окутала уже знакомая жаркая тишина Кальдо-Бэй, вновь увидел я в горячем мареве желтовато-серые скалы Св. Антония. Здесь уже ждал меня ответ:

Тожe счастлива средств достаточно Глэдис.

Теперь мне ничего не оставалось, как снова телеграфировать ей, иначе, отплыв из Св. Антония, я уже не застаю ее, и большее, на что я мог рассчитывать, — это получить от нее письмо, написанное в марте. Я известил Глэдис, что встречу ее, если представится возможность, в Биакре, Млабе, Мпабе либо же в самом Городе. Тринадцатого февраля, так и не получив ответа, я ступил на борт «Суллиабы», направлявшейся в Островитянию. Да вряд ли и стоило посылать еще одну телеграмму — ведь около двух недель спустя Глэдис сама сядет на пароход в Европе, чтобы поспешить вослед мне.

Мы покинули Св. Антоний в полдень тринадцатого февраля. Помимо приглашения, у меня

был документ о медицинском освидетельствовании, который выдал мне врач — преемник Маннара. Когда я снова услышал островитянскую речь и мой язык выговорил на нем первые слова, мир вокруг словно поменял свои краски. Столица Островитянии лежала всего в пяти днях пути, и скоро островитянский станет моим единственным языком, даже языком моих мыслей. Английский на время, а может и навсегда, останется основным в разговорах с Глэдис. Однако некоторые островитянские слова неизбежно найдут в них свое место, во многом позволяя нам лучше понимать друг друга. Английский — язык крепко сбитый и в то же время тонкий, музыкальный, выразительный, словно повитый дымкой фантазии. Я любил его. И мы сохраним его. Мы никогда не станем островитянами до конца — слишком многое крылось для нас за звуками английского языка.

Вечером долгого жаркого дня мы миновали Коапу, а наутро следующего я переделся в свой островитянский костюм, чтобы никогда больше не надевать европейского платья, разве что с тем, чтобы показать его любопытствующим или нашим детям.

Уже запоздно шестнадцатого числа я встал и выглянул в иллюминатор. Было прохладно, дул легкий ветер. В лучах молодого месяца впереди виднелся мыс, окутанный бледной светящейся дымкой. Субтропики западного полушария остались позади. Теперь мы шли мимо островов Сосаль провинции Карран — юго-восточной оконечности Островитянии. Я вернулся домой, но не в старый, хорошо знакомый дом, а в тот, что лишь начинал строиться, он был дорог мне, как Глэдис, и все в нем было ново, все таинственно... Я хотел бы знать свою *алию* с рождения, но ведь и с точки зрения островитянина не было ничего неестественного в том, чтобы приобрести новую.

Весь день мы двигались вблизи берега: заснеженные вершины невысоких гор на фоне низко нависшего темного неба сменялись лесистыми мысами и небольшими островками, на которых кое-где виднелись строения ферм. Мильтейн, Дин и Герн — прежде мне лишь мельком удалось повидать эти края. Наконец, уже совсем к вечеру, показались красные скалы Сторна.

Настала ночь, поднялся сильный ветер, море бушевало, но я спал безмятежно, чувствуя приближение чего-то очень дорогого и такого доброго, привычного, что даже не было нужды, проснувшись, задаваться вопросом, что же это такое.

Город с его бледными каменными стенами лежал в лучах высоко стоящего позднего утреннего солнца. Он покойно высился на своих трех холмах, знакомый, разноликий, милый. И вместе с моей незримо присутствующей возлюбленной, отныне связанной со мною одной *алией*, я радовался ему и всей Островитянии, куда спешила Глэдис.

И вновь я в дороге! Наняв лошадь, я выехал один. Кругом бурно разрослась густая, прогретая солнцем летняя зелень. Это напоминало конец августа в Америке. В воздухе стоял запах свежескошенного сена. Деревья вздымали свои пышные кроны; буки в лесу поместья Бодвинов высились могучими, величественными башнями. И только в прилегающих к реке Сомсов болотах заметны были следы надвигающейся осени. Трава на них местами порыжела, пожухла. Миновав Лорию, когда день уже клонился к вечеру, я подъехал к дому лорда Сомса. Хотя дневной путь и был довольно легким, я устал: изнеженная американская жизнь сделала меня слабым.

Лорда Дорна в столице не оказалось. Перье были иностранцами, Бодвинов я знал слишком мало. Здесь же я мог встретить не только островитян, но и своих ровесников и друзей. С ними я почувствовал себя так легко, по-домашнему, что сознание некоторой странности положения быстро исчезло. Мы поговорили о поместье, которое я собирался приобрести, и я рассказал им о своей жене, которая пока была еще в пути. Сомсы в свою очередь поделились новостями об общих знакомых: Кадред и Сома вернулись домой, жизнь усадьбы в Лорийском лесу шла своим

чередом, Дорн и Некка растили ребенка, мальчика, который родился в сентябре, Тора вышла замуж за молодого Стеллина, Дорна уехала на восток, не забыли они рассказать и о Файнах.

Наутро я проснулся бодрым, дорога по безводной Инеррии была мне прекрасно знакома, она вела к землям, которые отныне были моими. Ветви деревьев в садах гнулись под тяжестью красных, налитых яблок, в полях стояла высокая кукуруза с пурпурными, пламенеющими початками. Красные и зеленые краски полей, желтый песчанистый суглинок, ясный воздух, пронизанный горячими лучами солнца, а вдалеке — снежные поля на склонах Доана и Вандерклорна, отчетливо видные, но словно парящие в бледной дымке...

На следующий, четвертый, день пути дорога стала уже и каменистее, поднимаясь по долине Кэннана к постоянному двору перевала Доан. Я ехал, и мысль моя часто обращалась к Дорне — прекрасному воспоминанию, — больше с любопытством и не вызывая боли. Боль несбывшегося питает в человеке желания, но мы с Дорной, встретившись под конец и расставшись друзьями, подарили друг другу противоядие от нее. Дорна никогда не встанет на пути Глэдис.

Переночевав на постоялом дворе, я стал спускаться к западу и снова увидел долины Нижнего Доринга и болота — словно застывшее темное море. От Эрна я паромами добрался до Острова и вскоре после полудня подъезжал к Рыбачьей пристани.

Дул сильный юго-западный ветер, клоня деревья с пожухлой листвой, и, несомые им, плыли в небе нежные розовые облака. Вновь вдохнул я соленый воздух и различил слабый блеск усыпанных ракушечником дорог.

Со стороны пастбища я подъехал к восточному крылу дома, миновав школу Дорны-старшей, и оказался под окном собственной комнаты, рядом с круглой башней, которая как будто стала меньше. На солнце, у стены, укрывавшей его от ветра, был расстелен ковер, и первым Дорном, которого я увидел, был маленький сын моего друга: ребенок лежал на спине, подогнув ноги, розовый, ладный, наполовину укрытый краем ковра.

Некка, сидевшая рядом у стены, заметила меня и резко встала, произнеся мое имя. Я спешил к ней и подошел к ней. Рукопожатие было здесь не в обычае, но я взял Некку за руку и поцеловал в подставленную щеку.

Она представляла Дорнов, их Остров — все, что было так дорого и подспудно жило в моей памяти. Вопросы, ответы были ни к чему, мы без слов поняли друг друга. Некка взяла ребенка на руки, и мы отправились за Дорном-старшим, который косил в поле.

Несколько мужчин ладно взмахивали косами, их загорелые руки и белые рубахи выделялись среди желтеющих колосьев. Дорн был с ними. Некка, держа ребенка высоко у груди, окликнула мужа. Он обернулся, на мгновение застыв и внимательно вглядываясь в нашу сторону, а затем быстрым, широким шагом пошел к нам по стерне. Мы двинулись ему навстречу. Дорн ускорил шаг.

Мы крепко сжали друг другу руки.

— Наконец-то! — воскликнул Дорн. — Ты и вправду вернулся!

— Да... Островитяния оказалась сильнее.

Лицо Дорна было покрыто темным загаром. Его руки и ноги, крепкие, сухие, казались вырезанными из палисандра. Он был великолепен, его белозубая улыбка, белоснежная ткань рубахи, белки горящих глаз — слепили.

— Значит, все к лучшему? — спросил он.

— К лучшему.

Дорн помолчал.

— Оба поместья ждут тебя.

— Река Лей, — сказал я.

— Теперь ты — один из нас, — произнес Дорн.

В моей комнате, знакомой до мелочей, ничего не изменилось, там было тихо. Порывы соленого ветра, неустанно налетавшего с моря, шептались и пели возле крепких каменных стен. Это был мой дом, где мое бытие обретало полноту и где особенно ощущалось пустующее место Глэдис. Без нее я был слишком одинок, и мне так хотелось, чтобы она разделила со мной радость возвращения. Оставалось ждать пятьдесят три долгих дня.

Тем же вечером за ужином, когда все — лорд Дорн, Файна, Дорна-старшая, Марта, внук Дорна, которому уже исполнилось десять, мой друг и Некка — наконец собрались вместе, я рассказал им о Глэдис и о том, как случилось, что она не приехала со мной. Пока я рассказывал об этом, ее образ становился все ярче и желаннее, и я понял, что день ото дня, до самого ее приезда нетерпение мое будет все более жгучим и невыносимым. Вся моя надежда заключалась теперь в шестнадцати словах телеграммы...

Некка сказала, что, похоже, существование телеграфа — большая удача для меня.

— Возможно, — ответил лорд Дорн, — не будь телеграфа, она сейчас была бы здесь, с Джоном.

Немаловажный для меня вопрос скоро разрешился. Все члены семьи, кроме Дорны, а также лорд провинции Нижнего Доринга, где находилось поместье на реке Лей, присутствовали при его обсуждении. За исключением некоторых деталей, передача поместья от внучатого племянника лорда Дорна, с согласия всей родни, была улажена в вечер моего приезда; теперь я был *тана*, то есть владелец поместья в Островитянии, к тому же обладающий правом *танридууна* на острове Дорнов. Отныне я мог посещать собрание землевладельцев в Доринге и участвовать в голосовании провинциальной ассамблеи. Пригласительное письмо делало меня полноправным гражданином Островитянии. При этом никто не потребовал моего отказа от американского гражданства или перемены его на гражданство любой другой страны.

Настала возможность проверить, насколько чувство *алии*, о котором я так жадно спорил с братом уже почти год назад, приживется во мне и в Глэдис — американцах, в которых оно не было заложено и не воспитывалось с детства. Пока в любом случае поместье на реке Лей представлялось мне не более чем местом, где может приклонить голову ищущая пристанища чета. Любовь — вот что связывало нас. Нам было прежде важно быть вместе, все равно где.

Когда же наконец сможем мы соединиться?

Чтобы встретить Глэдис в Биакре, я должен был бы выехать через неделю, но тогда я не успею подготовить поместье к ее приезду. С другой стороны, мы смогли бы провести во французском порту две-три недели, которые я должен был оставаться там. Итак, что же важнее? У месье Перье в Биакре жили родственники, он мог написать им, и они встретили бы Глэдис и позаботились о ней; Дорн предлагал мне перехватить ее в Мпабе, куда можно было добраться на парусной лодке от Острова за три-четыре дня в это время года, когда дует преимущественно попутный ветер. В таком случае я мог подождать до седьмого апреля, что позволит сэкономить шесть недель, за которые я успею подготовить все в поместье. Первые дни в Островитянии для Глэдис почти наверняка окажутся нелегкими; если же я все налажу в поместье, ей будет намного проще и приятнее их провести... Мучась разного рода дурными предчувствиями и болезненно переживая, что наша встреча откладывается, я решил принять план Дорна и, когда он сможет сопровождать меня, отправиться на несколько дней в поместье, пока же — помочь ему убрать урожай. Была и еще одна причина. Почти все деньги, переведенные в золото в Св. Антонии, ушли на оплату дома и земли. Теперь мы с Глэдис были бедны. Обо всем этом я написал в письме, которое ей предстояло получить в Биакре...

Около недели я работал с Дорном по четыре-пять часов в день, постоянно узнавая что-то новое и приобретая полезные навыки. В поместье на реке Лей тоже сеяли разные злаки. И каждый день мы с моим другом либо купались, либо ездили верхом, либо плавали под парусом и вели долгие беседы.

Когда урожай был собран, мы отправились в мое поместье, находившееся в двух днях пути.

В воздухе стояла дымка, солнце пригревало, но уже не так жарко — чувствовалось, что погода меняется. Дыхание осени было разлито кругом, как ожидание света перед первым лучом зари. Мы ехали через Доринг и Тори, свернув с Главной дороги в десяти милях к западу от последнего. К усадьбе вели пролежавшие через плодородную местность дороги. Обогнув низкие, поросшие лесом холмы — Дорингский лес, занимающий около тридцати квадратных миль и лежащий всего в десяти милях от дома, — мы двинулись на северо-запад и наконец спустились к реке. Каменный, без перил, мост, по которому мы переехали реку, разделял мои земли и земли семьи Дартонгов, моих восточных соседей. К югу за рекой жили Аднеры, через поместье которых мы проехали, к западу — Напинги и, наконец, на севере, за невысокой грядой, покрытой сосняком, Ранналы. И вот среди них поселился американец Ланг, к которому позже присоединится его жена и подруга.

Мы подъехали к дому на холме. Дорн предложил завестись чем-нибудь в двух домах, где жили арендаторы, Ансели и Стейны. Я распряг Фэка и остался ждать.

Вдоль всего длинного, обращенного к юго-западу фасада тянулась терраса, облицованная выщербленным плитняком. По углам ее и снаружи стояли пять круглых монолитных колонн из серовато-голубого камня. Они поддерживали тяжелую деревянную кровлю, одновременно служившую полом для части второго этажа, который, таким образом, оказывался больше первого.

Прислонясь к колонне, я поджидал Дорна, глядя на волнующуюся траву и на темные воды реки в ряби солнечного света. Пышная листва ив, росших вдоль берега, уже начинала жухнуть; временами, под легким порывом ветра, деревья встряхивали своими кронами, словно неведомые существа боролись, скрытые листвой. За моей спиной был наш дом, где нам предстояло прожить остаток дней...

Появился Дорн, а вместе с ним и почти все члены обоих семейств, и я снова встретил их, на сей раз уже как владелец поместья. В отсутствие Дорнов за имением наблюдал старый Ансель — худощавый, но крепкий старик лет семидесяти, с обветренным, загорелым лицом, седой бородой и задумчивым взглядом голубых глаз. Он был вдовцом; сын его, Ансель, сорокапятiletний мужчина, внешне очень походил на отца. Пришла и жена Ансея, Лайя, по виду его ровесница, и их дети — неженатый двадцатитрехлетний сын и дочь, годом моложе. Отсутствовали только брат старого Ансея, холостяк, который отправился удить рыбу в верховья реки, и брат с сестрой — ему шестнадцать, ей четырнадцать, — ушедшие на занятия в школу Ранналов. Пришел шестидесятилетний Стейн, темноволосый грузный мужчина, и его сестра Станея, незамужняя и чуть постарше брата, трое сыновей Стейна, тридцати с небольшим лет, и Рейна, жена старшего. Из этой семьи отсутствовали Эдона, жена Стейна, и двое его внуков — мальчик и девочка, десяти и восьми лет, которые тоже ушли на занятия.

Как и говорил Дорн, недостатка в крепких мужских руках здесь нет, и мне не было необходимости самому работать, чтобы обеспечить сносную жизнь себе, Глэдис и своим арендаторам. Тем не менее хозяйство поместья развивалось, и все эти люди были заинтересованы в нем и поддерживали на протяжении многих лет. Я, иностранец, должен был доказать свое право жить здесь. Одного факта, что я — хозяин и имею определенные права и обязанности, было мало, его следовало подкрепить реальными делами. Я сказал собравшимся, что приехал жить, учиться и работать и что поначалу учения будет больше, чем полезной

работы. Мы еще немного поговорили, после чего все разошлись, кроме старого Ансея и Станеи, которые явно пребывали в недоумении. Смена хозяина была в Островитянии редкостью, и хотя они понимали, что это может случиться, так или иначе, это было для них потрясением, и не из приятных, поскольку новый *тана* оказался таким неопытным.

Станея лучше всего подходила для роли экономки, то есть человека, который мог бы вести хозяйство в доме. У брата особой работы для нее не было, и раньше, когда в поместье жили Дорны, она уже выполняла подобного рода обязанности. Определенную часть своего времени *денерир* обязаны были находиться в распоряжении хозяина. Круг их забот обуславливался взаимной договоренностью, причем за все хозяйство в конечном счете отвечал *тана*, не являвшийся собственником в американском смысле слова. В разных поместьях отношения между хозяином и арендаторами организовывались по-разному. Зависело это от того, что являлось наиболее важным для имения в целом. В верхней усадьбе Хисов не было специальной экономки, поскольку труд тех, кто мог бы исполнять ее обязанности, находил себе лучшее применение в других местах; работу, которую могла исполнить для нас с Глэдис Станея, там исполняла Эттера.

Станея с радостью приняла предложение, понимая нашу неосведомленность и довольная тем, что теперь в доме появятся постоянные обитатели. Старший брат Ансея вместе с нею многие годы заботился о доме. Было решено, что он и в дальнейшем будет помогать ей.

Дорн, Станея, старый Ансель и я вместе обошли дом. Повсюду виднелись следы не то чтобы запустения, но длительного отсутствия жильцов. Несколько убогая мебель была покрыта слоем пыли. В комнатах стоял горьковатый, спертый дух. Долго хранившиеся в сундуках занавеси имели мятый вид. Белье пожелтело от отсутствия солнца. На стенах не было картин, и нехитрая резьба лишь кое-где украшала их. Это был самый обыкновенный старый, хотя и прочный дом, с четырьмя большими комнатами внизу и шестью маленькими наверху, — больше, чем нужно нам с Глэдис.

Пробыв со мной еще несколько дней, Дорн уехал. Мы договорились встретиться снова пятого апреля в Доринге, откуда я должен был отплыть, чтобы встретить Глэдис в Мпабе. Итак, я на целый месяц остался один в своей усадьбе.

Днем я работал, навещал соседей, а чаще — осматривал доставшиеся мне земли. Что бы ни делалось в имении — в самом доме или вне его, — я старался повсюду оказывать свою помощь. Я косил и ворошил сено с тремя сыновьями Стейнов; собирал яблоки с молодыми Ансеями и помогал их матери Лайе готовить сидр и яблочное вино; удил рыбу с братом Ансея и рубил лес со Стейном; молотил зерно и свозил его на мельницу; доил коров и ухаживал за лошадьми, — словом, делал множество дел, не слишком умело, но мало-помалу во всем набираясь опыта. Старый Ансель обращался ко мне за советом перед тем, как принять то или иное решение. Я спрашивал у него, что он считает лучшим, и мы так или иначе улаживали дело. Необходимости в моем участии практически не было, я мог сам выбирать, где мне быть и чем заниматься; пока же я знакомился со вверенными мне людьми, с хозяйством, так что я действительно привез бы Глэдис в наш дом.

В специально отведенные дни я виделся со своими соседями. Они приезжали ко мне из своих поместий за несколько миль, и я начинал привыкать к их лицам, именам и к тем местам, где они жили. Я исходил поместье из конца в конец, вдоль и поперек, шагая вдоль изгородей, в которых уже немного знал толк, забираясь в гущу леса, чтобы исследовать и ее, даже если в густой тени не находил ничего, кроме яркой россыпи осенних листьев или молодых побегов. Я прошел полмили по берегу ручья, от самого истока до того места, где он впадал в реку. Наткнувшись на глубокий пруд, я выкупался в нем перед ужином.

По дому работы было меньше, да и подручных средств оказалось маловато. Для Глэдис я выбрал одну из комнат в северо-восточном крыле, откуда почти весь день не уходило солнце. Комната могла бы стать также и моей, реши мы жить в тесной близости, — тогда на этаже оставалось бы еще пять пустующих комнат. Пока же я буду спать в соседней, где и разместил до поры свои вещи. Еще одну комнату я отвел под мастерскую и сделал мольберт, которому предстояло хоть как-то обозначить характер помещения. Четвертую я оставил для Дорна — пусть это будет его комната, такая же, как моя в его доме на Острове.

Вечером после ужина, когда Станея уходила, я со свечой бродил по дому. На первом этаже полы были каменные. Нужны были еще ковры, занавеси, чтобы не веяло холодом от камня стен. Слабый свет свечи лишь подчеркивал пустоту комнат, немногочисленную, разрозненную обстановку. Станет ли Глэдис хлопотать по хозяйству?.. В кухне и кладовых было немного посуды и кухонных принадлежностей, а также скудные запасы провизии, которые, впрочем, Станея медленно, но верно пополняла. Голодать нам не придется. И у нас всегда будет крыша над головой... Рано или поздно настанут долгие, темные зимние вечера, задуют холодные ветры. Не будет ли Глэдис одиноко? Хватит ли ей нескольких книг на чужом языке? Смогу ли я составить ей компанию?

Наверху полы были дубовые, поэтому необходимость в коврах была не так велика. Я перевесил занавески и переставил мебель таким образом, чтобы по крайней мере комната Глэдис выглядела более уютно. Времени на это ушло немало; Станея поддерживала в ней безукоризненный порядок. Теперь в комнате Глэдис стояла кровать, достаточно широкая для двоих, мягкие покрывала были сложены в стоящем у изголовья сундуке; зиял пустым чревом платяной шкаф — в ожидании платьев Глэдис; по всему полу, куда ни ступи, были расстелены ковры; занавеси и драпировки ожидали только, чтобы их развесили по белым каменным стенам, когда наступят холода; в углу — бюро с пустыми ящиками; зеркало, которое, я знал, Глэдис найдет слишком маленьким; укрытый покрывалом диван перенесли из другой комнаты на случай, если ей захочется отдохнуть; умывальник с медными кувшинами и большим тазом; стол, за которым она могла бы писать письма, и очаг, где уже были сложены дрова, — каминные щипцы и кочерга заняли свои места, ящик для дров был полон. На столе я разложил все книги, имевшиеся в моем распоряжении, и заказал еще, памятуя о зимних вечерах.

Числа двадцатого марта старый Ансель, вернувшись из Тэна, ближайшего к нам города, привез увесистую посылку и письмо от Глэдис.

Сидя перед очагом, один в пустом доме, я прочел его:

Нью-Йорк, 24 января 1910 года

Дорогой Джон!

Я очень спешу написать и отправить это письмо сегодня, иначе оно дойдет до Вас уже после того, как я приеду сама. Я хочу, чтобы Вы знали, почему я не послала Вам телеграмму в Саутгемптон, ведь Вы, наверное, недоумевали и волновались. 7 января я на десять дней уехала к моим родственникам, не оставив их адреса в пансионе, и, таким образом, получила телеграмму только восемнадцатого, когда было уже поздно сообщить Вам мой ответ. Два ужасных дня я провела в ожидании Вашего письма, не зная, что делать, и больше всего желая хоть как-то сообщить вам мое «да». К тому времени, когда письмо пришло, я уже несколько успокоилась и послала Вам ответную телеграмму, которую Вы и получили. Мне страшно жаль, но мисс Джил-лингхэм (хозяйке пансиона), конечно, следовало хотя бы расписаться в получении телеграммы, раз меня не было. И мне страшно обидно, как, только подумаю, что должны были почувствовать Вы, всегда так во мне уверенный!

Джон, я понимаю сомнения, мучившие Вас в Нью-Йорке. Это ужасное место! Сегодня весь вечер дождь льет как из ведра. Шум, грязь, суета, и совершенно невозможно быть собой. Простите, что я говорю это, но в последние несколько раз, когда мы виделись, вы тоже показались мне не таким, какой вы есть. Но Ваше письмо убедило меня, что Вы действительно любите и желаете меня. Впрочем, и без него, после Вашей телеграммы, я не усидела бы на месте. И я приняла Вас и не могла не принять в тот, последний раз, потому что по-настоящему люблю Вас. Единственное, о чем я сейчас жалею, так это о том, что мы потеряли время и еще три месяца не увидим, друг друга, — я понимаю Ваши сомнения, они совершенно естественны, а мне ли не знать, что значит сомневаться. Сейчас я очень, очень счастлива и вся с головой в хлопотах — как бы мне поскорее собраться, уехать и наконец увидеть Вас. Так что пока распоряжаюсь вещами, прощаюсь с приятелями, надо написать еще несколько писем и проч., и проч.

Одежды собираюсь взять немного, я знаю, что в Островитянии носят совсем другие платья, и думаю, мне следует одеваться, как они. В общем, приданое у меня небогатое. Кроме того, я учу островитянский, у меня еще целый месяц (в школу я больше ходить не буду), и я стараюсь изо всех сил. Я так счастлива, что мне трудно сосредоточиться и мыслить здраво, и все же это самое замечательное из всего, что мне довелось пережить.

Отплываю 22 февраля на «Гренландии». За последние дни я обегала все пароходные агентства и взяла билет на «Кап Остенд» от Шербура до Биакры. Лучше, если я пересяду на «Св. Антоний» там, чем в Мпабе, во-первых, из-за освидетельствования и потому, что среди французов мне будет легче. Две недели там — это, конечно, очень долго, но что ж поделать. Пожалуйста, напишите мне туда, если сможете. Отплываю я 8 апреля и буду в Городе 15-го, как и указано в телеграмме.

Денег на дорогу мне вполне хватит, так что Вы не волнуйтесь, но потом я останусь без гроша, в буквальном смысле слова. Но я ни капельки не боюсь. Теперь не время быть осмотрительной и бережливой. Однако беру с собой много холстов, красок и прочего. Вы ведь не станете возражать, если я продолжу свои занятия, правда? Вы говорили, что в Островитянии я смогу рисовать. Иначе я приехала бы совсем с пустыми руками и мне пришлось бы бездельничать, а так жить — тяжело. Я поняла это из Вашего письма. Я чувствую, что вы желаете меня, и я счастлива. Никогда не думала, что Вы так любите меня. Ваше письмо все во мне изменило. Мир вокруг кажется теперь совсем другим. А что до меня, если Вам интересно, то я влюбилась в Вас еще прошлой зимой. Все мои сомнения развеялись в Нантакете, но мне и в голову не приходило, что Вы собираетесь ухаживать за мной. Я увидела, что Вы влюблены, в тот Ваш последний приход, и весь вечер мне хотелось признаться, что я тоже люблю Вас, но мне показалось, Вы хотите, чтобы я промолчала, потому что если бы я открылась Вам, то Вы могли бы пожалеть и это заставило бы Вас действовать как-то по-иному, а мне хотелось, чтобы Вы были свободны и сами приняли окончательное решение. Не знаю, правильно ли я поступила. Но теперь, теперь я могу все сказать.

Я так счастлива, что мне трудно писать, то и дело хочется плакать от счастья. Я очень, очень люблю Вас. Люблю душой и телом. Это чувство — в каждой частице меня. И я очень надеюсь, что окажусь такой, какой Вы хотите меня видеть, какой хотите видеть свою жену, связанную с Вами одной алией. Это единственное,

что заставляет меня сомневаться — не в себе, в Вас. Я знаю, что буду довольна и счастлива, если мы будем жить в согласии, той жизнью, про которую Вы рассказывали, в поместье на реке Лей, но я сомневаюсь, смогу ли быть такой, какой хочу быть в Ваших глазах.

Думаю, лучше мне быть искренней с Вами, как и Вы были со мной. Несколько раз мне случалось целоваться с мужчинами. Я не любила их по-настоящему, но тогда мне нравились их поцелуи. Одному я думала позволить и большее, но этого не произошло. У меня вовсе не мягкий нрав, Джон. Сейчас я сожалею обо всем этом, но уверена, что оно не испортит Ваше впечатление обо мне. К ним я чувствовала совсем иное. Только Вы позволили мне узнать, что такое любовь.

Благодарю, что Вы так подробно и ясно описали нашу будущую жизнь. Я понимаю, как отличается она от здешней, но я бы поехала, куда бы Вы меня ни позвали, даже если бы жизнь там не была такой здоровой, мирной и чудесной, какой будет наша. Я так счастлива, Джон. И ничего, что меня будут окружать чужие люди, ведь рядом я всегда найду Вас, моего самого любимого человека. Вы пишете, что я должна понравиться Вашим друзьям. Надеюсь на это. Очень хочу повидать Дорна. И с радостью навещу Файнов. Подумать только, Джон, я действительно увижу места, про которые Вы писали, да еще вместе с Вами, и смогу разделить Ваши чувства, потому что Вы любите меня!

Я люблю Вас, Джон. Вы говорили, что Ваша любовь ко мне это ания. В моей любви есть все, что только может быть, поэтому в ней тоже, наверное, есть частица ании, но я немного побаиваюсь иностранных слов. Поэтому просто повторяю — я люблю Вас.

Надеюсь, Вы встретите меня в Городе. Живу ожиданием этого дня. В Вас теперь вся моя жизнь, все мое счастье. И ничто не страшит меня.

Но пора заканчивать. Я могла бы писать еще и еще, но вряд ли смогу что-нибудь добавить. Хорошо, если бы это письмо дошло до Вас с одним из мартовских пароходов.

Я люблю Вас; ждите меня. Вы любите меня и желаете меня, я знаю, это так. У меня кружится голова — так страстно я о Вас мечтаю.

Глэдис.

За окном стояла ночная тишина; полнолуние, длившееся четыре дня, закончилось, и луна пошла на убыль. Я спустился к реке. Тихо журчала вода. Казалось, я не смогу дожить, не хватит дыхания дождаться Глэдис. Природа вокруг напоминала огромное замершее существо, широко открытыми глазами следящее за мной, таинственное и непостижимое. Здесь, в Островитянии, человек осмеливался вглядываться в глубину этих глаз дольше, чем там, дома; глядя в них, он встречался с неведомым, но не пугался его и не старался его объяснить. Она любила меня, а я — ее. Что ждало нас? Наши мысли, наши губы и наши руки скоро соприкоснутся. Наши тела будут соединяться и разделяться, потрясенные нашими чувствами. Но было и еще одно, самое глубокое из соприкосновений, которое остальные лишь затеняли. Отныне мы друг для друга стали подобны широко распахнутым дверям.

Вернувшись домой, я распечатал посылку: в ней лежала плоская каменная плита, на которой были вырезаны маленькие человеческие фигурки. Я узнал себя и распостертого на земле Дона. Плиту можно было поместить над очагом. Уж не знаю, насколько героическое, но одно мое свершение теперь будет увековечено в моем собственном доме с тем, чтобы потомки

Ланга с улыбкой могли, любопытствуя, разглядывать его как нечто из области легенды. «Это папа... дедушка... прадедушка... а сколько лет прошло — пятьсот?» — будут говорить они.

Глава 37

ГЛАДИСА

Семь дней — с седьмого по тринадцатое апреля — были самыми беспокойными в моей жизни. На парусно-весельной лодке, нанятой Дорнами, которая везла из столицы товары Севинам и Вентри, я отплыл из Доринга. Хозяин судна согласился продлить маршрут до Мпабы. Хотя устойчивые юго-западные ветры, характерные для этого времени года, запаздывали, никто не сомневался, что мы в четыре дня доберемся до Мпабы, до которой было двести сорок миль. У нас было два дня в запасе, а средняя скорость сорок миль при путешествиях в открытом море считалась черепашьей. Наблюдавший за нашим отплытием Дорн прокричал на прощание, чего именно следует остерегаться.

— Я напишу Перье, чтобы он встретил «Св. Антоний», а если вы попадете в штиль и не успеете добраться до Мпабы, привезу Глэдис на Остров.

Проделав путь без малого в восемьдесят миль, мы за два дня достигли устья Доринга, а на третий — пересекли залив Грейз. С утра десятого апреля подул легкий бриз, который стих через час. К вечеру мы были в заливе Фаннар, десятью милями южнее. На веслах я добрался до берега. Теперь было невозможно успеть в город к пятнадцатому, когда прибывала Глэдис, равно как и сообщить ей, где я нахожусь. Одиннадцатого задул долгожданный крепкий ветер, но возвращаться на судно было уже поздно. Оно ушло. Один из фермеров одолжил мне лошадь, и на заре я, стиснув зубы, выехал в сторону Острова, куда месье Перье должен был доставить Глэдис. К полудню двенадцатого я был на месте, но оказалось, что у Дорна появился новый план. В то же самое утро он, набрав небольшую команду, отплыл, чтобы перехватить «Св. Антоний» в море. Им предстояло пройти сорок миль за сорок восемь часов при сильном, противном ветре и лечь в дрейф возле острова Хесс, у побережья Виндера, рядом с которым обычно проходил по утрам пароход. Если этот план удастся, я увижу Глэдис четырнадцатого или пятнадцатого...

Сам я больше ничего не мог поделать. Мои друзья подняли на ноги всех, чтобы поскорее доставить мне мою невесту. Человеку, ради которого она объехала полсвета, никак не удавалось оказаться в нужное время там, где она рассчитывала его найти. Я боялся, что Глэдис может вообразить, будто я умер или переменял свои намерения, и, зная, что она полностью осталась без средств, переживал, представляя себе ее тревожения, которые, кто знает, могли отразиться и на ее будущем душевном равновесии... И все же то, что она отважилась пуститься в столь дальний путь, доказывало силу ее характера.

Теперь я уповал на Дорна. Именно ему пришло в голову единственное возможное решение, и, если он сможет уговорить капитана «Св. Антония» остановить корабль и пересадить Глэдис на борт его лодки, наша встреча заставит позабыть все былые тревоги.

Некка, безусловно, тоже была другом, хотя порой и докучала мне. Всеми силами стараясь помочь нам, Некка забывала, что она — островитянка, а у американцев совсем иные привычки и обычаи. Для нее Глэдис и я уже были мужем и женой. Как-то она спросила, не хочу ли я что-нибудь изменить в своей комнате. Я объяснил, что, по крайней мере, в глазах Глэдис мы еще не женаты. Некка нахмурилась, потом на лице ее появилась обычная добродушно-насмешливая улыбка. Я сказал, что у нас в Америке свадьба сопровождается обязательной церемонией и требует предварительной договоренности.

— Разве вы еще не объяснились? — спросила Некка.

— Мы сказали друг другу все, что необходимо, чтобы пожениться в будущем, но не сейчас.

— Значит, она может и не захотеть сразу лечь с вами?

— Да, пока не совершится определенный обряд.

— Понимаю, она устала после такой долгой дороги, я велю приготовить ей отдельную комнату, где бы она могла отдохнуть... И все же... Я думала, она захочет оказаться с вами как можно скорее, ведь пока для нее все здесь чужое... И уж не знаю, как вы собираетесь устроить здесь ваш обряд.

— Думаю, она захочет этого, — ответил я. — Тогда мы сможем торжественно произнести слова, выражающие наши чувства.

— Лорд Дорн мог бы придать обряду торжественности, — предположила Некка, — но он в отъезде.

— Свадьба на американский манер — дело не такое уж сложное, а Глэдис обязательно захочет, чтобы все произошло именно так. Я поговорю с лордом.

— Однако, — сказала Некка, — Дорн может вернуться и без нее. Что вы тогда будете делать?

— А как вам кажется — такое может случиться? — спросил я, чувствуя, как болезненно сжимается у меня сердце.

Некка подошла к окну. Юго-западный ветер во всю мощь дул над болотами, и солнце то проглядывало, то скрывалось за клочьями облаков, стремительно гонимых вверх.

Некка пожала плечами:

— Я не «одна из них». Но кажется, задувает сильно. Не завидую Глэдисе там, в море... Впрочем, я буду рада сделать для нее все, когда она приедет... если приедет. А она разбирается в морских делах, как здешние?

— Не знаю...

Некка высоко вскинула брови.

— Совершенно естественно, что я не знаю так много про американок, как мог бы знать про островитянку, с которой жил бы здесь.

— Ну, островитянок-то вы должны знать неплохо, — ничуть не смущаясь, заметила Некка.

Двенадцатого и тринадцатого дул очень сильный ветер, и не приходилось сомневаться, что Дорн успеет к тому месту, где он рассчитывал встретить «Св. Антоний», но море могло оказаться таким бурным, что Дорну могло и не удастся пересадить Глэдис в свою лодку. Сидя в башне, я изучал карту островов Виндер. Маршрут судна проходил через такие места, где на море должно было царить относительное затишье. Но капитан мог изменить курс... или не пожелать останавливаться даже там... Причины, способные воспрепятствовать плану Дорна, одна за другой мелькали у меня в голове.

К вечеру тринадцатого ветер стих; приходилось рассматривать новые возможности. Укладываясь спать, я думал о Глэдис в ее каюте на «Св. Антонии», о том, как она переживает и мучается сомнениями, рассчитывая встретиться со мной послезавтра, и о Дорне, чья лодка «Масо» дрейфовала или стояла на якоре у высоких скалистых берегов острова Хесс...

Следующим утром я отправился с удочкой на пристань, несмотря на то что «Масо» могла вернуться и рано. Ветер с суши протянул по темно-синей воде длинные полосы ряби. Волны канала то и дело вспыхивали белыми бурунами. Сосны на острове Ронанов были видны настолько отчетливо, словно из пространства между ними и мной был выкачан воздух. Неустойчивый, крутонравный ветреный день, прозрачный как стекло; в воздухе веяло осенью. Однако солнце светило ярко и пригревало землю, пристань и эллинги, возле которых я примостился со своей удочкой.

Сейчас уже, должно быть, было известно, сумела ли Глэдис перебраться на борт «Масо». И либо она двигалась навстречу мне, либо — к столице, где меня не было.

Утро тянулось медленно. Рыба, похоже, не собиралась клевать, но лучше было сидеть с удильщиком, следя за поплавком, чем вообще ничего не делать.

Около полудня в канале показалась лодка, но не «Масо». Она была поменьше, да и шла с востока. Однако, пока она входила в гавань и двигалась вдоль причала, я успел заметить фигуру лорда Дорна, хотя было непонятно, почему он возвращается на Остров из Доринга. Сойдя на берег, лорд Дорн объяснил, что причина его возвращения — Глэдис и я. Прежде чем пройти в дом, он присел рядом и, попросив у меня удочку, закинул ее — попытаться счастья. Он был уже наслышан о всех наших неувязках, к тому же получил письмо от своего внучатого племянника и хотел присутствовать на Острове, чтобы в числе прочих встретить Глэдис.

— Ей так долго пришлось быть одной, — сказал он.

Лорд полагал, что «Св. Антоний» сделает остановку по просьбе «Масо» и что перебраться на лодку Глэдис будет не так уж трудно... Я сказал ему, что Глэдис, возможно, захочет совершить обряд бракосочетания. В отличие от Некки, лорд понял меня и согласился оказать всяческую помощь.

— Можете располагать мной в любое время, — ответил он. — Сегодня, завтра или позже, в столице, потому что задерживаться здесь надолго я не могу.

Он посидел еще недолго, но клева не было.

После разговора с лордом ожидание стало менее томительным.

Подошла Некка с ребенком, ковриком и корзиной — очаровательная и изящная несмотря на тяжелую ношу.

— Я подумала, что вы, наверное, не захотите уходить с причала, — сказала она, — и что будете не против, если мы перекусим вместе.

Сев у ослепительно белой в лучах солнца стены эллинга, она стала кормить ребенка грудью. Потом укрыла его, и он уснул, а мы поели то, что она принесла, и выпили вина, охладившего губы, но теплом разливавшегося внутри. Когда ребенок проснулся, Некка тоже попробовала поудить. Я взял на руки малыша — тяжелый, мягкий кокон. Он был прелестен, и так удивительно было ощущать в каждом его движении биение самостоятельной жизни.

Говорить нам было практически не о чем, но присутствие Некки радовало меня.

— Гладисе пришлось проделать неблизкий путь, — сказала Некка. — Наверное, она очень уверена в себе и в вас... Мне трудно даже представить, как это можно так далеко поехать из-за мужчины. Интересно все же, смогла бы я...

Она улыбнулась и задумалась.

— Я все время думала о ней. Хотелось понять, чего ей хочется, чего недостает. Может быть, и ничего... Разумеется, здесь вы ей опора, но и я тоже хотела бы чем-нибудь ей помочь.

— Вы можете помочь ей с платьем, — сказал я.

— Ах да, платье! Конечно, я помогу, если она захочет, но...

Она умолкла и, протянув ко мне руки, взяла ребенка. Я бережно передал его ей, чувствуя, как он бьет ножками. Некка крепко прижала ребенка к груди, внимательно на него глядя.

— Отдавая себя мужчине, женщина становится другой, — медленно произнесла она. — Она заранее это знает и боится этого. Поэтому нас порой так трудно понять. Наверное, Гладиса очень храбрая... — Она нахмурилась, словно хотела сказать совсем не то. — И все же... это лучшее в жизни, и мы это знаем! — продолжала она уже более уверенным тоном. — Но...

И она снова замолчала. Потом поднялась:

— Пойду обратно в дом. Надеюсь, «Масо» прибудет скоро. Удачи вам обоим. Уверена, что вы будете счастливы, но ждать так тяжело... У каждого свои трудности. Но у вас есть то, чего нет у нас.

— Чего же, Некка?

Она задумчиво улыбнулась:

— Вы проделали такой долгий путь, чтобы быть вместе.

Миновал полдень. Снова оказавшись в одиночестве, я подсчитывал примерную скорость «Масо» на обратном пути. Наконец клюнуло, и я вытащил плоскую, как камбала, рыбу...

Было странно и даже похоже на измену то, что в этом месте, где все напоминало о Дорне, где я столько переживал и столько выстрадал, теперь я ждал другую женщину, сгорая от нетерпения, нечувствительный ко всем остальным желаниям, страстно мечтая только о ней одной. Всякий раз мне хотелось, чтобы моя любовь никогда не кончалась, — но почему?

Моя тень упала на воду, далеко протянувшись по ней. Уже давно перевалило за полдень. Я почти успокоился и перестал теряться в догадках...

На западной оконечности острова Ронанов внезапно показались две высокие мачты и окрашенные низко повисшим солнцем в розовое — паруса. Это могло быть судно, следующее в Эрн, но по тому, как разворачивались паруса, я понял, что возвращается «Масо». Я подбежал к краю стены, ограждавшей причал: отсюда был виден разделяющий острова канал. Верхушки парусов плавно парили над сосняком, словно большие розовокрылые птицы. Вот показался нос лодки в обрамлении пенных струй, и сердце мое учащенно забилося.

Еще мгновение — и лодка развернулась, кренясь, нос ее был теперь нацелен на меня, большие паруса раздувались, скрывая находившихся на борту. Приближаясь, «Масо» росла, как снижающаяся птица. Ветер усилился. Я увидел стоящего у леера человека, но это был не Дорн, а кто-то из команды. «Масо» подошла ближе, и на палубе показалась еще одна фигура, стройная, в темном платье и белом развевающемся шарфе, четко видная на фоне неба.

Я закричал и стал размахивать руками, хотя вряд ли меня могли услышать. Мужчина обернулся к девушке и указал ей в мою сторону. Она наклонилась к нему, внимательно вглядываясь, и вдруг, подняв руку, помахала мне...

Глэдис приехала, она в Островитянии! Это была она, живая, наяву, а не смутная греза.

Она стояла прислонясь к мачте, лицо — белое пятно, обращенное к берегу. Глэдис, обворожительная Глэдис, само ликующее совершенство, открытая дверь в страну счастья.

Когда «Масо», пеня волны, вошла в канал, подойдя к тому месту, где я стоял, мы с Глэдис одновременно взглянули друг на друга, и я различил ее черты и выбившиеся из-под шарфа черные волосы.

Дорн стоял у румпеля, в любую минуту готовый повернуть его. Команда держала канаты. Глэдис повернулась и неловко побежала по палубе, я тоже бросился к причалу, чтобы успеть прежде нее.

На дороге, вдали, уже показались лорд Дорн, Некка, Дорна-старшая, Марта с сыном и мужчина, толкавший перед собой двухколесную тележку.

«Масо» по прямой двигалась к причалу; корма ее была мне сейчас не видна. Ее фок на мгновение опал, звучно затрепетав. Лодка чуть развернулась, и я снова увидел Глэдис: она сидела на леере рядом с Дорном. Она помахала мне и что-то сказала Дорну, взволнованная, счастливая, но внешне не утратившая самообладания.

Вместо того чтобы встать на якорь, «Масо» усложнила себе задачу и, приспустив грот, двигалась вдоль стены дока, постепенно замедляя ход, неся Глэдис навстречу мне. Лишь узкая полоска воды разделяла нас.

Мы глядели друг на друга, теперь Глэдис была так близко, что я уже мог различить ее улыбку. На ней был синий облегающий саржевый жакет, пальто и юбка. Неожиданно она показалась чужой — человеком, которого я люблю и боюсь одновременно, чью любовь мне

предстоит завоевать вновь.

Стоя возле леера, она приближалась: десять футов, пять, я видел ее вздрагивающие ресницы. Сознавая, что рискую, я, чуть не упав, перепрыгнул на палубу, и вот мы уже стояли лицом к лицу.

Глэдис улыбалась, но веки ее были прищурены, и уголки глаз влажно блестели.

— Здравствуй, — сказала она.

Я поцеловал ее в подставленную щеку.

Команда пришвартовала «Масо» к причалу. Дорн возился с гротом.

Я взял Глэдис за руку. Наконец мы были вместе, но она казалась незнакомой. Ее приезд был скорее началом, чем концом. Она выглядела усталой, бледной, под глазами залегли тени.

— Спустимся на берег, — предложил я.

— Но мои вещи и моя шляпа...

— Их принесут. Как вы чувствуете себя, Глэдис? Все в порядке?

— Все хорошо. А вы, Джон?

— Я снова чувствую себя самим собой. Усадьба на реке Лей ждет нас.

Словно короткий стон вырвался из ее груди, но рука еще крепче сжала мою.

— Так все же давайте сойдем на берег, — повторил я.

Глэдис посмотрела на почти двухфутовой высоты леер и еще более высокий каменный край причала.

— Но у меня такая узкая юбка, — нерешительно сказала она.

— Я помогу вам, — ответил я и, взобравшись на леер, протянул ей руку. Глэдис была в явном замешательстве, лицо ее посерьезнело. Потом она приподняла юбку, ухватилась за мою руку и тоже поднялась наверх. Я увидел ее на мгновение мелькнувшую ногу в черном шелковом чулке со швом и нахмурился, потому что это был первый неловкий момент для нас обоих.

Лорд Дорн и остальные стояли вдоль стены, в нескольких футах чуть выше нас.

— Меня зовут Дорн, — сказал лорд по-английски и протянул Глэдис руку. Озабоченное выражение тут же сменилось улыбкой, и, сделав шаг навстречу лорду, она учтиво поклонилась.

Все окружили ее, называя себя по именам и улыбаясь, сознавая, что языковой барьер еще не преодолен. Глэдис стояла перед ними, прямая, стройная, в платье, столь не похожем на одежду встречавших ее людей.

Помня об американских привычках Глэдис, я представил ей своих друзей:

— Лорд Дорн, а это Хиса Некка, жена Дорна, который встречал вас, Дорна-старшая, Марта и, наконец, самый юный член семейства Дорнов.

Глэдис по очереди протянула всем руку, и каждый без колебания ответил на ее рукопожатие. Она улыбалась и держалась легко, раскованно, и я был горд ею и сгорал от желания сделать ее первые шаги по островитянской земле как можно менее болезненными.

Некка подошла поближе и в упор поглядела на Глэдис.

— Ваша комната готова. Наш дом — ваш дом, — произнесла она на островитянском.

Глэдис внимательно выслушала ее слова.

— Благодарю вас, Хиса, — ответила она. — Благодарю и понимаю, что это значит. Вы очень добры.

Мы двинулись к дому: Некка по одну сторону от Глэдис, я — по другую, а два ее сундучка, чемодан, зонтики, пледы, пальто и шляпу из бобрового меха с полями везли сзади на двухколесной тележке.

Некка беседовала с Глэдис, причем обе старались говорить медленно, отчетливо произнося каждый звук. Глэдис сказала, что «Св. Антоний» опоздал на несколько часов, потому что море

сильно штормило, что ей было плохо, но она вполне оправилась на борту «Масо».

Неожиданно она протянула мне руку, я взял ее, и пальцы наши переплелись.

— Голова еще немного кружится, — сказала она мне по-английски, — но я уже в порядке. Не беспокойтесь.

Она тревожно разглядывала все кругом, губы чуть дрожали. Я ласково, но крепко держал ее руку, надеясь, что чувство реальности скоро вернется к ней.

Мы подошли к буковой аллее. Ветер шелестел над нами в кронах деревьев, и в конце, как бы в готической арке, высвеченной янтарными лучами заходящего солнца, показался фасад — отчетливо был виден каждый камень древней кладки, завитки лоз.

— Здешние места ни на что не похожи, — сказала Глэдис, — но я чувствую, что они могли бы стать моим домом.

Подойдя к дверям, мы вошли. Некка повела Глэдис показывать гостье ее комнату, а все сопровождавшие, с вещами, пошли за нами: Марта несла шляпу, а самый юный из Дорнов — пледы и зонты. *Денерир*, кативший тележку, и я взяли один из довольно тяжелых сундуков, Дорн нес второй. Мы занесли вещи в комнату. Мальчик спросил про зонты — что это такое и зачем они нужны. Глэдис с улыбкой открыла один зонтик и объяснила молодому Дорну, как им пользоваться. Потом поблагодарила добровольных носильщиков, и все, кроме Некки и меня, удалились, не забыв попрощаться.

Глэдис размотала шарф, и я снова увидел красивые очертания ее головы, темные растрепанные волосы были прижаты.

— Здесь очень уютно, и все так добры ко мне, — обратилась она к Некке на островитянском.

Голос ее дрожал, она была бледна от усталости и едва стояла, прислонясь к изножью кровати.

— Если я чем-то могу быть вам полезна, если вам что-то понадобится... — начала Некка.

Глэдис умоляюще взглянула на меня, принужденно улыбнулась и потупилась... Некка бесшумно выскользнула из комнаты, прикрыв за собой дверь.

Я взял руки Глэдис, безвольно отяжелевшие, усталые, нежные, поднял их и внезапно остро почувствовал, как она дорога и желанна мне.

Она взглянула на меня и тихо произнесла:

— Ну, вот я и здесь.

Я подвел ее к скамье, и мы сели рядом.

— Со всем своим имуществом, — добавила она, кивая на свои пожитки.

— И ваши краски тоже? — спросил я.

Она указала мне на один из тяжелых сундуков:

— Краски и самые любимые книги.

Я крепко сжал ее руки:

— Я так рад, что вы наконец здесь! — и наклонился, чтобы поцеловать Глэдис, впрочем давая ей возможность избежать поцелуя, но, хотя в ее глазах на мгновение и мелькнула нерешительность, она подставила мне свои податливые губы... Потом откинула голову.

— И все же мы так мало знаем друг друга... — сказала она.

— Я так мечтал о вас, а вы обо мне.

— Еще бы! Целых три долгих месяца, Джон!

— И вот вы здесь, и я люблю вас.

— И я тоже, но никак не могу до конца поверить в вас... Все так зыбко, неопределенно, — ответила Глэдис и взмахнула рукой.

Встав, я поднял ее и подвел к постели, причем она, ни на минуту не отрываясь, глядела мне

В глаза.

— Ложитесь, а я пока принесу немного *сарки*. Это вроде сладкой настойки.

Когда я вернулся, Глэдис лежала, укрыв ноги пледом. Увидев меня, она села и, как ребенок, принимающий лекарство, стала глотками пить горячую ароматную жидкость, растерянно глядя на меня поверх края стакана. Я взял пустой стакан из ее рук, и она снова легла.

— Я люблю вас, — сказал я, — и с того момента, как уехал, ни о чем другом не думал, кроме как о нашей будущей жизни.

— И я, я тоже так люблю вас, — ответила Глэдис, словно извиняясь.

Склонившись над ней, я вглядывался в ее лицо, изучая его. Глэдис глядела на меня уверенно, прямо. Сомнения, тревоги — все это словно смывала набегающая волна, и все живее и реальнее — чудодейственно — проступали непривычные, незнакомые, но все более живые и реальные черты ее лица. Я обнял ее и стал жадно целовать, шепча, что люблю ее, и она покорно, как жертва, отдавалась моему страстному порыву... Потом, со вздохом, обняла меня и сама ответила долгим поцелуем на мой поцелуй. Преграды, разделявшие нас, вмиг рухнули. Мы наконец обрели друг друга.

Успокоившись, я вновь подумал о будущем.

— Когда вы станете моей женой, Глэдис?

— Как только вы захотите.

— Стало быть, сегодня.

Она вопрошающе, удивленно посмотрела на меня, слабо улыбнулась, отчасти испуганно, отчасти с любопытством. Потом согласно кивнула...

— Я так рада, — неожиданно воскликнула она, — рада, что наконец оказалась здесь! Мне так долго пришлось быть одной. Вы не можете, никогда не сможете этого представить!

Я снова взял ее руки в свои.

— Но это было забавно, — продолжала Глэдис, — столько всяких занятных и веселых историй! И все шло прекрасно, хотя и случалось много непредвиденного. В Биакре, где я две недели ждала парохода, я вдруг оказалась в самом настоящем обществе: играла в теннис, ходила на званые ужины. Мадам Констанс Перье была очень со мной мила. Я жила у них, и она от всей души обо мне заботилась... Один человек пытался разубедить меня ехать в Островитянию. Он говорил так серьезно... Ах, милый Джон, разве кто-то или что-то могло остановить меня на пути к вам! И еще один человек, на «Кап Остенд», предложил мне выйти за него замуж.

— Вы принадлежите мне, — сказал я.

— Я знаю, но хотела услышать это от вас еще там, в Нью-Йорке. Иногда вы казались таким далеким, почти чужим. Я без конца перечитывала ваше письмо. И все время носила его здесь. — Она приложила руку к груди. — Конечно, это всего лишь лист бумаги, но как он был мне дорог... Я очень надеялась встретиться в Мпабе, но ничего, теперь все позади. Чем ближе мы подходили, тем хуже становилась погода. Первый помощник капитана объяснил мне, что стоит необычный для этой поры штиль, и что если вы отправились в Мпабу, то вы могли оказаться в еще худшем положении, чем я... Он был очень мил со мной. Мы условились, что я напишу ему после нашей встречи. Вы не против?

— Нет, — ответил я, целуя ее...

— Он говорил, что мы можем встретиться в море... Я уже настроилась не ждать вас в Городе... А потом, сегодня утром! Всю ночь был ужасный шторм, а «Св. Антоний» такой маленький. Мне было очень плохо, и я решила не вставать, чтобы сохранить мало-мальски приличный вид, и ни в коем случае не плакать. К полудню я заметила, что качка стала меньше и моторы заглохли, но мне было еще по-прежнему слишком дурно, и меня это даже не

заинтересовало. Потом коридорный — был там такой маленький коридорный-кокни — сказал, что кто-то хочет видеть меня. И снова во мне проснулась надежда... Вдруг крупный мужчина возник в дверях моей каюты, едва уместаясь в них. Это было как во сне... «Я — Дорн, друг Джона», — сказал он. У меня по спине пробежали мурашки. Я спросила, где вы, и он рассказал мне, что вы отправились встречать меня, но поскольку он понимал, что вы не доберетесь до Мпабы, то сам отплыл на лодке, чтобы перехватить меня в море. Потом добавил, что, вероятно, вы уже вернулись домой. Он сказал, чтобы я поторопилась, потому что «Св. Антоний» согласился подождать не больше пятнадцати минут. Он предложил помочь мне собраться. Я спросила, не упакует ли он мой сундук, и он тут же принялся за дело... Я чувствовала ужасную слабость. Одевалась я прямо при нем, о чем бы раньше не могла и помыслить, а он рассказывал мне о вас и ни разу не взглянул в мою сторону. У него такой приятный голос. Он говорил о вас, и ваш образ оживал во мне. И вдруг я поняла, что передо мной — настоящий друг. Я просто без ума от него...

Не успела я оглянуться, как уже оказалась на палубе; ярко светило солнце, и рядом виднелся небольшой островок, но это была уже земля Островитянии! Не знаю, как я спустилась по трапу, — так я была слаба. Ваш друг помог мне. Все улыбались и подбадривали меня. Я была как на иголках и буквально дрожала от волнения. Казалось, меня похищают пираты. Маленькая лодка с гребцами переправила нас на «Масо». «Св. Антоний» салютовал нам залпом!

Дорн поднял меня на борт. На палубе, на свежем воздухе, для меня соорудили нечто вроде койки, укрыли и дали немного вина. Плыть на «Масо» оказалось гораздо легче и приятнее — качка ощущалась там много меньше, чем на «Св. Антонии». Мне сразу стало лучше. Время от времени Дорн приходил посидеть со мной. Я называла его просто по имени. Я вела себя правильно?.. Когда мы вышли из полосы шторма, я уже могла сидеть и даже съела что-то. Край болот оказался в точности таким, как вы его описывали, с далеко разбросанными друг от друга небольшими поселениями. Потом меня предупредили, что мы подходим к Острову, и я встала... Если вспомнить все, начиная с отъезда из Нью-Йорка, — какое невероятное, потрясающее приключение, самое невероятное из всех, какие только могут быть.

— И вас до сих пор не покидает это чувство? — спросил я.

— Нет, — ответила Глэдис. — Наконец я дома.

Мы снова обнялись.

Обостренное ощущение времени, которое поневоле развила во мне островитянская жизнь, подсказало, что близится время ужина. Мы ненадолго расстались, чтобы переодеться. Когда я был готов, то, как мы и условились, зашел в комнату Глэдис. Только тени под глазами выдавали пережитые ею волнения, нервное напряжение и болезнь. Сами же глаза ярко блистали, темные волосы пышно обрамляли лицо.

— Наверное, я выгляжу нелепо? — спросила Глэдис.

На ней было плотно облегающее платье из темно-синего шифона, по корсажу расшитое серебряным бисером — из тех, что надевают к чаю, — модный, непривычный, изящный наряд. В Островитянии никто не видел ничего подобного, это-то и смущало девушку.

— Вы выглядите очаровательно, — сказал я. — Все в порядке. — И, обняв Глэдис, шепнул, что люблю ее.

— Что мне делать с одеждой? — спросила Глэдис. — Я не могу ходить в том, что привезла.

— Некка вам поможет.

— А меня понимают?.. Я читала только на островитянском с тех пор, как получила вашу телеграмму.

Я крепко взял Глэдис за руку и повел вниз, где семья собиралась ужинать. Перед входом в залу ярко пылавший в очаге огонь зажег красными отсветами серебряные бисерины и вспыхнул сине-красными переливами на шифоне платья. Глэдис была ослепительна, цвета платья поражали своей необычностью, и вообще я никогда еще не видел ее такой красивой, юной, с гордо поднятой головой. Она гладко, на островитянский манер зачесала волосы, и лицо ее дышало гордостью и довольством. Присутствующие во все глаза глядели на нее — она должна была показаться им странной в своем мягко ниспадающем платье и серебристых атласных туфлях на высоком каблуке. Островитяне знали только два материала — шерсть и лен. Даже я, помнивший ее ребенком, молоденькой девушкой на каникулах и за работой, а не юной особой, вступающей в свет, — даже я с трудом узнавал ее.

Мы уселись за стол. Глэдис держалась легко и сразу отважно заговорила на чужом языке, лишь изредка в затруднении поглядывая на меня или Дорна и с легкостью объясняясь сама, когда дело касалось простых вещей. Я гордился ею, тем, как непринужденно она держится, и был благодарен ей за то, что она решила выучиться говорить на островитянском еще до приезда. Она была в центре внимания: Исла Дорн, сам Дорн, Парнэл — молодой человек, приглашенный в гости с ночевкой, Файна, Дорна-старшая, Марта и Некка то и дело обращались к ней с каким-нибудь вопросом. Я с удовольствием следил за тем, как внимательно вслушивается она в чужую речь, как тщательно губы выговаривают каждый звук, как складен и правилен каждый ответ. Мысли мои устремлялись к поместью на реке Лей, куда мне не терпелось отвезти Глэдис, и я представлял, как буду проводить ее по нашим землям. Исла Дорн, словно угадывая мои мысли, рассказал о «поместье Ланга», о его истории, обитателях и о том, как он рад, что мы поселимся там. Не забыл он упомянуть и о *танридууне*, который Глэдис отныне имела на Острове так же, как и я. К тому же он пообещал предоставить нам место, где мы могли бы останавливаться, наезжая в столицу или в Доринг. Он говорил о нас, как если бы мы уже были мужем и женой, и Глэдис глядела на него проницательным ясным взором. Вряд ли кто-либо еще мог с таким тактом и обаянием приветствовать ее на островитянской земле.

Ужин кончился, и мы все, за исключением лорда Дорна, вернулись в залу. Глэдис села на гладко выструганную, без резьбы, деревянную скамью рядом с Файной. Она положила ногу на ногу, так что носок туфельки почти отвесно упирался в пол; мягкие складки платья спускались тоже почти до полу, оставляя открытыми только тонко выточенные лодыжки. Атлас туфли подчеркивал гордый высокий подъем. Сзади была голая каменная стена. С другой стороны сидела Дорна-старшая, тайком изучавшая гостью. На ней самой был коричневый жакет, желто-коричневая блуза и короткая, чуть ниже колен, юбка. На крепких, мускулистых ногах — коричневые шерстяные чулки и сандалии. Как бы просто ни выглядел ее наряд, он в каждой мелочи гармонично сочетался с ее обликом.

С дрожью волнения думал я о том, окажется ли Островитяния страной, о которой мечтала Глэдис. Было что-то романтическое во взоре ее задумчивых карих глаз. Еще недавно она жила пусть слишком пестрой, но полной волнующих удовольствий, театральных вечеров и поездок жизнью. Ее платье не походило на наряд женщины, предпочитающей пестроте и сложности простые вещи. Оно было дорогим, модным, экстравагантным... Как будет она обходиться одними лишь простыми красками? Сможет ли художник в ней подняться до понимания красоты простого, безыскусного, как то случалось с большинством островитянок?.. И, за исключением поездок к родственникам, она совсем мало знала о сельской жизни, которую ей придется вести. Не будет ли тишина так же подавлять ее, как меня в первые дни? Сможет ли она найти удовлетворение там, где придется много работать физически, подолгу находиться в одиночестве и где один долгий, полный простых забот день сменяет другой в неспешной чередке?..

Зачем заставил я ее ехать так далеко?.. Она оказалась здесь, чудесным образом перенеслась

из Америки, из Нью-Йорка, девушка, наделенная отважной верой и бесстрашной мудростью. Она приехала ко мне, но мог ли я дать ей то, чего она желала? Если я попытаюсь заменить ей собою все, этого окажется недостаточно. У нее должно быть что-то свое, в чем я в лучшем случае смогу выступить как советчик... Было жаль ее, ведь теперь ей некуда было уехать, не было никого, кроме Джона Ланга, упрямо старающегося стать островитянином.

И все же она действительно нуждалась во мне, именно потому, что я — это я; и, глядя на нее рядом с Файной, Дорном, Неккой и остальными, непривычную, хоть и по-прежнему дорогую, я тоже нуждался в ней как никогда раньше — как в существовании одного со мной племени, с которым я мог быть близок так, как ни с кем из них... Мудрые слова Стеллины вдруг предстали во всем своем поразительно глубоком смысле. Она поняла мою душевную потребность. Двойная преграда отделяла меня от островитян: первая — культура, усвоенная мной с детства, и вторая — их собственная культура. Первую преграду я почти преодолел, по крайней мере в некотором отношении; вторая была непреодолима. Единственная преграда, стоявшая между мной и Глэдис, умещалась в рамки одной культуры. Островитянский образ жизни давал возможность разрушить ее. И тогда мы воистину поймем друг друга, и любовь к одной *алии* соединит нас до конца дней; правда, перед этим придется пройти долгий путь, ведь оба мы были чужаками и оба — романтиками, воспитанными в вере в немыслимое совершенство. Ликующая красота чувств, трепещущих в унисон, не должна была скрывать от нее пути, которыми нам предстоит следовать, в одиночестве, хотя и рядом, обретая единство не в нас самих, а в плодах того, что мы творим.

Глэдис взглянула на скамью напротив, где сидел я, и улыбнулась робко, но доверительно. Потом, слегка прищурившись, повернулась к огню, и я вспомнил, что сегодня вечером нам предстояло обвенчаться и отныне стать мужем и женою. Час близился. О чем она сейчас думала, вряд ли кто смог бы угадать.

Какое-то время я разглядывал Глэдис, и желание вновь проснулось во мне, жгучее, но умиротворенное, потому что каждой своей частицей и всем своим существованием она была именно тем, о чем мне мечталось, — безупречная, дорогая и такая влекущая, что ощущение счастья и желание уравновесились во мне. Но она только-только приехала, больная от усталости и напряжения, и все было ново и непривычно для нее, даже я. Быть может, она хотела стать моей; быть может, нет, а быть может, единственное, чего ей хотелось, — это повиноваться мне, предпочтя роль введомой... Этим вечером должен был состояться обряд, ибо так было условлено. Потом я попрошу ее разделить со мной ложе. Если она того не хочет, она может ответить «нет». И так будет всегда.

С бьющимся сердцем я подошел к месту, где она сидела, устроился между ней и Дорной-старшей, но медлил заговорить, потому что, заметив мое движение, все внимательно стали наблюдать за нами. Тогда Дорн задал Парнэлу какой-то вопрос, и общее внимание обратилось к его разговору с двоюродным братом, ненадолго отвлекшись от нас с Глэдис. Ее близость перехватывала дыхание, как глоток крепкого вина; да, я хотел ее, в этом больше не оставалось сомнений. Я повернулся к ней и встретил выжидательный, ласковый, проникающий до самой глубины души взгляд ее темных глаз.

— Пойдемте к лорду Дорну, — обратился я к ней по-английски, — и он обручит нас.

Лицо Глэдис посерьезнело. Она опустила взгляд на лежащие на коленях руки.

— Я привезла белое платье, которое собиралась надеть, — ответила она, и я вдруг вспомнил...

— Глэдис, у меня же нет кольца. Господи, я даже и не подумал! Их здесь не носят, но если вы хотите, я достану.

— Хочу, — коротко ответила она.

— Значит, подождем, пока я не раздобуду кольца?

Глэдис подняла голову, внимательно поглядела на меня:

— А вам бы ждать не хотелось, правда?

Первым моим порывом было — угадать ее мысли, постараться разубедить ее, но она спросила именно о том, о чем я думал сам.

— Нет, — ответил я.

— Тогда и я не желаю ждать, но все же мне хотелось бы когда-нибудь получить от вас в подарок кольцо.

— Вы его получите.

— Могу я надеть белое платье?

— Конечно! Только вы не будете против, если Некка поможет вам?

Глэдис посмотрела на Некку и Дорна и снова перевела взгляд на меня:

— Да, я не против.

— Прямо сейчас, Глэдис?

— Да, Джон.

Наши взгляды встретились, и мы одновременно встали. Глэдис подошла к Некке и заговорила с ней. Я проследовал за ними в соседнюю залу.

— Приходите в башню, когда будете готовы, — сказал я. Женщины вышли, а я вернулся к Дорну. Выйдя из залы, мы пошли к лорду Дорну. Дальнейшее припоминается мне смутно.

Ничего из традиционно необходимого для обряда бракосочетания в Америке в доме не было. Я боялся, что Глэдис будет сожалеть об этом, и клял себя за то, что ни о чем не позаботился заранее. Недоставало не только обручальных колец, но и свадебного пирога, и еще множества, множества вещей. Дорн будет моим свидетелем, Хиса Некка — свидетельницей со стороны невесты.

Мы подложили дров в центральный очаг, чтобы пламя пылало как можно ярче, когда войдет Глэдис. Дрова горели и потрескивали. Темный дым завитками уходил в похожую на воронку трубу. Красный отсвет плясал на стенах, угловые колонны отбрасывали четыре светящиеся тени.

— Дорн, — сказал я, — по нашему обряду я должен надеть невесте на палец кольцо, и я только недавно вспомнил про это. И еще нужны цветы.

— Цветы будут, — ответил Дорн.

— Они обязательно должны быть белые.

— В саду растут астры, но вот кольцо...

— Кольцо? — переспросил лорд Дорн, входя.

— Кольцо надевается на палец, — пояснил Дорн. — Вы могли видеть их на руках у иностранцев. Они служат знаком, что женщина замужем. Джон думает, что Глэдис тоже захочет кольцо, а он позабыл.

— Единственные кольца, которые могут подойти, — это с кольчуги Дорна XVII.

Я вспомнил, что Дорн XVII был адмиралом, который одержал победу над португальцами при Доринге, не устранившись даже огнестрельного оружия, хотя ни разу до того не видел его и не слышал о нем.

— Они железные, — добавил лорд.

— Глэдис хочет кольцо сейчас, — сказал я.

Дорн с лампой вышел в ночной сад — нарвать букет астр, его дед отправился в оружейную, где хранились доспехи и боевое снаряжение его предков, я же остался в башне, чтобы подождать Глэдис.

Мой друг и лорд Дорн вернулись еще до ее прихода. Лепестки астр, блее самых белых

хризантем, были красными у основания, листья влажно блестели. От цветов исходил свежий, душистый запах, какой бывает у цветов полевых. Чтобы вынуть кольцо, в трех местах подточенное временем, пришлось разбить скрепленные с ним. Кроме кольца, лорд Дорн принес также кусок грубого холста и вручил то и другое мне. Сидя с Дорном перед очагом, я принялся полировать кольцо.

Появилась Глэдис, следом за которой шла Некка, и в зале вдруг словно стало светлее, и будто порыв свежего ветра пронесся по нему. Взгляд Глэдис был серьезен и задумчив. Платье из белого шелка — просто и изящно.

Мы встали, и я подошел к Глэдис с букетом. Она улыбнулась, бросив на цветы быстрый благодарный взгляд, но губы ее дрожали.

— Вот кольцо, — сказал я, протягивая его Глэдис. — Оно железное, но зато с кольчуги Дорна XVII.

— Того самого, который прогнал португальцев?

— Да, и того, который не боялся ничего на свете.

— Я буду носить его с любовью.

Лорд Дорн стоял у очага. Мы приблизились и остановились перед ним. Дорн и Некка встали чуть сзади.

— Ланг, чувствуешь ли ты *анию* к Глэдис? — произнес лорд Дорн на островитянском.

— Да.

— А ты, Глэдис, чувствуешь ли ты *анию* к Джонлангу?

Глэдис пристально глядела на лорда, стараясь понять каждое слово и не упустить ничего из того, что он говорит.

— Да, — ответила она ясным, высоким голосом, добавив по-английски: — Я люблю его.

Глаза ее ярко блестели.

— Вы согласны жить со мной в усадьбе на реке Лей? — спросил я.

— Да! — воскликнула она.

Я взял руку Глэдис и надел кольцо.

— Итак, теперь мы — муж и жена, — сказал я.

Лицо ее сияло так, что было больно смотреть. Я поцеловал Глэдис, и ее мягкие губы пылко ответили на мой поцелуй.

— И это все? — спросила она недоуменно.

— Что же может быть больше?

Глэдис взглянула на лорда Дорна, который стоял улыбаясь. Дорн подошел к ней и протянул ей руку:

— Все в соответствии с нашими обычаями. Вы с Джоном совершили обряд так, как совершают его у нас.

Глэдис посмотрела на него с благодарностью — он убедил ее, чего не смог сделать я.

— Мы рады, что вы оба собираетесь жить в усадьбе, когда-то принадлежавшей нам, — произнес лорд Дорн. — Мы уверены, что вы продолжите начатое нами.

— Я ничего не понимаю в сельском хозяйстве, — сказала Глэдис, переводя взгляд с лорда на меня, словно пристыженная.

— В этом нет нужды, — ответил старый лорд.

Я взял Глэдис за руку.

— А сейчас мы выпьем за здоровье вас обоих, — неожиданно сказал Дорн и прошел в смежный с залой кабинет. Я подвел Глэдис к стоявшей перед очагом скамье. Она села, по-прежнему держа в руках букет; я занял место рядом.

На лице лорда Дорна изобразилось волнение, он искал нужное слово. Дорн принес бутылку

с ярко-красным напитком и, наполнив четыре бокала, дал их нам.

— За здоровье Глэдис и Джона, — сказал он. — Надеюсь, они будут очень счастливы.

Потом, бросив взгляд на деда, он повторил то же на островитянском и поднял свой бокал.

— Глэдис, — сказал лорд Дорн, тоже поднимая свой, — вы будете счастливы здесь. Мы рады, что вы решили остаться среди нас. Мы уже успели вас полюбить, и теперь вы такой же наш друг, как Джон. Думаю, вам еще предстоит снискать любовь и дружбу многих.

Глэдис слегка наклонила голову и подняла бокал.

— Вы все так добры, — сказала она на островитянском. — И я сама не знаю, отчего я... — было видно, что ей никак не вспомнить слово «плачу». Сделав знак дрожащей рукой, она отпила из своего бокала.

— А теперь мы оставим вас, — сказал лорд Дорн.

— Доброй ночи вам обоим, — добавил Дорн.

Когда они вышли, я взял из рук Глэдис бокал и обнял ее:

— Мы любим друг друга, Глэдис, и нам предстоит много счастливых дней. Я знаю это.

— Нет, не то. Все дело в тебе.

Она плакала безудержно, как ребенок. Я прижал ее к себе и целовал мокрые от слез щеки.

— Что ты хочешь сказать? — спросил я. — За меня не бойся.

— Мне все кажется, что тебе нужен кто-то, совсем не похожий на меня.

— Мне нужна только ты. В тебе — вся моя любовь. Скоро мы поедем в нашу усадьбу. Тебе будет там хорошо, спокойно.

— Поедем, как только ты скажешь.

— Ты еще не видела ее. Она тебе понравится.

— Я хочу поскорее увидеть ее.

— Мы будем ездить верхом. У тебя есть платье для верховой езды?

— Да, конечно.

— Мы можем выехать завтра днем и заночевать в Доринге, а твои вещи доставят по реке. Ты будешь счастлива там. Мы с тобой в одинаковом положении. Поместье живет своей жизнью. И что бы нам ни пришлось делать, мы должны будем все делать и решать вместе... А еще там есть комната, где ты можешь устроить свою мастерскую...

— Я буду счастлива.

— Я тоже. Теперь мы вместе. Больше мне ничего не надо.

Глэдис понемногу успокаивалась. Тишина окружила нас. Мы сидели, глядя на колеблющиеся языки пламени, крепко держась за руки.

— Какая необычная, удивительная зала, — наконец сказала Глэдис.

— Это — сердце той Островитянии, которая хочет оставаться единой и неизменной.

— Я рада, что мы поженились здесь... и мне нравится мое кольцо Дорнов.

Глэдис поглядела на стальную полоску на своем пальце, а я — на нее, близкую, желанную.

— Ты пойдешь со мной? — спросил я. — И останешься со мной на эту ночь?

— А ты хочешь этого?

— Хочу. Ты не слишком устала сегодня?

— Нет, — сказала она, слегка покачав головой.

— Мы пойдем в мою комнату?

— Если хочешь.

— Там можно разжечь очаг. Она навсегда моя, а теперь наша — в этом доме.

Мы прошли безлюдными коридорами, от камня которых веяло холодом, в комнату Глэдис. Я развел огонь, и мы сели на ковер перед очагом. За нашими спинами в комнате царила

темнота, только вспыхивали яркие блики на медном кувшине, куда Глэдис поставила астры, на темных полированных створках платяного шкафа. Глэдис заворуженно глядела на огонь, высвечивавший ее лицо и бросавший красноватые отсветы на ее белое платье.

— А в нашей усадьбе тоже есть такие очаги? — спросила она.

— Здесь дома отапливаются только так, — ответил я.

— А зимой холодно?

— Холодно. Дни ясные, безветренные, но снегу немного.

— Ты сказал, у меня будет мастерская?

— Да, с окном на юг, а в Америке оно глядело бы на север.

— А время рисовать останется?

— Сколько пожелаешь.

— Расскажи мне о нашем поместье, — сказала Глэдис, протягивая к огню руку. Я стал описывать окружающие усадьбу земли, дом, комнату, которую я приготовил для нее, и все это живо вставало перед моими глазами...

— Поцелуй меня, — сказала Глэдис и, подняв лицо, подставила свои губы. — Мы будем счастливы там.

Ровно горящие дрова шипели и тихо и деловито потрескивали. Запах смолы смешивался с влажным и благоуханным запахом астр. Я поцеловал Глэдис, потом, оторвавшись от ее губ, взглянул на ее лицо и поцеловал снова.

— Ты нужен мне, — сказала она, — и ты должен заботиться обо мне. Когда-то я чувствовала себя вполне самостоятельной, но, пока добиралась сюда, израсходовала весь запас самостоятельности. Поэтому я сегодня и плакала.

— Ты тоже нужна мне, — ответил я, — и мы вместе построим для нас хорошую жизнь.

— Ты все время заглядываешь в будущее, Джон. Я вижу это по твоему лицу. А я довольствуюсь настоящим.

— Все мое счастье в тебе, ежеминутно. Будущее и настоящее для меня едины.

— Ания и алия, — тихо проговорила Глэдис. — Я много думала об этом.

В комнате стало темнее. Лицо Глэдис было так прекрасно, поцелуи так сладки, что мне не хотелось отпускать ее ни на мгновение.

— Ты рад, что я — твоя жена? — спросила она.

— Никто другой не мог бы стать ею.

— Даже Дорна? Даже та, другая девушка?

— Нет, — ответил я, — ты — самая родная.

— Мы оба еще американцы. В конце концов, ты не так уж похож на островитянина. И я понимаю Дорна... или, вернее, он понимает меня. Я рада, что у нас такой друг. Есть ли здесь еще столь же замечательные люди?

— Их много, — сказал я, — и среди них — женщины, которых ты любишь.

— Я уже люблю Некку. Она станет нашим другом... Она обещала помочь мне с одеждой. Но хватит ли у нее времени, если мы завтра отправимся в усадьбу?

— Не обязательно ехать завтра.

— Но ты же хотел!

— Тогда решим позже.

— Если ты хочешь — едем. С одеждой можно и подождать.

Я посмотрел в ее усталые, возбужденно блестящие глаза. Огонь дотлевал, становилось все прохладнее.

— Пора ложиться, — сказал я.

Медленно, тяжело дыша, Глэдис начала говорить, но осеклась. Я угадал ее мысль — я и сам

так думал. Иностранцам в чужой стране нужно было время, чтобы привыкнуть и обустроиться. Заводить ребенка сразу не следовало... Некка говорила об этом с Глэдис.

Робко поглядывая друг на друга, мы тем не менее не чувствовали никакой стесненности и начали расстилать постель так, словно жили вместе уже давным-давно.

Мы легли в темноте, тесно прижавшись, и на какое-то мгновение тело Глэдис показалось мне чужим — ощущение его смешалось с памятью о теле другой женщины. Я обнял и поцеловал ее, стараясь отогнать воспоминания и думать только о ней.

Было уже далеко за полночь. Порывы холодного ветра приносили в открытое окно запах моря и просоленного морским ветром сена. Болота лежали кругом, к востоку простирались равнины Нижнего Доринга, а за ними вздымались высокие горы, которых Глэдис еще никогда не видела. На севере находилось наше поместье; оно представлялось мне сейчас отчетливо, во всех мелочах. Комната, где мы лежали, была нашей — моей и ее, — нашей и всех наших потомков.

Я еще крепче обнял Глэдис, руки мои гладили ее, блуждали по ее телу, познавая его форму, такую живую и близкую; я вдыхал ее сладостный запах; я дышал ею. Дом Дорнов, комната, кровать, мы с Глэдис, тесно прижавшиеся друг к другу, — все плыло сквозь ночную тьму. Вдвоем, мы были одни в целом мире. Мы пробудились от дурного, тревожного сна ожидания, пробудились во тьме, дабы познать совершенство друг друга.

Сердца наши изнывали от счастья, молчание сковало уста.

Движимые желанием, мы соединились. Любовь явила себя в мельчайших частностях и во всей полноте. Каждый отдавал себя другому не таясь. Мы словно стали совершенно иными, коснувшись глубин, изведав упоительную боль и блаженную свободу. Любовь уравнила нас...

Мы лежали неподвижно. Глэдис тихо всхлипывала, дрожа. Руки ее расслабленно обнимали меня, и я чувствовал их тяжесть. Трепет еще раз пробежал по ее телу, и она уснула. Я был темной рекой, струящейся в ночи. Образы поместья на реке Лей мелькали в темноте, яркие, влекущие. Я лежал прижавшись к Глэдис и легко поглаживая ее, пока она не проснулась... Завтра нас ждали дела: хлопоты с одеждой, вещами, лошадьми, но сейчас ничто не имело значения. Я тонул, погружаясь все глубже, ощущая покорную, теплую близость Глэдис, любя ее... Наконец сон поглотил нас и время прервало свое течение.

Комната наполнилась свежим, прозрачным воздухом; солнце медленно поднималось над горизонтом. Мы проснулись одновременно, ничуть не удивясь, что лежим рядом, но что-то новое появилось в каждом. Еще полусонные, мы повернулись друг к другу и обнялись...

Потом я встал развести огонь — в комнате было прохладно. Глэдис надела свои красные туфли и красный с синим халат и подошла к окну. Волосы ее свободно рассыпались по плечам.

— Я вижу горы! — воскликнула она. — Какой чудесный день, Джон!

Наконец огонь побежал по поленьям, и, отойдя от очага, я подошел к Глэдис и нежно обнял ее. Она откинула голову мне на грудь. Насытившись, желание уже не тревожило меня, но делало особенно драгоценной близость той, что придавала мне силы и дарила покоем, примиряя раздор между духом и плотью. Гармония была столь же ощутимой и осязаемой, как само наслаждение.

В ясном свете утра горы казались совсем близкими. Они высились словно темно-синий крепостной вал, и розоватый отсвет лежал на изломах вершин. Ровная гладь болот уходила вдаль, начинаясь за лугом под окном, за ивы, к самым подножиям гор, тонущим в зеленой и голубой, как лаванда, дымке...

Глэдис повернулась и поцеловала меня.

— Я уже люблю все это! — воскликнула она... Потом, нахмурясь, приложила ладони к моему лицу. — Только бы мне удалось сделать тебя счастливым!

— Просто будь такой, какая ты есть, — сказал я. — Тогда счастье придет само.

— Ах, мне хочется большего, хочется быть лучше!

— Будь верна себе.

Глэдис изучающе поглядела на меня, потом спросила:

— О чем ты думаешь?

— Собирался подумать о сегодняшнем дне, но особой спешки нет.

— Ты хочешь сказать — поедем ли мы сегодня в поместье?

— Да... но, я смотрю, у тебя совсем замерзли руки. Ляг полежи, пока комната не нагреется.

Глэдис послушно легла.

— А который час? — спросила она. — Я забыла завести часы.

— Не знаю.

— Дай мне твои, я поставлю по ним.

— Мои в поместье. Я их не ношу.

— Но у тебя столько дел. Как же ты узнаешь?..

— Просто чувствую... Скажем, я знаю, что у нас еще уйма времени до завтрака.

— А когда завтрак?

— Вряд ли я смогу назвать точный час.

Глэдис покачала головой:

— Многому же мне предстоит научиться, мой островитянин! Ах, Джон, я так люблю тебя...

Я подошел к ней, нагнулся и поцеловал. Но вскоре глаза ее опять приняли озабоченное выражение.

— Что же мне надеть? — спросила она. — Я так боюсь выбрать не то платье. Все они так не похожи на то, что носят здесь. Что подумают про меня люди, которых мы встретим по дороге?

— Никто не обратит внимания и не будет указывать на тебя пальцем. Я знаю — мне самому приходилось носить европейский костюм.

Глэдис задумалась:

— А в усадьбе найдется для меня островитянское платье? Я немного умею шить и могла бы придумать что-нибудь сама, но мне нужна помощь.

— Посоветуйся с Неккой.

— Тебе ведь хочется поехать сегодня, правда?

Я ответил не сразу: Глэдис уже несколько раз задавала этот вопрос и, возможно, надеялась, что я отвечу «нет». Однако я уже знал, что, если отвечу так, как хочет она, вопрос рикошетом вернется ко мне.

— Да, — сказал я и, крепко обняв ее, поцеловал и заглянул в глаза. — Я хочу поехать сегодня. Я хочу оказаться наконец в нашем собственном доме, хочу, чтобы ты увидела его, хочу любить тебя там и чтобы наша жизнь вместе началась.

— Тогда поедем, — ответила она, опуская ресницы. — С платьем — обойдется... По-твоему, наша совместная жизнь еще не началась?

— Не совсем.

— А мне кажется, да. Я вся — твоя, хотя... — Она запнулась.

— Что «хотя», Глэдис? — сказал я, желая помочь ей.

— Я все думаю: взаправду ли мы муж и жена? Ты сказал — да. А лорд Дорн этого не говорил.

— Тебе чего-то не хватает?

— Немного, хотя Дорн сказал, что здесь так принято.

— Верно. Надо только, чтобы люди объявили об своей любви и о том, что хотят жить вместе. Мы сделали это.

— Да, — сказала Глэдис. — Впрочем, не важно. Я счастлива. Теперь ты — мой... Но тебе, похоже, не хватает усадьбы.

Она поймала мой взгляд.

— Ее не хватает нам обоим. И тебе — первой, — ответил я.

— Кажется, теперь я поняла.

— Никогда не думай, что ты для меня на втором месте! — воскликнул я. — Просто для меня все это — одно целое.

— Не будь таким уж островитянином, — мягко попросила Глэдис, — или я перестану понимать, где нахожусь. Я люблю тебя. Я приехала к тебе и отдала тебе все, что у меня только есть. — Дрожая, она обвила мою шею руками и, не давая мне заговорить, продолжала: — Мы поедем в усадьбу сегодня же.

— Не забывай, что она принадлежит тебе в такой же степени, что и мне, — сказал я. — Ах, Глэдис, я так люблю тебя, что хочу, чтобы наш дом был таким же совершенным, как ты.

— Как хорошо, — шепнула она, — ах, как хорошо, Джон.

— А ты не устанешь так долго ехать верхом?

— Нет, я прекрасно выпалась. — Она тихо рассмеялась: — Теперь я готова ко всему на свете.

— Как насчет платья?

— Не важно.

— Мы посоветуемся с Неккой.

— Да, конечно. Я готова делать все, что ты скажешь.

Я внимательно поглядел на нее, пытаюсь понять, не слишком ли это для нее большая уступка.

— Пока, — сказал я, — давай все решать так: я буду что-то предлагать. Ты же помни, что от любого моего предложения можно отказаться или поступить как-то иначе. Если же тебе не захочется того, что предлагаю я, — скажи об этом прямо. Обещай мне.

Теперь уже Глэдис внимательно посмотрела на меня, потом кивнула:

— Что ж, это меня устраивает... Мама говорила, что в браке люди долго приспособляются друг к другу. Пусть это будет первый шаг.

— Мы любим друг друга, — сказал я, — и поэтому каждый хочет уступить. Надо быть осторожным, чтобы не попасть в тупик разминувшихся желаний, это может оказаться хуже, чем размолвка.

И я объяснил Глэдис, что все это значит, так же как в свое время объяснили мне.

— Первый урок — как быть островитянкой! — сказала под конец Глэдис. — Но мне все равно приятно исполнять твои желания.

— А мне — быть с тобой.

— Я тоже научусь стоять на своем, не бойся! Но сейчас...

— Сейчас я хочу, чтобы ты была моей.

Глэдис поцеловала меня.

На этот — четвертый — раз Глэдис остановила свой выбор на прогулочном костюме из коричневого твида, блузке с длинным рукавом и жакете. За исключением длины юбки и прилегающей талии, наряд ее не так уж отличался от привычного, островитянского. Было уже поздно, и поэтому позавтракали мы в одиночестве, а выйдя, увидели Некку с малышом: они сидели на солнышке, на ковре, у восточной стены дома. Мы поделились с нею своими сомнениями относительно платья для Глэдис, и Некка посоветовала провести пару дней в Доринге, где мы сможем приобрести все необходимое. Итак, мы решили отбыть с Острова в полдень.

Я оставил женщин обсуждать детали (обе говорили медленно, однако явно хорошо понимали друг друга), а сам пошел распорядиться насчет нашего отъезда, попросив отправить вещи Глэдис на одной из лодок. День выдался ясный, теплый, дул легкий северо-западный ветер, и мне не терпелось как можно скорее тронуться в путь — домой.

Настал полдень. Глэдис провела все утро с Неккой и наконец спустилась в уже пятом по счету наряде. Она была оживлена, мила, хотя, казалось, сошла прямо с картинки, изображающей «идеальный женский костюм для верховой езды». На ней были габардиновые бриджи, высокие кожаные сапоги с прямым голенищем, длинная коричневая куртка с широкими полами, белая блузка с высоким пикеиным воротничком и коричневая фетровая шляпа. Вид у нее был щегольской, залихватский, и каждый по крайней мере дважды взглянул в ее сторону.

Для Глэдис подобрали лошадь той же породы, что и Фэк, я же собирался ехать на той, которую нанял на ферме в бухте Фаннар. Одежду, которая могла понадобиться Глэдис в пути, сложили в притороченную к седлу суму, остальные ее вещи должна была доставить лодка, ожидавшая попутного ветра.

Все семейство столпилось в дверях, чтобы проститься с нами. В ожидании, пока нам приготовят в дорогу еду, Глэдис беседовала с Дорном, то и дело заглядывая снизу вверх ему в глаза, вся в нетерпении, погруженная в какие-то свои счастливые мысли, и, когда она улыбалась, на разгумянившихся щеках появлялись глубокие ямочки. Я был рад симпатии, которая, по всей видимости, уже возникла между ними.

Некка между тем внимательно оглядывала костюм Глэдис. Я подошел к ней — поблагодарить за помощь. Вид у Некки был слегка озабоченный.

— Похоже, Гладиса побаивается ехать в усадьбу, — сказала она наконец. — Мы проговорили с ней все утро.

— Чего же она боится? — спросил я, чувствуя неприятный холодок.

— Мне трудно ее понять, хотя, конечно, я хорошо представляю, как вы там будете жить. И все же временами мне хотелось протестовать: для меня эта жизнь — привычная, а Гладиса привыкла к совершенно другой.

— Я знаю.

— Не хочу вас попусту тревожить, — искренне продолжала Некка, — но раньше в ее жизни каждый день случалось так много всего. В поместье тоже можно найти много разного, но нужно умение... Мысли у нее в голове так и скачут... Я думала о вас и о ней. Боюсь, ей придется нелегко, прежде чем она свыкнется с простой, тихой жизнью... Она много разъезжала и, как все вы, иностранцы, каждый день сталкивалась с переменами, каждый день увлекалась чем-то новым.

— Возможно, в мыслях у нее сейчас и вправду беспорядок, ведь кругом все так

непривычно. Ей пришлось о стольком передумать за последнее время, и она устала... Вы что-то хотите предложить, Некка?

— Я постаралась бы сделать ее жизнь веселее и разнообразнее.

— Спасибо за совет.

— Каждый должен привыкать сам. Вам это удалось... Она тоже сможет, я уверена. Вы оба будете счастливы, не сомневаюсь.

Некка улыбнулась, хотя в улыбке ее уверенности было меньше, чем в тоне, каким она произнесла свои слова.

Дорн помог Глэдис сесть в седло. Я тоже сел на свою лошадь и сказал, что мы готовы. Прозвучали слова прощания. Я тронулся, Глэдис — следом.

Оглянувшись, я увидел, что она через плечо смотрит на постепенно уменьшающиеся фигуры на крыльце, грациозно и непринужденно держась в седле.

Направив лошадей вдоль обочины, я подождал, пока Глэдис не поравнялась со мной. И вот она уже была рядом.

— Наконец мы в пути, — улыбнулась она.

— Я рад!

— Я тоже! Они все такие замечательные, и мне хотелось бы пожить у них подольше и узнать получше, но еще больше мне хочется быть с тобой, вдвоем... Ах, Джон!

Она в отчаянии взмахнула рукой, давая понять, что словами всего не выскажешь.

Лошади были свежие и норовистые. Мы отпустили поводья и понеслись во весь опор. Глэдис держалась намного лучше, чем я, когда только оказался в Островитянии. Слова Некки быстро позабылись.

У Рыбачьей пристани уже ждал паром. Мы поднялись на борт, причем Глэдис не стала спешиваться. Я привязал обеих лошадей и с силой потянул за канат.

Глэдис рассмеялась:

— Как забавно! Никогда еще не видела тебя таким свирепым.

Я подумал: всегда ли мне удастся сдерживать в себе эту свирепость?..

Паром неторопливо продвигался к противоположному берегу, мокрый канат бурлил и пенил воду. Глэдис наклонялась, поглаживая морду лошади, успокаивая ее, и смотрела по сторонам — на ровную гладь болот, на теснящиеся домики Эрна, оглядывалась в сторону Острова, то и дело поглядывала на меня, сосредоточенно тянущего канат. Ее явно переполняли мысли и впечатления, которые я хотел бы узнать и разделить с нею, в то же время боясь выказывать слишком большой интерес к ее чувствам. Пожалуй, лучше было относиться к нашей поездке как к чему-то обыденному, и я был готов в любую минуту поддержать разговор, ни в коем случае не навязывая Глэдис свое отношение к происходящему. О том, что мы оба сейчас переживали, лучше было поговорить после.

Паром ткнулся в причал. Я завязал канат узлом прочно, однако так, что, дернув хорошенько с другого берега, его можно было освободить.

Потом я взглянул вверх: на фоне голубого небесного купола Глэдис с озорной улыбкой смотрела на меня; когда наши взгляды встретились, улыбка ее стала дружелюбной и ласковой.

Всего через несколько сот ярдов мы добрались до другого парома, и вот уже оказались на бескрайней плоскости болот; огромный ясный небосвод раскинулся над нами, и лишь небольшие возвышения местами нарушали ровную линию горизонта. Я был счастлив глядеть на все это глазами Глэдис, это как бы двойное зрение обострило мои чувства, и тем полнее и богаче казалось ожидавшее нас будущее.

Добравшись до последнего парома, уже у самого Эрна, мы подали знак паромщику. Поджидая его, мы привязали лошадей и сели на причале; легкий ветерок рябил воду, солнце

пригревало нам спину.

Глэдис глядела на город: пристань, корабельные мачты, высокие стены и черепичные крыши домов.

— Это Эрн, верно? — спросила она.

— Да, Глэдис.

— Я просмотрела много карт. А Доринг — там? — Она махнула рукой в сторону севера.

— Его отсюда видно. — И я указал ей на едва различимый вдали Доринг.

Глэдис придвинулась поближе и взглянула в том направлении, куда я указывал: отделенный от нас милями и милями темно-зеленых пустошей, город напоминал лежащего геральдического зверя с поднятой головой.

Паром приближался мощными, ритмичными толчками, везя тех, кто собирался на болота, тогда как мы возвращались с них. Один из путешественников подошел к нам и назвал себя:

— Март!

— Ланг! — ответил я и обернулся к Глэдис, добавив по-английски: «Назови свое имя». Она было заколебалась, но, когда незнакомец повернулся к ней, решительно отвечала:

— Гладиса!

— Мы слышали, что вы едете к Лангу, — ласково сказал мужчина. — Марта с Острова — моя двоюродная сестра. Мы рады вам, Гладиса.

При виде ее костюма в глазах Марта вспыхнуло любопытство, впрочем, это длилось мгновение — любая симпатичная, хорошо одетая женщина удостоилась бы того же.

— Я приехала вчера, — ответила Глэдис. — Я знаю Марту... Теперь мы едем в наше поместье.

— Там у вас будет меньше хлопот, чем на болотах, — сказал Март. — Дожди в тех местах идут чаще, да и ветров поменьше... Приезжайте как-нибудь в гости. Теперь наш дом не только для Ланга, но и для вас.

— С удовольствием, — сказала Глэдис, бросив на меня быстрый взгляд.

— Наш дом на реке Лей — ваш дом, — ответил я.

Паромщик уже ждал нас, и, попрощавшись с Мартом, мы завели лошадей на борт, привязали, а сами прошли в переднюю часть.

— Март замечательный, — сказала Глэдис. — Здесь все люди такие?

— Все такие же вежливые.

— А как я себя вела?

— Превосходно!

— Вот только я не знала, как назваться. Ведь я не мисс Хантер. А миссис Ланг — ему было бы непонятно. Глэдис — ты сам говорил — для них звучит непривычно.

— Они будут называть тебя Гладиса.

— Почему бы мне не взять такое островитянское имя?

— Тебе нравится?

— Мне никогда не нравилось мое имя, но, пожалуй, сойдет.

— Можешь назвать себя Хантера.

— Нет, лучше Гладиса... Странно, когда незнакомый человек называет тебя по имени...

Почему они не зовут тебя «Джон»?

— Я с самого начала был Лангом. Это звучит почти по-островитянски.

— Ты заметил, что он почти не обратил внимания на мой костюм?

— Да, ну и что?

— Но мой так не похож на здешние!

— Он принял тебя такой, какая ты есть. Для него это — твое личное дело.

— Похоже, он человек благородный.

— Что касается твоей одежды, — начал я, — возможно, ты пока не совсем понимаешь этих людей. Платье может быть тебе к лицу, а может быть красиво само по себе. Предполагается, что у каждого достаточно хороший вкус, чтобы сделать правильный выбор. Если нет — это сразу же заметят. Мода здесь не имеет никакого значения.

— И все же, когда я вижу, как одевается Некка, ее короткие юбки, — мне тоже хочется такие же. Правда, денег у меня осталось мало.

— А у меня есть счет у нашего агента в Тэне, и денег будет еще больше, когда мы соберем урожай... Тогда можно будет заказать тебе новое платье.

— Завтра пойдем за покупками! Вот забавно!

Сойдя на берег и проехав через город, мы оказались в сельской местности — с той быстротой перехода от одного к другому, которая возможна только в Островитянии.

Лошади, почуя свободу, пустились в галоп, и мы не мешали им скакать во весь опор. Я намного обогнал Глэдис, а когда почувствовал, что лошадь устала, пустил ее шагом. Глэдис скоро догнала меня. Она улыбалась, щеки горели.

— Какое-то время мне казалось, что я совсем одна, — сказала она.

— Лошади у нас разные.

— Дорн говорил... Эта теперь моя. Он дал ее мне. Он сказал, что это свадебный подарок, что она похожа на твоего Фэка... Можно я оставлю ее себе?

— Конечно!

— Я не была уверена и даже переживала немного. Надо было сказать тебе раньше, но...

— Тебе неудобно принять такой подарок?

— Да, если тебе хоть на минуту показалось...

— Что показалось? Может быть, он за тобой ухаживал?

— Разумеется нет!

— Я знаю, что в Европе и в Америке люди считают неприличным, когда мужчина делает девушке дорогой подарок. Она чувствует себя обязанной, и ей неловко. Наверное, в нас обоих еще не до конца исчезли эти чувства. Полагаю, Дорну о них известно, но в его жизни они для него ничего не значат... Я примерно догадываюсь, о чем он думал... что мы с тобой хотим немного попутешествовать, проехаться верхом, и что такой лошади, как Фэк, в поместье на Лей нет. Скорей всего ему вдруг этого захотелось, бывают же внезапные желания... Конечно, теперь это твоя лошадь, Глэдис.

Она повернулась ко мне, глаза ее горели:

— Значит, я оставлю ее себе? Можно? Мне очень хочется.

— Да, — коротко ответил я, однако подумал, что придет время и я постараюсь убедить ее, что совсем необязательно спрашивать на все моего согласия, как у повелителя.

— В поместье у нас найдутся и другие лошади, не хуже. И мы сможем подолгу ездить верхом.

— Ах, я надеюсь.

— Дорн об этом подумал.

— Он ужасно милый! Он дал мне один совет, как он сказал — очень полезный... Я разговаривала с ним даже больше, чем с тобой. Боюсь теперь, не наговорила ли я лишнего...

— А что он посоветовал?

Глэдис поглядела на меня нерешительно, словно раздумывая, не выдаст ли она секрет, и я не стал переспрашивать.

Налево простиралась бескрайняя ровная поверхность болот, направо — равнина с рощами, садами, полями и пастбищами. Утки и гуси собирались по протокам, готовясь к отлету на север.

Временами стая птиц проносилась над нами. Иногда, стоило дороге свернуть в сторону от лесистых участков и ферм, мы оказывались посреди луга или на болотистой равнине, и на востоке становились видны горы, а впереди — медленно приближающийся и увеличивающийся в размерах Доринг.

Большинство моих последних поездок по Островитянии я проделывал в одиночестве. Теперь у меня была спутница. Беседуя, мы невольно обменивались мыслями, и этот тесный контакт порой смущал, порой приводил в лихорадочное замешательство. Некка говорила, что мысли Глэдис перескакивают с одного на другое. Не казалась ли мне Глэдис сейчас такой, каким я сам когда-то казался островитянам — трепещущим от эмоций, постоянно сменяющихся во мне чувств и мыслей? Теперь мне хотелось одного: молчания, тишины, чтобы яснее ощущать медленное струение красоты окружающего мира — вод, земли и небес, словно ставших ярче в присутствии Глэдис. Мне хотелось покоя, чтобы наслаждаться ее красотой. Я боялся, что стоит мне взглянуть в ее сторону, как она снова заговорит о чем-нибудь, но в то же время мне не хотелось, чтобы она почувствовала меня чужим и далеким.

Поэтому, когда мы проехали еще немного и добрались до прозрачного бегущего с гор ручья, я предложил сделать передышку. Мы въехали в ручей, чтобы дать лошадям напиться, потом, спешившись, привязали их, а сами уселись у обочины дороги, под низко опустившими свои ветви ивами, усыпавшими землю ковром желтых листьев.

Глэдис сняла шляпу. Лоб ее покрывала испарина, волосы спутались. Изящные черты ее лица дышали уверенностью, хотя вид был несколько усталый. Я словно увидел ее заново — сейчас главной в ее облике была не красота, а некая тихая, неведомая мне, всепоглощающая мысль.

— Ну как? — спросил я.

— Ах, все прекрасно! — мгновенно отозвалась она.

— Ничто не пугает, ничто не тревожит?

— Ничто!

— Я люблю тебя, Глэдис.

Я накрыл своей рукой ее руку, и Глэдис улыбнулась. Кожа была шелковистой, теплой. Она сидела расслабившись, на губах блуждала довольная, спокойная улыбка, и я вдруг почувствовал мгновенный прилив желания, зная, что в будущем еще не раз будут случаться подобные минуты, когда самое естественное — обладание, любовь... но сейчас это было невозможно. Мне вспомнилась притча о «совершенной жизни».

— Я хочу тебя, — сказал я.

Словно отвечая, она вздрогнула, глубоко вздохнула, прикрыла веки.

— Но здесь нельзя, — продолжал я.

Глэдис кивнула и поглядела на меня широко открытыми глазами.

Мы поели, и я лег, заложив руки за голову и глядя на редкие желтые листья ив на фоне синего неба.

— Давай отдохнем, — сказал я, вспоминая берег моря в Нантакете, где она дремала, а я сидел рядом. Может ли это повториться?.. Но Глэдис сидела прямо, словно застыв, в своем костюме, накрахмаленный воротничок туго охватывал нежную стройную шею, плечи слегка поникли, глаза были потуплены.

— С тобой Островитяния в тысячу раз прекраснее, — сказал я. — Ты словно придаешь всему блеск.

Она бросила на меня быстрый взгляд, улыбнулась и снова потупилась.

— Я верю, что ты очень любишь меня, — сказала она.

— Да.

Глэдис задумчиво покачала головой:

— Если бы мне только удалось сделать тебя счастливым!

— Если только ты сама будешь счастлива, Глэдис. Заботься о себе, а не обо мне.

— Именно это и посоветовал Дорн. Мне показалось, что его совет — призыв быть эгоистичной.

— Расскажи мне подробней, попробуем вместе во всем разобраться.

— Иногда все кажется так просто, но в другой раз... Я очень много думала, пока ехала сюда, и сама удивлялась своей смелости! Потом рассказала о своих чувствах Дорну. Мне обязательно надо было выговориться. Я сказала ему, что боюсь, что не принесу тебе счастья, и это единственное, что меня пугает и тревожит, единственная моя забота. Еще я сказала, что понимаю — у тебя уже есть своя жизнь, которой ты доволен, в которую ушел с головой, но я ничего о ней не знаю и боюсь, что мне не найдется в ней места. Дорн ответил, что я не должна переживать, принесу ли я тебе счастье или нет, и мне больше следует думать о себе, о том, чтобы постепенно взрослеть. Он объяснил, как я могу сделать счастливой свою жизнь в нашем поместье. И еще сказал, что я не должна пугаться тишины и одиночества — надо научиться подолгу жить не думая, просто тем, что я вижу, слышу, чувствую. Сказал, чтобы я остерегалась решать трудные вопросы мысленно, умом! И еще — что ты не из породы «ваятелей», и он уверен — ты понимаешь, что мне еще только двадцать, и я буду меняться и взрослеть, и ты полюбишь меня именно как человека, который растет и взрослеет. Он сказал — я как гусыня, откладывающая для тебя золотые яйца, которые принесут тебе счастье, и если я хочу делать это хорошо, мне следует прежде всего заботиться о своем здоровье и душевном покое. Но я не должна все время думать только об этом, иначе впаду в тоску, которая иссушает душу и тело... Конечно, он немного надо мной подшучивал... И я все спрашивала себя, о чем он на самом деле думает больше — о твоём счастье или о моем. Уверена — о моем.

— Он думал о нас обоих.

— Он сказал, что мы с тобой как пара гусей... и тогда мы стали спорить, откладывают ли гусаки яйца. Дорн заявил, что да, а нам нужно постараться стать здоровыми, плодовитыми гусями — тогда счастье придет к нам само!

— Разве это плохой совет? — спросил я.

— Не знаю. Если ему последовать... У меня будет чувство, словно я в чем-то обделена.

— В чем, Глэдис?

— Я хочу быть для тебя всем! — с жаром воскликнула она. — Ведь я так люблю тебя!

Я был глубоко тронут, и в то же время мне стало несколько неловко...

— Мы будем работать в нашем поместье, — ответил я. — И мы вместе придумаем, куда направить ту силу любви, что есть в нас.

— Но я ничего не знаю о том, как вести хозяйство!

— Ну, это лишь малая часть жизни... да и я тоже мало что знаю!

Я сел и взял ее руку, безвольно лежавшую у нее на коленях и еще хранившую тепло перчатки. Стоило мне коснуться ее, как все кругом изменило цвет, словно темное облако закрыло солнце и приглушенный теплый свет залил землю...

— Вот оно — время любить, — сказал я. Глэдис испуганно, с тревогой взглянула на меня... «Но это невозможно... — подумал я. — Лучше — снова в дорогу».

Мы поехали дальше. Солнце склонилось над болотами, и свет его ровной золотистой дымкой лег на пригорки и ложбины. Через час мы въехали в тихий, темный лес. Я не стал говорить Глэдис, что ждет нас за лесом, и, когда мы неожиданно выехали на берег реки, возвышающийся над синими водами и протянувший длинные сумеречные тени Доринг — с его

разноцветными домами и кровлями, садами, стенами и деревьями, с его скалистыми берегами — поразил ее своей необычностью. Пока мы поджидали паром, я, чувствуя переполнявшую меня радость, разглядывал словно светящееся в лучах низкого солнца лицо Глэдис, изумленное и счастливое, которое залегшие под глазами усталые морщинки делали еще милей и дороже.

Подъехав ко мне совсем близко, она сняла перчатку и взяла меня за руку:

— Он в точности такой, каким ты его описывал. У меня так и стоят перед глазами все те места, о которых ты писал. Ты должен писать, Джон, — продолжала она, заглядывая мне в глаза. — Ты можешь. Таким талантом нельзя пренебрегать.

Но мысль о писательстве казалась сейчас бесплодной, сухой абстракцией.

— А тебе надо снова заняться живописью, — ответил я.

— Я обязательно попробую, милый!

— Нам обоим нужно что-то в этом роде, — сказал я, и беспричинное дурное предчувствие шевельнулось в душе.

— Почему «нужно»? — переспросила Глэдис. — Потому что настоящих фермеров из нас не получится? Я уже пыталась представить тебя фермером.

— Мы едем домой вовсе не затем, чтобы стать фермерами.

— Но ведь поместье на реке Лей — это ферма, разве нет?

— Не совсем.

— Тогда что?

— Это моя *алия*, Глэдис, а со временем она станет и твоей.

— Неплохо бы иметь хороший островитянско-английский словарь! — воскликнула Глэдис.

— Каждый должен сам давать определения вещам... если определения вообще нужны.

Рука Глэдис лежала в моей. Мне хотелось до боли стиснуть ее пальцы.

— Кто-то идет, — быстро сказала она, отдернув руку... — Я приехала в Островитянию, так что об этом не беспокойся.

— Ты приехала жить со мной, а не затем, чтобы кем-то стать.

— Если нам это не понравится, можно попробовать что-нибудь еще. Не обязательно же быть фермерами.

Виски у меня сжало — я снова почувствовал неловкость.

Понемногу на каменной пристани собирались ждущие парома верховые. Паром причалил. Люди, ехавшие из города, сошли на берег, а мы заняли их место. Глэдис стояла рядом со мной, за ней, опустив головы, — обе наши лошади.

— Ты был прав, — сказала Глэдис. — Никто не обращает внимания на мой вид. А ты заметил: когда вон та женщина спускалась с лошади, юбка у нее поднялась выше колен!

— Здешние женщины не боятся, если кто-то увидит их колени.

— Похоже, им это даже нравится.

— Они совершенно об этом не думают, во всяком случае не больше, чем американки о том, что могут увидеть их руки.

— Но это разные вещи!

И опять мне стало неловко.

— К виду коленей ты привыкнешь, — сказал я.

— Я? Да я и не думала об этом.

— Если ты про здешних мужчин, то они не считают вид женских коленей неприличным.

— Интересно, смогу ли я когда-нибудь...

— Мне твои колени уже удалось увидеть.

— Но теперь я принадлежу тебе, — ласково сказала Глэдис, и у меня не хватило духу спорить дальше.

— У тебя очень красивые колени, — сказал я, — не слишком круглые и соразмерные.

— Неужели женщину можно больше любить только оттого, что тебе одному принадлежит ее тело?

— Ее любят за то, что она такая, какая есть, и за ее чувства.

— Значит, ты не против?

— Глэдис, я не против всего того, что для тебя естественно, даже если тебе вздумается показывать всю себя.

— Правда?

— Правда — если за тем, что ты делаешь, стоят не просто чувства, но чувства Глэдис.

Она слегка вздохнула, с удивлением и несогласием.

— Я чувствую, что принадлежу тебе, — сказала она, — но иногда ты словно хочешь оттолкнуть меня.

— Нет... я хочу, чтобы ты сама пришла ко мне.

— Кажется, в тебе опять заговорил островитянин!

Я не ответил и задумался. Доринг был уже совсем близко.

— Вон там Дворец, где мы остановимся, — сказал я.

Глэдис взглянула в ту сторону, куда я указывал, и не смогла сдержать возгласа изумления при виде квадратной формы здания, возвышавшегося над террасами садов, спускавшихся к каменной набережной. Верхняя часть его была озарена солнцем, нижние этажи уже погрузились в тень.

— Как красиво, Джон! — воскликнула Глэдис. — Никогда не видела ничего подобного!

Я взял ее за руку, и она благодарно и покорно прильнула ко мне.

Мост, крутой аркой изогнувшийся над каналом, ведущим к набережной, по словам Глэдис, напоминал венецианские. Я показал место, где Дорн XVII отражал атаки португальцев, и сказал, что, вполне вероятно, на нем была тогда та самая кольчуга, с которой сняли обручальное кольцо. Сев на лошадей, мы проехали по узким извилистым улочкам, местами поднимаясь по отлогим ступеням, и это напомнило Глэдис городок Кловелли в Квебеке.

Дворецкий провел нас в комнату, где я уже не раз останавливался; окна ее выходили на ту северо-восточную оконечность Острова, что так напоминала нос корабля, а дальше виднелась река с невысокими зелеными берегами и плодородные равнины.

Глэдис опустила в кресло и удивленно, словно только что заметив это, сказала, что очень устала.

— Все такое новое и необычное, а ведь я здесь всего лишь сутки!

До ужина оставалось еще больше двух часов: сегодня его подавали позже, потому что Исла Дорн должен был прибыть на корабле.

— А ты не устал? — спросила Глэдис. Я не знал, что отвечать, — физической усталости я не чувствовал, но в мыслях царило смятение, которое я хорошо знал по американским воспоминаниям.

— Нет, — ответил я. — Скажи, ты так устала, что не можешь любить меня?

— Разве это возможно? — ответила Глэдис.

И я подошел к ней и обнял ее. Пристально глядя в ее глаза, я прочитал в них усталость, беспокойство, смятение и страх, словно она столкнулась с чем-то ей непонятным, но притягательным, загадочным и любимым. Мне будто на мгновение приоткрылись ее смятенные мысли, и я понял, что больше всего сейчас ей нужен покой и моя счастливейшая обязанность состоит в том, чтобы подарить его ей. Но в то же время во мне словно билось и жило другое, второе «я», которому хотелось, позабыв о желаниях Глэдис, смять, зацеловать и силой овладеть этим покорным телом.

Ощущая внутреннюю раздвоенность, я понял, что надо сделать выбор, и выбрал то, что, как мне казалось, будет лучше для Глэдис, — постаравшись вложить в свои поцелуи всю свою нежность, усмирить свое желание так, чтобы любовь выразилась в тихой ласке, и мало-помалу напряженное выражение покинуло ее лицо. Дорогое и прекрасное, оно дышало покоем... И этот покой мягкой волною вернулся ко мне, как будто, воцарившись в душе и чувствах Глэдис, он завладел и моим существом...

Сумерки в комнате ступились, но глаза Глэдис блестели по-прежнему. Слова исчезли, за нас говорила наша любовь. Переплетенные руки, нежная тяжесть ее тела, редкие поцелуи, — время струилось тихо, как глубокая река...

Но всему приходит конец. Я развел огонь в очаге и — так попросила Глэдис — зажег все свечи. Она не сказала почему, но ей хотелось, чтобы в комнате было много света, и еще она попросила, чтобы я не смотрел, как она одевается. Я сел перед очагом, глядя на огонь, слыша сзади шаги Глэдис, шуршание ее одежды и думая, почему она не захотела, чтобы я на нее смотрел.

— Джон, — сказала она наконец. — Как я, по-твоему, выгляжу?

На ней были ее коричневые туфли, но к ним добавились желто-коричневые чулки, подвернутые у колен, короткая темно-коричневая юбка, длиннополая куртка того же цвета и зеленая льняная блузка с широкими лацканами и зелеными завернутыми у запястий манжетами.

— Настоящая островитянка, — сказал я, и действительно, она выглядела сейчас более естественной, фигура ее казалась более изящной в короткой юбке, не закрывающей ноги.

— Блузку, юбку и куртку дала мне Некка. Это ее. Она дала мне их поносить и даже хотела подарить совсем. А туфли и чулки — мои.

Она приподняла юбку, чтобы разглядеть свои ноги, потом посмотрела на меня:

— Как я тебе нравлюсь?

— Тебе идет, — ответил я, впрочем тут же испугавшись, не подумает ли Глэдис, что я не одобряю вещи, которая она выбрала сама, когда ехала в Островитянию. — Все твои платья тебе к лицу, ты просто очаровательна.

Она явно ждала не того ответа и теперь вопросительно глядела на меня.

— Некка сказала, что цвет не подходит. Она удивилась, когда я захотела взять блузку и остальное... А тебе как кажется?

Глубокий коричневый цвет куртки и бледно-зеленая блузка оттеняли белизну кожи, а волосы Глэдис казались почти черными. Возможно, Некка имела в виду именно это... Но все эти недостатки искупались тем, насколько проще и естественней стал весь облик Глэдис.

— Я решила, тебе будет приятно увидеть меня островитянкой, — сказала она не совсем уверенно. Я не смог сразу найти правильные слова, чтобы ей ответить. Молчание затянулось, и она продолжала: — Но конечно, если получилось плохо...

— Этот наряд очень идет к твоей фигуре.

— Моей фигуре?

— Да.

Она вспыхнула.

— Цвет тоже подходит, — сказал я, улучив момент, когда мои слова прозвучали бы искренне.

— Некка сказала, что ей очень нравится цвет того платья, в котором я была утром. Она посоветовала только укоротить юбку и надеть темно-зеленую блузку.

— Носи те платья, которые ты привезла.

— Они тебе вправду нравятся?

— Ах, Глэдис, и они, и ты в них.

— Что ж, так даже удобнее... Хочешь, я выйду в этом наряде к ужину?

— Да.

— Ты уверен? Если тебе нравится, то все другое для меня ничего не значит.

— Совершенно уверен.

— Несмотря на мои голые колени?

— Да, Глэдис.

— Мне хочется сделать тебе приятное.

— Ты и так очень хороша... Поверь мне!

Она слабо вздохнула. И все-таки она не сказала всего.

Ее костюм показался лорду Дорну и еще двум мужчинам — то ли его помощникам, то ли секретарям, — присутствовавшим за ужином, столь естественным, что они явно не обратили на него особого внимания, да и сама Глэдис позабыла о своих голых коленях, хотя рука ее раз или два непроизвольно тянулась одернуть юбку.

Наутро облака серой пеленой затянули небо, то и дело принимался лить сильный дождь. Холодные, насквозь продуваемые ветром улицы Доринга уже не напоминали солнечную Венецию. Глэдис была не готова к такой перемене погоды, и, когда мы отправились к ткачу, о котором говорила Некка, ей пришлось надеть мой плащ с капюшоном. Ткач жил в Бекни, и мы пошли кружным путем, останавливаясь, чтобы взглянуть на каналы, реку, суда, набережную и покрытые резьбой фасады домов, — все это было непривычно и ново для Глэдис.

Мы провели у ткача два часа — счастливых, хотя, впрочем, и обошедшихся нам недешево, — заказав плащ с капюшоном, несколько шерстяных и льняных платьев и нижнее белье. Он показал нам имевшиеся у него ткани, а узнав, что Глэдис — иностранка и не вполне уверена в «своих цветах», ненавязчиво посоветовал ей, что лучше выбрать, и обещал выкрасить новые ткани именно в эти цвета.

— Я учту, — сказал он, — что вы еще посмуглеете.

На обратном пути Глэдис спросила, что он, по моему мнению, имел в виду.

— Он хотел сказать, что ты будешь чаще бывать на свежем воздухе.

— По-нят-но, — протянула Глэдис. — Жена фермера!

— Влюбленная-в-алию-Ланга, — ответил я на островитянском.

Я повел Глэдис через Рыбачий городок, на верфях которого теснились корабли и лодки, вдоль волнореза, по которому я тянул когда-то «Болотную Утку», через Каменный остров и мост, под которым мы проезжали накануне.

Глэдис шла держа меня за руку, жадно разглядывая все кругом, и казалась совершенно счастливой.

— Значит, вот он, наш медовый месяц, правда? — спросила она. — И у меня будет новое платье... хотя оно и дорогое, верно?

Следующего дня я ожидал с нетерпением и, поскольку нам предстояло провести немало времени в дороге, предложил хорошенько отдохнуть после обеда и пораньше лечь спать. Мне хотелось, чтобы, когда мы приедем в усадьбу, Глэдис была по возможности бодрой и свежей. Я жаждал этого момента, поскольку он должен был стать началом, но и боялся его как решающего испытания. Я не знал, что стану делать, если Глэдис будет разочарована. Ее слова о том, что, если нам не понравится сельская жизнь, мы можем уехать из усадьбы, звучали нестерпимо. В отчаянии представлял я, какой бесцветной станет моя жизнь, сколь мало пользы смогу я принести себе и Глэдис, как буду зависеть от того, что она, женщина, сможет дать мне, и как мало останется на мою долю настоящей работы, занимаясь которой человек мужает.

Дождь хлестал в окна, и тихий уют комнаты с горящим в ней очагом вполне устраивал

Глэдис. Ей было приятно отдохнуть, лежа в постели и читая книги, которые я принес из библиотеки. Она попросила, чтобы я сел рядом и время от времени объяснял ей значение какого-нибудь островитянского слова. Она не догадывалась о моих чувствах и казалась довольной и умиротворенной. Я же завидовал ее спокойствию, любуясь на нее со стороны, и с радостью ухаживал за ней; и все же мне не хотелось, чтобы мы любили друг друга, пока не окажемся у себя дома, на своей земле, иначе такая любовь не принесет нам покоя, слишком далеки будем мы друг от друга душой. Однако, как и прежде, ее безмятежность сообщилась мне. Так мирно, за чтением и отрывочными разговорами, провели мы несколько счастливых часов, а перед самым ужином вышли ненадолго прогуляться по дождливым, ветреным улицам.

Было еще темно, когда я проснулся, но по слабому свечению в воздухе понял, что рассвет близко. Я встал и зажег свечу. Глэдис спала, неподвижно свернувшись под одеялом, волосы разметались, так что лица совсем не было видно. Мне не хотелось будить ее, возвращать к яви из тех мирных, тихих глубин, в которые погрузился ее милый, неугомонный дух. Я знал, что люблю ее и — по-островитянски это или нет — готов предпочесть любовь к ней моей *алии*; но в то же время я твердо решил бросить якорь в поместье на реке Лей и никогда не покидать его, разве что поражение окажется неизбежным.

Нагнувшись над Глэдис, я осторожно коснулся ее плеча и вполголоса произнес ее имя — так, чтобы она плавно выплыла из водоворота сновидений. Наконец она медленно повернулась ко мне. Сквозь пряди волос я увидел еще сонные, мягкие губы, не успевшие принять осмысленного выражения. Я поцеловал ее, и она обвила руками мою шею. Сладостное, нежное тепло исходило от нее.

— Который час? — спросила она.

— Скоро рассвет, пора ехать.

Она привлекла меня к себе, и я не стал противиться. Мы растворились друг в друге, окружающий мир перестал существовать, каждый любил щедро, без меры даря и получая, и ни единая мысль не примешивалась к нашему наслаждению.

Потом она ходила по комнате, одеваясь и укладываясь, растерянная, почти подавленная, открывая в себе то, о чем раньше могла лишь догадываться.

— Я и не думала, что так люблю тебя, — сказала она, — и я рада, что мы едем в усадьбу сегодня.

Капли дождя летели нам в лицо из темноты, когда мы вели лошадей по скользким ступеням вниз, к набережной; свет резких уличных фонарей отражался в мокрых плитах мостовой. Первый паром собирался отчаливать. Поднявшись на борт, мы привязали лошадей и укрылись от дождя в люке на корме, где уже сгрудилась небольшая кучка людей. У меня плаща не было, и Глэдис заботливо укрыла нас обоих, насколько хватало, полами своего, и мы сели тесно прижавшись друг к другу.

Паром тяжело отвалил от причала. Сидевший рядом со мной мужчина, лица которого я не мог различить, сказал:

— Гартон из Вантри, недалеко от Севина.

— Ланг с реки Лей, — ответил я.

— Гладиса, — раздался совсем близко еще один голос.

Я сжал руку Глэдис.

— Ланг из ущелья Ваба?

— Да, я тоже был вместе с Доном.

— Мы завидуем и благодарны вам, — произнес мужчина. — Вы не островитянин?

— Теперь — да. Я купил поместье у Дорнов.

— Собираетесь жить там?

— Да, — ответил я, — но Гладиса всего три дня как приехала и еще не видела усадьбы.

— Добро пожаловать к нам, — сказал Гартон, обращаясь к Глэдис. — Земля на реке Лей плодородная, и места очень красивые.

— Спасибо, — ответила Глэдис не совсем уверенно. — Я жду не дождусь, когда наконец увижу нашу усадьбу.

Паром вошел в реку. Здесь дул северо-западный ветер и ощущалась близость моря. Мы услышали, как беспокойно переступают на привязи лошади, и я пошел взглянуть на наших, оставив Глэдис в укрытии, а сам постоял рядом с лошадьми, пока волнение не улеглось. Бледный свет с востока стал разливаясь по воде, и когда я вернулся к люку, он уже не казался темной ямой. Пятеро сидевших внизу человек тоже уже не казались сплошным темным пятном, хотя лица были еще смутно различимы.

Гартон рассказывал Глэдис о родных краях.

Когда мы достигли северного берега, неяркий дневной свет брезжил в воздухе. Восхода мы не увидели: слишком плотной была облачная пелена, застилавшая небо на востоке, но густые клубы облаков уже не сливались в мутно-дождливую завесу.

Мы сошли на берег, и я расплатился с паромщиком из своего быстро уменьшавшегося запаса наличности. Прежде чем вполне ощутить себя благородным и независимым землевладельцем, предстояло еще собрать урожай, отвезти примерно пятую его часть в Тэн, уплатить налоги и обзавестись кредитом. В отличие от большинства островитян, у нас с Глэдис не было никаких сбережений на черный день. И даже если, оказавшись без гроша в кармане, мы не будем голодать и у нас всегда будет крыша над головой, нам придется нелегко: мы не сможем путешествовать, не сможем пополнить гардероб, купить новые книги, произвести какие бы то ни было улучшения в хозяйстве.

Мы сели на лошадей; Гартон, ехавший один, составил нам компанию. Глэдис впервые увидела, как выглядит Главная дорога, но сказала, что она мало чем отличается от обычного американского проселка.

— Но ей уже девятьсот лет! — заявил я.

— Римские дороги в Европе еще древнее, — ответила Глэдис. — А эта выглядит совсем новой, ухоженной и очень по-домашнему.

— Здесь и есть дом.

— Точнее — будет. Я не могу называть домом то, чего еще не видела.

Чувство смешанной со страхом тревоги снова шевельнулось во мне, но память о нашей близости и согласии была еще свежа, и все мое существо отторгало дурные мысли.

Перекусить мы решили на постоялом дворе в Тори. Дождь прекратился, и дувший теперь с юга ветер разогнал облака, в разрывах между которыми проступало голубое небо. Гартон, темноволосый, симпатичный мужчина лет сорока, по-прежнему ехал с нами, и, похоже, ему приглянулась Глэдис: почти все время он держался рядом с ней и постоянно рассказывал разные разности, многие из которых я не мог расслышать. Я был уверен, что она не всегда понимает его, но не уверен, что он об этом догадывается — так ловко ей удавалось перехватывать концы фраз. То, что островитянин увлекся ею и что она смогла заинтересовать его, открывало перед ней приятные перспективы, и я использовал любую возможность, чтобы дать ей почувствовать свою власть, время от времени подсказывая нужное слово и стараясь не слишком вмешиваться в беседу, но и не проявляя явного безразличия.

Через десять миль после Тори наши дороги разошлись: нам надо было сворачивать, Гартон же продолжал путь по большаку. Он попросил нас навестить его в Вантри, в доме его отца. Скользя взглядом по Глэдис, он поехал дальше своим путем. Мы повернули на дорогу,

которая вела к поместью со стороны Дорингского леса.

— Прекрасно! — воскликнула Глэдис. — Как тебе это нравится? — Довольное лицо ее выражало удивление и одновременно легкую неуверенность. — Кажется, ему и в самом деле понравилось говорить со мной. Может быть, это оттого, что я не похожа на остальных?

— Островитянам ты понравишься.

— Почему ты так думаешь?

— Твои взгляды...

— Ах, только не это!

— Твои взгляды, твоя искренность, твой ум, твоя прямота и то, что ты для них — человек новый.

— Правда только последнее.

— Получше присмотришься к себе, Глэдис, и ты не будешь так скромничать. Ты очень привлекательна и...

— И вовсе нет!

— Я не единственный, кто может это подтвердить.

— Кто же еще?

— Тот человек, который сделал тебе предложение несколько лет назад, мужчина с парохода, тот, что предлагал тебе остаться в Биакре, Дорн, Гартон...

— Дорн — нет! Он относился ко мне исключительно как к чему-то, что принадлежит тебе.

— Ты уверена? А я не совсем. Он не может относиться к кому-либо как к чьей-то собственности.

— Не согласна, да и другие... они ничего для меня не значат.

— Ты знаешь, что ты привлекательна, Глэдис. Знаешь, как ты умеешь любить и быть любимой.

— Хочешь, чтобы я зазналась?

— Я хочу, чтобы ты поняла и оценила, как ты мила, привлекательна, какая ты вообще.

— Что ж, если тебе так нравится... — вздохнула Глэдис.

— Ах, — сказал я, — пусть это понравится тебе самой, дорогая.

— Неужели тебе не хочется, чтобы я была скромнее?

— Я не хочу, чтобы ты слишком низко себя ставила.

— Но я и не ставлю себя низко! Ты специально делаешь мне комплименты или все же критикуешь?

— Я стараюсь помочь тебе освободиться.

— Разве я выгляжу несвободной?

— Не до конца.

— Я не хочу быть свободной! Я люблю тебя и хочу быть твоей!

— Мне приятно это слышать, если ты имеешь в виду, что тебе нравится любить меня... но ни я не принадлежу тебе, ни ты мне.

— Я принадлежу тебе, — ответила Глэдис чуточку обиженно, — иначе бы меня здесь не было. Разве принадлежать тебе — это не по-островитянки?

— Женщина принадлежит мужчине лишь настолько, насколько он — ее опора. А в других отношениях она вполне самостоятельна.

— Я чувствую, что принадлежу тебе. И не говори, что это не так.

— Не буду! Ты — моя. Я стану твоей опорой, а ты должна мне повиноваться.

— Клятву повиновения я, пожалуй, давать не буду, — рассмеялась Глэдис... Тут ее мысли вновь вернулись к Гартону, и она рассказала мне все, что он говорил о себе, о поместье Гартонов, о том, как прекрасна их провинция, и о белоснежном чуде — горе Омоа,

возвышавшейся над долиной. Ее позабавило, что он называл себя «второй-сын-Гартона», но после его рассказов ей захотелось взглянуть на земли провинции Вантри, на горы и долины северо-западных провинций. Потом, словно признаваясь в чем-то особенном, она добавила, что Гартон не женат.

— Один из двух братьев часто остается холостяком, — сказал я.

Глэдис поинтересовалась почему, и я объяснил, что это происходит из-за бессознательного нежелания перенаселять поместье. Ей показалось, что в этом есть несправедливость по отношению к тем, кто вынужден вести холостую жизнь.

— Отчасти они находят утешение в заботе о своих племянниках и племянницах, которые здесь почти как родные дети и значат больше, чем в Америке.

— Но брак — не только в детях, — возразила Глэдис.

— Иногда такие мужчины заводят любовницу.

Глэдис посерьезнела и вдруг в упор взглянула на меня; щеки ее горели. Я понял, что она думает о Гартоне.

— Ты осуждаешь их? — спросил я.

— О нет, — быстро ответила Глэдис.

Я задумался — какие мысли роились сейчас в ее голове и даже заставили покраснеть?

Дорога вилась среди полей, рощ и пастбищ, скорее подстраиваясь к их очертаниям, чем меняя их. До этого я всего лишь раз ездил этим путем и, боясь заблудиться, внимательно следил за дорогой; Глэдис, чувствуя это, молча ехала сзади, сосредоточенно глядя по сторонам.

Было еще рано, а мы находились уже на полпути к усадьбе. Клочковатые облака отнесло далеко к востоку, показалось солнце. Воздух был чист и свеж. Когда мы будем на месте, нас встретит приветливая погода, похожая на ясный осенний день где-нибудь в Америке. Глэдис увидит усадьбу в ее лучшую пору — ранним вечером, в окружении полыхающих желтизной деревьев. Я предвкушал этот прекрасный момент, желая, чтобы он поскорее настал и можно было наконец приступить к мирной, дарующей уверенность работе — ради себя и ради Глэдис, хотя и побаивался, не будет ли она разочарована.

Сейчас вид у нее был счастливый, обворожительный; то въезжая в неровную тень придорожных деревьев, то вновь выезжая на солнце, она улыбалась всякий раз, как глаза ее встречались с моими. Дорога часто походила на аллею, лошади, переступая, шуршали опавшими листьями; изгороди и каменные стены подступали близко к обочине, а в промежутках между ними виднелись сжатые поля и перелески.

— Совсем как дома... или как в Англии, — сказала Глэдис. — Джон, я смогу полюбить все это.

Сердце мое радостно забилося.

Дорингский лес был прекрасен. Деревья стояли охваченные желтым и багряным пламенем. Мы остановились передохнуть, напоить лошадей и перекусить — тем, что захватили из Дворца.

Подложив руки под голову, Глэдис легла на плащ, глядя на верхушки полуобнаженных деревьев. Все шло так, как и должно было; течение времени стало неощутимо.

— А я почти и не устала, — сказала Глэдис.

— До усадьбы не больше десяти миль, меньше двух часов.

— Так близко? — рассеянно спросила Глэдис.

— Поспи, — ответил я. Она отрицательно покачала головой и посмотрела на меня снизу вверх.

— Я не могу... здесь.

— Помнишь, как ты спала на берегу, в Нантакете?

Она уклончиво улыбнулась:

— Мне было тогда стыдно, а потом... потом я не спала всю ночь. Когда я увидела, что ты понял, что я люблю тебя... Это было так неожиданно, по-настоящему, так чудесно. Я не могла уснуть всю ночь. — Ее ресницы вздрогнули и опустились.

Я лег рядом и, взяв ее руку в свою, почувствовал, как несет груз моего тела земля — неподатливая, а потому и самая прочная опора.

— Ты спала?

— Кажется, — ответила Глэдис все с той же — наполовину искренней, наполовину принужденной — интонацией. Она поднялась не совсем ловким, усталым движением, но с явным желанием скорее ехать дальше. Мы вновь сели на лошадей и тронулись в путь.

Дорога, которая легко прослеживалась, пока мы ехали окраиной леса, снова стала плутать среди фермерских наделов. Я ехал впереди и, напрягая зрение и память, старался припомнить, где нужно сворачивать, и сверял то, что видел, с тем, что, как мне казалось, должно было быть. Всякий раз, оглянувшись назад, я видел Глэдис, и было радостно ехать, отыскивая путь и зная, что, стоит обернуться, я увижу ее... Казалось, что иначе и быть не может. Однако она сделала выбор по своей воле и улыбалась мне в ответ, когда я, обернувшись, ловил ее взгляд.

Ветер стих, небо было ясным, синим; тени стали длиннее, и, сверкая каплями только что прошедшего дождя, зелень луговых трав, стволы деревьев и тонкие веточки с дрожащими на них багряными и желтыми листьями сияли яркими красками. Молчаливо ехавшая сзади — сквозь эту тишину и застывший покой, — Глэдис тоже казалась ослепительно ярким видением.

Мы проезжали мимо поместий, похожих на наше: здесь не было крутых, обрывистых склонов, невысокие, мягко очерченные холмы закрывали обзор, но вид местности поражал богатством и разнообразием. Сердце мое с трудом выдерживало наплыв новых впечатлений.

— Уже близко? — окликнул меня усталый, но радостный голос.

— Всего несколько миль, — ответил я, хотя про себя и решил не говорить ей, пока мы не подъедем к самой усадьбе. Пусть увидит ее, еще не зная, что мы наконец приехали, и, стряхнув усталость, поймет, что мы — дома.

И все же, когда мы оказались на знакомой дороге, я придержал лошадь, чтобы ехать рядом.

— Теперь мы не собьемся с пути? — спросила Глэдис.

— Нет, теперь нет.

— Значит, мы действительно близко.

— Да, недалеко...

— Джон! — воскликнула Глэдис. — Ты так побледнел! Что случилось?

— Осталось около мили.

Глэдис пристально глядела на меня, но я был не в силах вынести ее взгляд.

— Ты и вправду так волнуешься? — спросила она, словно только что сделала великое открытие.

— Больше всего — из-за тебя, — ответил я.

— Не обращай внимания, дорогой, мало ли какие у меня могут быть сомнения.

Мы ехали вдоль границы поместья Аднеров; дорога, идущая между каменных изгородей и местами почти совсем терявшаяся в траве, постепенно спускалась к скошенным лугам. Чувствуя, как больно забилося в груди сердце, я увидел ивы, почти совсем облетевшие и еще больше пожелтевшие с тех пор, как я видел их в последний раз, серые стволы и пурпурные листья буков, крышу и верхние окна нашего дома. Но Глэдис смотрела на меня и не замечала всего этого.

Мы подъехали к мосту, тени падали на текущую под ним прохладную воду. Я натянул

поводья и пропустил Глэдис вперед. И вот лошадь ее ступила на землю нашего поместья. Дом был виден во всю длину; стоя одиноко, он немного возвышался над нами — каменные колонны, наполовину освещенные ярким солнцем, наполовину скрывшиеся в густой тени. Весь фасад был словно покрыт тонкой солнечной позолотой.

Дорога поворачивала к конюшням и амбарам. Я свернул в траву, Глэдис за мной, мы подъехали к дому, и я остановился.

— Это он?.. — спросила Глэдис.

Я не в силах был отвечать. Наши взгляды встретились, она робко улыбнулась.

— Это он! — повторила она уверенно. — Это он, и я чувствую, что полюблю его. — Однако она даже не огляделась вокруг. Я спрыгнул с лошади, привязал ее и, подойдя к Глэдис, помог ей, пока она тяжело спускалась на землю. Вид у нее был усталый. Она не сводила с меня глаз. Привязав лошадь, я взял Глэдис за руку.

— Либо ты сам ужасно переживаешь, — сказала она, — либо беспокоишься обо мне. Не надо, Джон.

Голос Глэдис пресекся. Я обнял ее и повернул к себе. Она приникла ко мне и замерла. Кругом было необычайно тихо, вблизи не видно ни одного дома — только деревья в своем осеннем наряде, синее небо, зелень травы и поблескивающая внизу река.

Душа моя внезапно наполнилась ощущением покоя и вечности.

— Я буду любить это, — сказала Глэдис. — И я люблю тебя.

— Я люблю тебя больше всего на свете, — ответил я, и мне было больно произносить эти слова. Потом я за руку подвел Глэдис к двери, грубой, тяжелой. Необработанная дубовая поверхность ее была наполовину залита солнцем.

Глэдис перевела дыхание и рассмеялась:

— Мой дом! У меня никогда не было своего дома!

Зала с ее скудной обстановкой выглядела пустой и скромной, однако каменный пол и каменная лестница без перил были чисто выметены. Мы вошли в расположенную слева гостиную с тремя низкими, глубокими оконными проемами; здесь мебели было побольше, на полу лежал ковер. На каменной плите над очагом вырезана была сцена смерти Дона и моего счастливого спасения от врагов. Я подвел Глэдис к ней...

— Похож на тебя! — воскликнула она звонко.

— Это и есть я.

— А это, наверное... Дон. — Она обернулась ко мне, в глазах у нее стояли слезы. — Сама не понимаю, почему это так меня тронуло... Я и позабыла... Ты рассказывал, но я... я не ожидала увидеть это здесь. Но это хорошо. И ужасно просто...

— Я хочу, чтобы ты посмотрела свою комнату, — сказал я и крепко взял ее за руку.

— Мою? — переспросила Глэдис. — А почему не нашу?

— Нашу — если пожелаешь.

— Значит, нашу. Да, хочу!

Я повел Глэдис по лестнице вверх. Рука ее спокойно лежала в моей, крепко сжимая мои пальцы, и сердце у меня тоже сжалось.

— Мои сундуки уже привезли! — воскликнула Глэдис, входя в комнату, и действительно, они стояли там, посреди простой, темного дерева островитянской обстановки, пестрея ярлыками гостиниц и паровозных компаний.

Глэдис прошла по комнате, разглядывая ее.

— Ах, Джон, я всегда мечтала о такой простой, непритязательной комнате... а какой чудный медный кувшин... и кровать тоже чудесная... каминные щипцы — ручной работы... а сколько места для моих платьев... Зеркало! — она рассмеялась. — Маленькое, но мне все равно.

Глэдис взглянула на свое отражение:

— Ну и вид! — Она обернулась ко мне: — Впрочем, и ты, кажется, устал не меньше.

— Теперь-то мы сможем отдохнуть.

Она откинула голову:

— Я думала, я красивее.

— Ах, Глэдис!

Красивая она или нет, было сейчас не важно. Она была самой собою, и я хотел ее.

— Пойдем, я покажу тебе мастерскую... правда, кроме мольберта да пары стульев, там ничего нет.

Мы прошли в мастерскую, смежную с комнатой Глэдис.

— Но здесь не только это! — воскликнула она.

Ансель, а может быть, и Станея принесла откуда-то ковер и скамью. В придачу к ним появился новенький, недавно сколоченный стол; в очаге были сложены дрова.

— Окна выходят на юг, — сказал я.

Глэдис села перед мольбертом, сосредоточенно глядя туда, где должен быть натянут холст.

— Тут все твои будущие картины, — сказал я, пытаюсь угадать ее мысли.

— Верно. Об этом я как раз думала. Скоро я начну работать. — Голос ее звучал решительно и целеустремленно. — Тот барельеф над очагом сделан так просто. Даже грубо, но ужасно здорово. Похоже на работу дилетанта, вроде меня... Интересно...

Она бросила на меня быстрый взгляд. Лицо ее оживилось, отражая работу мысли.

— Здесь профессионализм измеряется другими мерками, хотя и они могут обескуражить любителя, — сказал я, вспомнив музей Метрополитен и то, какими чрезмерно умозрительными и надуманными показались мне выставленные в нем произведения.

— Но какой рельеф!

— Ты можешь просто делать то, что нравится тебе самой и твоим друзьям-непрофессионалам.

Лицо Глэдис озарилось радостной, довольной улыбкой. Глядя на это милое, юное лицо, на мягкие алые губы, на устремленные на меня снизу вверх живые, яркие и ясные глаза, я почувствовал новый прилив желания.

— И вот еще над чем следует подумать, — продолжал я. — Живопись на холсте островитянам неизвестна. Ты можешь разработать собственную манеру. Времени предостаточно. Ты можешь открыть островитянам нечто важное, то, чего они до сих пор не знали.

Взгляд ее, устремленный в одну точку, застыл. Губы полуоткрылись.

— Джон, ты и правда считаешь...

— Об этом стоит подумать.

— Но ты! — воскликнула Глэдис. — У тебя ведь тоже есть талант. Ты можешь писать. Не становись фермером.

— Надеюсь, не стану.

В каждом из нас словно пробудились какие-то силы, и каждый чувствовал это в себе и в другом.

— Ты просто подговариваешь меня начать немедленно! — воскликнула Глэдис и, встав, прошла в комнату, которая отныне была нашей, как будто собираясь обдумать то, что только что сказала. Я последовал за ней и увидел, что она стоит перед очагом.

— Я чувствую, что буду счастлива, — задумчиво произнесла она. — Как здесь тихо...

Умом я понимал, что утомлен и Глэдис устала тоже, но громче, чем голос рассудка, звучал во мне какой-то иной, более правдивый голос. Сомнений быть не могло — время настало.

— Я люблю, я хочу тебя, — сказал я.

Глэдис стояла не шевельнувшись. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, и на мгновение оно показалось мне незнакомым. Желание подступило неудержимой волной, происходящее стало похоже на сон.

— Никто не войдет? — холодно спросила Глэдис.

— Никто не знает, что мы вернулись домой.

— Можно разжечь огонь? Мне что-то зябко.

Взяв с накрытого скатертью стола кремень и огниво, встал на колени перед очагом.

— Я люблю тебя за то, что ты сказал это именно так... Погоди, я разденусь, — сказала Глэдис.

Перенеся наверх дорожные мешки, я отвел лошадей на конюшню и сообщил Стане о нашем приезде. Глэдис надела вечернее платье, которого я еще не видел, темно-синее, расшитое красным и желтым. Наш праздничный ужин состоял из жаркого, зелени, хлеба, яблок и красного вина.

Потом мы прошли в гостиную, и я растопил очаг, но в комнате было по-прежнему холодно. Мы поудобнее устроились на придвинутой к огню скамье.

Неспешно текли вечерние часы. Говорить было почти не о чем, да и не хотелось — мы были еще целиком во власти чар той встречи, что полностью поглотила нас обоих, когда каждый давал и брал не скупясь, счастливый смех исторгался из самого сердца, а наслаждение похоже было на глубокий, ничем не нарушаемый сон...

— Завтра, — начала было Глэдис, — завтра я должна...

— Давай подумаем о завтра — завтра.

— Тогда поцелуй меня.

Я поцеловал ее, и мы легли спать и мирно уснули в тишине и покое родного дома.

Свежий, прозрачный утренний свет заливал комнату. Я украдкой взглянул на Глэдис, которая не знала, что я уже тоже проснулся. Она лежала на спине, глаза, оттененные черными ресницами, были широко открыты. Глядя на темные перекрытия потолка, она похожа была на радостно замороженного ребенка.

В открытое окно веяло прохладой. В доме и вокруг царила тишина. Возможно, Станея уже пришла, но мы все равно не слышали бы ее через толстые каменные стены и пол.

Заметив, что я проснулся, Глэдис потянулась ко мне и заговорила о том, что счастлива, так, словно хотела уверить меня в этом.

— Я все думала о том, чем могу заняться, Джон. Ведь ты, наверное, почти каждое утро будешь рано уходить из дома.

— Больше всего меня беспокоит сейчас, как мне передать пятую часть выручки за урожай агенту в Тэне, — ответил я. — Половина или треть уйдет на уплату налогов, а остальное мы продадим и только эти деньги сможем расходовать. Через несколько дней предстоит съездить в город — продать зерно, овощи, которые скоро портятся, яблоки, сидр и вино.

— Можно я поеду с тобой?

— Когда я говорю «мы», то имею в виду и тебя. Надеюсь, тебе захочется поехать.

— Обязательно.

— К тому времени вернется Фэк, и ты сможешь взять Грэна (эту лошадь подарил ей Дорн), а ту, что я нанял, мы прихватим тоже. Как только закончим дела, завезем ее обратно в Фаннар.

— Замечательно. А что ты будешь делать сегодня?

— Покажу тебе поместье и представлю Ансея и Станею.

На лице Глэдис появилось робкое, неуверенное выражение.

— Что мне лучше надеть?

— Коричневое прогулочное платье, которое дала тебе Некка.

— Буду островитянкой, — решительно произнесла Глэдис.

После завтрака мы отправились по идущей под уклон дороге в небольшую долину, где жили арендаторы. Спустившись вниз, мы ненадолго остановились. Потом поехали вверх по отлогому склону перед домами, через низкую седловину, с одной стороны которой возвышалась поросшая соснами гряда, а с другой — холм, вершину которого, словно плюмажи, украшали дубы и буки, а кругом раскинулись поля. Дальше дорога вела на север и снова сворачивала к реке Лей, русло которой вплотную подступало к усадьбе в двух местах, поскольку в восточном направлении река поворачивала вправо. Наконец мы достигли северной оконечности наших земель, при этом удалившись от усадьбы на целую милю. Перед нами лежали земли Ранналов; здесь местность делалась более гористой.

На мосту мы снова остановились.

— Мне наше поместье представлялось меньше, — сказала Глэдис.

— Миля в длину и почти полмили в ширину. Я сам его еще недостаточно знаю... Теперь, вместе, мы исследуем каждый уголок, даже самый запущенный, верно, Глэдис?

— Так прекрасно столько времени проводить на воздухе. В Нью-Йорке...

Переглянувшись, мы рассмеялись.

— Нью-Йорк!.. — воскликнула Глэдис. — Где теперь все твои театры, шум, грязь, толкотня, грохот поездов!.. Неужели я и вправду когда-то жила там? Я стала совсем другой! Ты женился на девушке из Нью-Йорка, сможешь ли ты полюбить ее островитянкой?

— Ты останешься прежней.

— Это невозможно, дорогой. Я полностью перевернулась.

— Может быть, ты ищешь себя.

— Хотелось бы мне самой знать, чего я ищу. Я знаю только... — Она умолкла, а затем торопливо продолжала: — Знаю только, что любовь способна очень сильно изменить человека.

— К лучшему?

— Меня — да. Я счастлива... Ну а ты? Что для тебя, Джон, значит то, что я теперь все время рядом и ты можешь... ах, прости, дорогой, любить меня, обладать мною, знать, что я принадлежу тебе?

Я постарался найти нужные слова, но смог вымолвить только:

— Для меня в этом — покой и сила.

— Как это забавно звучит!

— И красота, — добавил я.

— Скажи, ты меня любишь?

— Люблю, — ответил я, чувствуя, что слово это ровным счетом ничего не добавляет к сказанному.

— Остальное мне не важно.

Идя по собственным следам, мы поднялись на Сосновую гряду, откуда Глэдис могла сама, воочию и без всяких объяснений, увидеть общий план нашего и соседних поместий. Холмы Года казались ближе, чем были на самом деле, а в шестидесяти милях вдаль, за долиной Доринга, различимы были белые снежные вершины, невысокие, но отчетливые.

В четверти мили, выше наших владений, виднелось желтое колосающееся поле, где сейчас работал Ансель и остальные. Туда мы и направились сквозь густую сосновую поросль. Наконец Глэдис встретила со всеми, кого мы не смогли застать дома по дороге в усадьбу: с самим стариком Анселем, «Анселем-братом»-Анселем и с молодым Анселем, которому исполнилось двадцать три. Все трое — дед, сын и внук — внешне были одного типа: сухощавые, но крепкие, со сдержанным, благородным выражением лица. Двое старших из троих Стейнов молодого поколения были покряжистее и попроще. Глэдис встретила их с улыбкой, учтиво и серьезно, без малейшего жеманства.

Поприветствовав гостью, все снова принялись за работу, кроме старого Ансея, который завел разговор об отсрочке платежа, о том о сем и наконец обратился ко мне с просьбой помочь сжать и обмолотить зерно с этого последнего поля. Глэдис держалась несколько в стороне, словно наш разговор о хозяйстве ее не касался. Мне хотелось, чтобы она одобрила мое согласие помочь старику и его семье, но она промолчала, и мне пришлось дать согласие только от себя.

Я подъехал к Глэдис, намереваясь рассказать о нашей беседе. Она следила за косарями, которые в ряд продвигались по мягко волнующемуся полю, оставляя за собой волнистые полосы сжатых колосьев.

— Так хочется попробовать! — воскликнула Глэдис.

— Поработать серпом?

— Ах, нет! Передать все это на холсте — желтое поле, синие рубахи жнецов, их мерное движение вперед.

— Попробуй.

Глэдис только горько улыбнулась, но я понял, что задача кажется ей совершенно невыполнимой.

— Попробуй хотя бы набросать, — сказал я, — не обязательно ведь, чтобы сразу получилась готовая картина.

— Я не умею рисовать.

Все остальные доводы были явно бессильны... Я рассказал Глэдис о просьбе Анселя и о том, что согласился помочь ему.

— Ну конечно! — ответила Глэдис. — Тогда я поеду домой?

— Лайя и Лайна скоро принесут обед. А потом вместе с детьми — они уже вернутся из школы — будут подбирать колосья. Если хочешь, можешь к нам присоединиться.

— Надо бы распаковать вещи.

— Как тебе больше нравится. Станея приготовит тебе ленч.

— А чего больше хочется тебе?

— Чтобы ты выбрала сама, одно могу сказать — работа эта довольно приятная.

Глэдис взглянула на меня в замешательстве, и, чтобы помочь ей принять окончательное решение, я сказал:

— По крайней мере останься и перекуси с нами.

— Хорошо. А пока чем мне заняться?

— Помоги Лайе и Лайне.

— Они не будут против?

— Наоборот — только рады.

Постояв с минуту в нерешительности, Глэдис направилась к видневшимся в отдалении домам — медленно уменьшающаяся фигурка, одиноко бредущая по краю поля.

Я взял грабли и двинулся вслед за жнецами. Валки скошенных колосьев лежали ровно и аккуратно, что облегчало мою работу. Скоро я уловил ритм, и движения мои стали механически повторяющимися и однообразными. Работать так было легче и приятней, и я начал вполголоса напевать какие-то незнакомые раньше, сами собой приходящие в голову мелодии...

А скоро и Лайя, Лайна и Глэдис появились в воротах дома на дальнем конце поля — маленькие движущиеся фигурки в ярких платьях. Все, как по условленному знаку отложив серпы, собрались под большим старым дубом. Ветра не было, и, несмотря на осеннюю прохладу, начало пригревать солнце.

Когда все были в сборе, оказалось, что нас десятеро и Глэдис — самая молодая. Каждая из женщин принесла по корзине с мясными рулетами, свежим салатом, ореховыми лепешками, яблоками и большими бутылками с разбавленным водой вином. Мы расположились, кто сидя, кто лежа, под ветвями дуба, ярко желтевшее на солнце поле расстилалось перед нами. Мне слишком часто приходилось уже вот так работать и перекусывать во время работы, поэтому происходящее казалось вполне естественным, и я не задумывался над ним, однако присутствие Глэдис снова навело меня на мысли об общественных взаимоотношениях. Мне было интересно, как она воспринимает этих людей: как англичанка, которая относится к своим работникам и слугам как к существам низшего порядка, достойным лишь того уважения, которое они заслужили; или же, подобно представительнице некоторых других народов, — как к равным, но низшим по положению, каковую разницу следует постоянно подчеркивать либо демократически пренебрегать ею; и я внимательно следил за тем, признаки какого именно отношения проявятся в поведении Глэдис. Ничто, однако, не примешивалось к ее обычной открытой дружелюбности, разве что легкая скованность, которая, впрочем, могла происходить оттого, что ей приходилось постоянно прислушиваться, чтобы понять, о чем идет речь.

Молодой Ансель, полулежа, расположился рядом с нею. До меня доносились отрывки их разговора. Ансель рассказывал Глэдис о том, как все рады, что в усадьбе теперь живут и она наконец-то перестала стоять темной и нежилой. Как приятно, завидев приветливо светящиеся окна, зайти навестить Ланга и Гладису. Теперь все почувствуют себя естественней и легче, а на Анселей и Стейнов можно положиться, как на лучших друзей... Сказав это, он бросил отломленную веточку в спину молодому Стейну, который с добродушной, приветливой

улыбкой поглядывал кругом... К тому же он рад, продолжал Ансель, что теперь в поместье есть еще и его ровесники, кроме сестры... Немножко непривычно, конечно, что из ста пятидесяти тысяч островитянских поместий у них, как еще лишь в двух-трех местах, хозяйева — *танар* — приехали из чужих краев, но Ланг да, пожалуй, и Гладиса ни в чем не отличались от прочих людей.

Произнеся эти слова, он посмотрел вверх, на Глэдис, как бы надеясь, что она словом или взглядом подтвердит его правоту, а может быть, и на большее...

Нет, тот, кто чувствовал себя стоящим ниже или равным, но находящимся в подчинении, никогда не стал бы так говорить со своей хозяйкой. Я заметил, что Глэдис изучает его, но по ее дружелюбным и в то же время ни к чему не обязывающим ответам видел, что у нее и в мыслях не было, что Ансель за ней ухаживает... Однако я услышал, как она назвала ему свой возраст и попробовала подсчитать, когда праздновать свой день рождения по островитянскому календарю.

Ансель смотрел на нее с тем выражением, с каким любой молодой человек смотрит на хорошенькую женщину. Я вспомнил Гартона и даже Дорна. Что-то в Глэдис, несомненно, привлекало мужчин-островитян. Ее можно было назвать симпатичной или, скорее, видной женщиной, со всегда блестящими глазами, оживленным лицом, — такой тип гораздо чаще встречался в Америке, нежели здесь. Она была искренна и пряма в общении, целиком отдавалась разговору, но чувствовалось в ней и нечто скрытое, поскольку образ мыслей ее был все же иным. Ансель был статным и весьма привлекательным юношей. Мысль о том, что он на семь лет моложе — и сейчас это стало очевидно, — больно кольнула меня, и я задумался: так ли уж прочна любовь Глэдис, которая сейчас основывалась лишь на физической и умственной привязанности к некоему Лангу? А островитянские мужчины были зачастую очень привлекательны и умственно, и физически.

Обеденное время закончилось. Мужчины вернулись к работе. Я обернулся к Глэдис: она стояла в нерешительности, не зная, чем теперь заняться, и я предложил ей взять грабли и немного помочь Лайе и Лайне.

— Я действительно здесь нужна? — спросила Глэдис.

— Особой нужды нет, но помочь ты можешь. Да и занятие это приятное.

— Если я не нужна... Может быть, в другой раз... Пожалуй, мне лучше вернуться домой и распаковать вещи... Но послушай, Джон, если ты хочешь, чтобы я осталась...

— Поступай, как тебе хочется.

— Тогда я пойду.

Она уже пошла было прочь, но тут же вернулась:

— Когда тебя ждать?

— Когда стемнеет.

— Значит, к ужину?

— Примерно за час до ужина.

— Ты не против, если... Впрочем, чая все равно нет.

— Попроси Станею приготовить шоколад.

— Ладно. Тогда... до встречи.

В голосе ее мне почудилось разочарование.

Домой я возвращался уже в сумерках. Приятная усталость разлилась по телу. Я заранее предвкушал встречу с Глэдис, такой ласковой и милой, мирную беседу с ней. На кухне Станея поднесла мне чашку шоколада, и я пожалел, что Глэдис не догадалась спуститься.

Поднявшись наверх, я застал ее в комнате: она молча сидела перед горящим очагом, глядя в

огонь. На ней было темно-зеленое шелковое платье, которое делало ее более худощавой и снова похожей на американку. Она сидела безвольно сложив руки, сундуки и чемодан были открыты, и вещи в беспорядке разбросаны вокруг. Я присел рядом, но не решался коснуться ее: проработав весь день, я даже не успел умыться.

— Хорошо, что ты наконец вернулся, — произнесла Глэдис. — Время тянулось ужасно долго... Я уж думала пойти тебя встречать.

— Тогда почему не пошла?

Она ничего не ответила. Когда я вошел, Глэдис встретила меня улыбкой, но теперь снова отвернулась к огню, и я увидел, что на ресницах ее блестят слезы.

— Что случилось? — воскликнул я, схватив ее мягкую, вялую руку.

— Не знаю... Эта тишина меня пугает. Все ходят бесшумно, как призраки.

— Тебе было одиноко?

— Ах, нет... Я просто глупая... В этом доме я чувствую себя как кошка на новом месте. Даже не знаю, кто теперь мой хозяин.

— Мы устроим тебе свой уголок.

— Да, поэтому я и решила посидеть у огня.

— Мы устроим тебе мастерскую. Там тоже будет уютно.

— Здесь мне, пожалуй, уютнее всего.

— Разве тебе не хочется, чтобы у тебя было твое, и только твое место? Эта комната теперь наша, общая.

Глэдис покачала головой, пальцы ее сжались. Она повернула ко мне искаженное болью лицо.

— Глэдис, я почти весь день работал, вспотел и весь в земле. А ты такая чистая, свежая.

— Думаешь, я специально прихорашивалась?

Я усадил ее к себе на колени и крепко обнял.

— Я очень счастлива, — сказала она, прижавшись к моему плечу и тихо всхлипывая. Горючие слезы текли по ее щекам. — Здесь все такое призрачное, Джон, даже ты... все, кроме того, что ты обнимаешь меня.

Еще крепче прижав ее к себе, я осторожно прикоснулся губами к ее нежной шее...

Немного погодя она снова села прямо, поцеловала меня и пошла вытереть слезы.

— Ты действуешь на меня успокаивающе, — сказала она, вернувшись. — Мама всегда говорила, что некоторым женщинам слезы к лицу, а у меня, когда я плачу, вид ужасный... А откуда в Островитянии берут горячую воду?

— На кухне в кувшинах обязательно должна быть согретая вода. Сейчас принесу.

— Со временем я тоже всему научусь. Вообще-то я мылась холодной, а теперь только хочу умыться глаза. Я ведь очень редко плачу, Джон.

Я принес из кухни два больших умывальных кувшина для нас обоих. Глэдис раскладывала вещи, которые достала из сундука, но, умывшись, снова села перед очагом, положив на колени раскрытую книгу, но даже не глядя в нее.

Приготовив чистую одежду, я выдвинул из-под шкафа медную ванну, налил туда горячей воды и стал раздеваться...

— Можно я погляжу на тебя? — раздался голос Глэдис.

— Конечно... даже не спрашивай.

— Я не знала.

Бросив на нее быстрый взгляд, я увидел в ее глазах удивленное и веселое выражение. По щекам разлился румянец.

— У тебя красивое тело, — сказала она наконец, отворачиваясь. — Ах, мне подумалось...

— Что, Глэдис?

— Такое совершенное, такое любимое! — Она наклонилась и закрыла лицо руками. — Мне так хочется научиться рисовать, и чтобы при этом люди на моих рисунках не выглядели нелепо! Если ты заглянешь в мастерскую... Я собиралась не показывать тебе, но передумала.

Одевшись, я тут же прошел в мастерскую. Глэдис вытащила из сундуков все свои рабочие принадлежности и разложила на полу и стопкой на столе. Эскизы маслом стояли, прислоненные к скамье и вдоль стен, в ожидании, когда их можно будет развесить. Падавший от свечи свет делал краски приглушеннее. На мольберте стоял натянутый на подрамник холст. На нем был углем набросан вид из окна. И только в одном месте был положен белый мазок. Но повсюду виднелись резкие черные штрихи — словно ребенок с досады исчиркал неудавшийся рисунок. В воздухе приятно пахло красками и скипидаром, а на полу лежала палитра с червячками выдавленной краски.

Я вернулся в спальню. Глэдис по-прежнему, застыв, сидела перед очагом. Она даже не шевельнулась. Сев рядом, я обнял ее. Она не сопротивлялась, но и никак не ответила на мою ласку.

— Когда я первый раз приехал сюда, — сказал я, — мне казалось, что я просто умру от тишины и одиночества, ими дышит здесь сам воздух.

Глэдис вздрогнула... Рука ее легла на мою.

— Мне казалось, что это нервная реакция, так много всего произошло за последнее время, но ни в чем я по-настоящему не участвовала сама... — сказала она. — Прости.

— Это ты прости, что я заставляю тебя страдать.

— Но я вовсе не несчастлива. Я не могу быть несчастлива с тобой.

— Потом оказалось, — продолжал я, — что одиночество — лишь преддверие иной реальности, куда более живой и яркой, чем я когда-либо знал. Человек должен начинать с одиночества.

— Но я здесь всего неделю... Я пробовала писать, но у меня ничего не выходит... Ты посмотрел?

— Да, но...

— Что ты обо мне думаешь?

— О тебе? Я люблю тебя!.. И мне хочется, чтобы ты поскорее миновала преддверие одиночества. Впереди столько дел, Глэдис.

— Тебе не кажется, что я глупая?

— Да нет же, нет!

— А по-моему, да... ведь у меня все есть.

— Ты проехала чуть ли не через полсвета, вышла замуж, поселилась в незнакомом доме, переменяла образ жизни — и все за пять дней. Конечно, нелегко пережить и принять все это сразу. Ты еще не целиком здесь.

— Не говори так! — прошептала она, словно испугавшись... — Столько дел — но... что мне делать?

— Сейчас пойдем вниз и поужинаем, — ответил я, — а после закончим с вещами.

Глэдис резко, как-то удивленно отодвинулась и взглянула на меня почти враждебно. Неужели предложение разобрать вещи прозвучало для нее как ультиматум, которому она не хотела покориться? Я долго вглядывался в ее словно ускользающее лицо...

— Хорошо, Джон, — все же произнесла она после долгого молчания. — Я сделаю, как ты хочешь.

Я сгреб поленья и погасил все свечи, кроме одной. Освещая себе путь этой свечой, мы прошли через темные, холодные, пустые комнаты и по каменным ступеням спустились в

столовую, где было светло, а на столе ждали кушанья и вино.

Появившаяся в дверях Станея держалась как обычно, по-домашнему, и скоро Глэдис, несмотря на то что они почти не были знакомы, уже весело разговаривала с ней. Пожалуй, подумал я, никто в поместье и не заметит, что окружающее кажется ей сном.

Что можно сказать погруженному в глубокий сон человеку такое, что помогло бы ему стряхнуть сонные путы? Если усадьба тоже часть преследующего Глэдис кошмара, то мне не стоило заводить речь о жизни здесь, о хозяйстве; не мог я говорить и о том мире, пробудиться в котором она желала, но не могла. На столе перед нами дымилась еда, и ела Глэдис со своим всегдашним аппетитом; и еще — была наша любовь, которую мне не под силу было выразить словами. Стремясь поддержать разговор, рассмешить ее, я не находил что сказать, поскольку все мои мысли были о том, что же стало причиной подавленного состояния Глэдис: усталость, которую излечит время и отдых, или же разочарование в любви?

Я завел речь о книгах в надежде, что Глэдис расскажет о тех, что привезла с собой. Однако мои рассказы об островитянской литературе звучали как-то сухо, по-лекторски. Глэдис тоже прилагала все усилия, чтобы поддержать беседу, однако на вопросы о том, какие из своих любимых книг она привезла, отвечала уклончиво.

— Ну что, пойдём наверх, наведем в комнате порядок? — спросила она, едва ужин закончился.

Как только мы поднялись в спальню, я разворошил поленья, и огонь вновь ярко запылал в очаге, но что до распаковки, то тут я мало чем мог помочь. Я сидел праздно, подобно человеку, вынужденному глядеть, как хлопчет его слуга. И хотя Глэдис держалась безупречно и улыбка всегда была у нее наготове, я чувствовал, чего ей это стоит.

Мы — а вернее, она — проделывали работу бережно и кропотливо, как будто и вправду собираясь остаться здесь насовсем.

Наконец в комнате воцарился идеальный порядок, сундуки и чемодан стояли пустые, каждая вещь заняла свое место, но Глэдис была все так же напряжена, и гнетущее чувство, похожее на безысходное отчаяние, сжало мне сердце.

Существовал единственный способ вернуть Глэдис, сломить ее сопротивление. Подойдя, я обнял ее. Она безвольно подчинилась. Я поцеловал ее, чтобы хоть как-то оживить, согреть. Она боялась, что ее шелковое платье помнется, и я помог снять его. Покорность ее бередила во мне желание, и Глэдис не осталась безразличной к моим ласкам, и все же она была лишь наполовину рядом. Губами, взглядом, осторожными прикосновениями я впивал божественную красоту ее обнаженного тела. Хмелея от наслаждения, которое мне хотелось продлить, я почти не думал о Глэдис, занятый лишь собственными эмоциями. Перед моим умственным взором то мелькали картины поместья, яркого, живого, самостоятельного, но целиком подвластного мне, готового удовлетворить все разнообразие моих желаний своей красотой и возможностью работы; то — вновь — я видел перед собой Глэдис, тоже мою, мне принадлежащую женщину, услаждавшую мои чувства и дарившую покой моему телу.

— Неужели это все наяву? — сказал я.

— Да, — откликнулась Глэдис и, дрожа, прижалась ко мне. — Я люблю тебя. Люблю...

Страсть ее не уступала моей, но когда все кончилось, она лежала неподвижно, как мертвая, только глаза горели темным живым огнем, и взгляд их был глубок и задумчив.

Я посмотрел на нее, и слезы комком подступили к горлу. Она была как ребенок в своей простой и прекрасной наготе: худые плечи, маленькая грудь, плоский живот, темные волосы, изящно очерченный рот, длинные голени, узкие колени и ступни. Стараясь внушить ей ощущение реальности, я подверг риску это чувство в себе. Мне вдруг показалось, будто я вижу эту женщину впервые. Глэдис тоже глядела на меня, точно не узнавая. Окружающее вновь стало

Тем не менее утром Глэдис проснулась веселая, тормошила и обнимала меня, просила прощения за то, что весь вечер была такой грустной, сказала, что иногда с ней такое бывает, и шепнула, что любит меня и что после всего, что между нами произошло, она не может не быть счастлива. От моего приглашения провести день с нею Глэдис тоже категорически отказалась: ведь меня ждут в поле. Она же собиралась заняться этюдами и хотела набросать вид усадьбы с моста, а потом, пожалуй, и присоединиться к нам еще утром, и уж наверняка после ленча.

Приободренный, я отправился в поле; на губах был еще свеж вкус ее поцелуя, в сердце — память о ее улыбке. Работа окончательно сняла нервное напряжение, сохранившееся после минувшей ночи. Дела, касавшиеся отправки урожая, уладились, и повозки должны были отправиться в Тэн через одиннадцать дней, первого мая.

Ближе к полудню появилась Глэдис. Все обитатели поместья, за исключением Станеи и находившихся в школе детей, вышли в поле, чтобы полностью закончить жатву к вечеру.

Глэдис подошла ко мне с робостью и одновременно стараясь казаться непринужденной, так что, пока не приблизилась вплотную, казалось, будто она меня не замечает. Подойдя, она улыбнулась и обронила: «Здравствуй».

— Здравствуй, — ответил я. — Хорошо, что пришла. Я ждал.

— Я все была там, возле дома.

— Удалось сделать набросок?

— Да, а после вернулась в дом, но делать там было особенно нечего, и я решила пойти помочь остальным. Итак, что я должна делать?

Я подвел ее к Анселе, та была всего двумя годами старше. Молодые женщины обменялись улыбками, и, оставив их наедине, я вернулся к своей работе, сгребая сжатые колосья в валки...

Чуть позже, взглянув туда, где работала Глэдис, я вновь с болью почувствовал себя жестоким хозяином, не щадящим своего слугу. Островитянки, и молодые и старые, нагибались, подбирая колоски, которые складывали, как в мешки, в подобранные кверху подолы; Глэдис, которой было явно неловко демонстрировать таким образом свою фигуру, каждый раз приседала и снова выпрямлялась — изящным и одновременно неуклюже-старательным движением, а подобранные колоски сжимала в руке, как букет цветов.

Наконец Эдона позвала нас обедать, и со всех концов поля люди стали сходиться под сень старого дуба. Глэдис шла хмуро, воткнув несколько колосков в свои пышные волосы так, что концы их сходились у нее над лбом, наподобие венка Деметры.

Наблюдавший за Глэдис молодой Ансель что-то сказал ей, глядя на воткнутые в ее волосы колосья. И, слушая рассуждения старика Анселя о перевозке урожая, я время от времени слышал ровный голос Глэдис, рассказывавшей замороженно глядевшему на нее юноше историю о Персефоне и поисках, предпринятых ее родительницей.

Жатва продвигалась быстро, и после обеда моя помощь оказалась уже не нужна. Мы с Глэдис пошли пешком обратно к дому. Желтые колосья были по-прежнему воткнуты в ее темно-каштановые, отливающие на солнце волосы.

Я спросил, не хочет ли она поехать верхом — для Грэна и той лошади, что я нанял, не лишней была бы небольшая разминка.

— Хорошо, Джон, прогуляем лошадей, — коротко и довольно сухо ответила Глэдис.

Когда мы подошли к дому, я почувствовал себя в некотором замешательстве, не зная, за что взяться. Дел скопилось множество, но послеобеденные часы я решил провести с Глэдис, а на прогулку мы собирались еще через час-другой. Желание — смутный отголосок ночи —

шевельнулось во мне... Глэдис, я видел, тоже не знает, куда себя деть.

Мы перешли в гостиную так, словно я пришел с визитом, совершенно не понимая, чем занять друг друга. Глэдис стояла повернувшись боком к очагу, будто греясь у невидимого пламени.

— Как рисовалось? — спросил я.

— Плохо.

— Жаль.

— Да я особенно и не старалась. — Она почти совсем отвернулась от меня... Значит, тогда, в поле, она солгала без всякой нужды; от неожиданности сердце мое похолодело.

— Но у тебя же было предчувствие, что дело пойдет, разве нет, Глэдис?

— Я знала, что ничего не выйдет.

— В чем же причина?

— Причина?.. Я говорила тебе вчера.

— Что все нереально, как во сне?

— Да... и сон неинтересный. Слишком холодный.

— Со временем желание рисовать вернется.

— Не знаю... Я все выдумала, Джон, никуда я не гожусь.

— Замолчи, Глэдис! Я совершенно с этим не согласен.

— Да и тебе от меня никакой пользы... Сегодня утром я чувствовала себя счастливой, мне было так хорошо. Я шла к реке с самыми радужными мыслями. Ансель, мальчик, его хорошенькая сестричка и две девочки Стейнов болтали по дороге в школу. Они ненадолго задержались возле меня, и мы очень мило, по-дружески поговорили, но, когда они ушли, мне снова стало страшно одиноко — ни единой живой души кругом, только эта бесконечная тишина и плеск воды. Ах!.. Я вернулась домой и плакала, а потом решила написать кузине, но подумала, что будет лучше сделать то, о чем ты просил. И, как видишь, даже успела поработать в поле. Только пользы от меня было немного... Вот мое утро.

— Неужели же все так пусто и неинтересно?

— Конечно нет! Все в порядке.

— Глэдис, если ты опять грустишь, скажи.

— Нет, дорогой, никому из нас лучше от этого не будет.

— Не старайся казаться счастливой, если ты несчастлива. Лучше скажи мне правду. Вдруг я смогу помочь.

Она посмотрела на меня тяжелым, пристальным взглядом, взяла в руки мой плащ.

— Ты — все, что у меня есть, — сказала она. — В тебе весь мой мир. И я счастлива! Но мне не хочется делать несчастным тебя... — Губы ее задрожали. — Я приехала к тебе и отказалась от всего. Я — твоя. Мне ничего больше не надо для счастья... Я не знаю, в чем дело.

— Глэдис! Глэдис! — воскликнул я, сжимая ее руки. — Постарайся остаться сама собой. Подумай о себе.

— Если я не принадлежу тебе, — сказала она, высвободив руки и делая шаг назад, — то что я такое? Зачем я? Ты намеренно отталкиваешь меня. — И, отвернувшись, пошла к двери.

— Ты моя единственная любовь, Глэдис! Женщина, влюбленная в *алию* Ланга!

— Ах, Джон! — С этими словами она вышла.

Стряхнув оцепенение, я последовал за ней, прислушиваясь к доносящимся вдали шагам. Она лежала на кровати, с широко открытыми глазами, и не плакала, но, когда я вошел, даже не взглянула в мою сторону.

— Ты одинаково дорога мне и когда сама ищешь свое счастье, — сказал я.

Казалось, она не слышит моих слов.

Я смотрел на нее, мучительно размышляя, как сделать ее счастливой, если вопреки всему — принадлежа мне по моей ли, по своей воле — она так несчастна... Я думал о том, что еще могу сделать для нее, но она беспокойно, почти с неприязнью пошевелилась, словно стараясь укрыться от моего взгляда.

— Поедем прогуляемся? — спросил я.

— Разумеется. Я скоро буду готова, — прозвучал ответ.

Постояв еще немного, я вышел и вернулся к работникам в поле.

Вдоль реки Лей тянулись заросшие травой дороги и тропинки, с одной или с обеих сторон окаймленные деревянными изгородями или каменными стенами; местами по обочинам их росли деревья, сплетая вверху свои ветви наподобие зеленого свода, местами вдруг открывались зеленые лужайки. Река, то текущая совсем неслышно, то тихо журчащая по гальке и между валунами, всегда была рядом. Проезжая через земли Дартонов, Ранналов и Севинов, мы пересекали открытые, солнечные участки и снова въезжали в путаницу тени, которую отбрасывали полуоблетевшие деревья, и опавшие, где лежащие кучами, где засыпавшие небольшую ложбинку, листья сухо шуршали под копытами лошадей.

С яблонь в саду Севинов падали на дорогу сбитые ветром поздние яблоки, и я по звуку отыскал одно и, спустившись с лошади, преподнес его Глэдис.

Алые губы ее были полуоткрыты. Ровными, крепкими белыми зубами она откусила большой кусок яблока, еще не совсем зрелого и такого холодного, что слезы выступили у нее на глазах...

Я осторожно положил руку на ее бедро, сквозь грубую ткань ощутив его нежную округлость. Глэдис замерла, держа яблоко в руке. Вожделение жаром полыхнуло внутри, и я почувствовал, что оно не безответно.

Я прижался лицом к ее теплomu бедру, она тихо провела рукой по моим волосам. Наше мгновенное согласие, единый порыв ничем не могли завершиться, и я почувствовал, как жалость и тоска острой сталью впиваются в сердце, но утешать следовало сейчас не меня.

— Прости, что я так вела себя, — сказала Глэдис. — Я люблю тебя, Джон. И я, правда, очень счастлива.

— Прощать нечего. Если же ты не можешь быть счастлива здесь, в поместье, давай уедем, — ответил я, понимая, что жертвую ради нее чем-то большим, чем жизнь.

— Нет, нет! — прервала меня Глэдис. — Мы останемся. У меня есть ты, мой любимый, и этого достаточно.

В это мгновение ее лошадь, до того беспокойно переступавшая на месте, вдруг пустилась вскачь. Многое осталось недосказанным, но стоило ли продолжать разговор? Мы помирились.

Развернув лошадей, мы поехали обратно, с нетерпением ожидая, когда наконец останемся одни и будем любить друг друга.

Прошло десять дней. Каждый был чуть короче и холоднее предыдущего, по ночам веяло зимним хладом, луна то прибывала, то убывала, но погода по-прежнему держалась хорошая, тихая. Фэк вернулся из столицы, куда был отправлен, чтобы встретить пароход и доставить Глэдис домой, в результате проделав весь немалый путь впустую. Мы каждый день выезжали его и Грэна, и Глэдис казалась счастливой, постепенно знакомясь с окрестными дорогами и землями.

Прогулки получались довольно короткие — дел у меня было слишком много, но когда я пытался объяснить Глэдис, что такая занятость — явление необычное и все потому, что скоро предстоит поездка в Тэн, она смеялась и говорила, что так будет всегда. Часто я уезжал, и мы не

виделись почти целый день за исключением прогулок верхом. По словам Глэдис, ничего иного она и не желала, и я верил ей, ожидая, пока появится возможность выкроить побольше времени для досуга. Со своей стороны, Глэдис никак не участвовала в хозяйственных заботах, хотя могла бы заняться многим; впрочем, коли уж они не интересовали ее, не было и повода заставлять ее. Вместо этого, несмотря на то что стояли погожие дни, она почти все время проводила в доме, стараясь придать старому, неуступчивому обиталищу отпечаток своей личности, — так птица, найдя уже свитое гнездо, обязательно обустроивает его на свой лад. Спросив, приличия ради, моего согласия, она развесила на стенах мастерской, гостиной и столовой все свои эскизы, отобрав их, как она сказала, «из сотен неудачных», и не потому, что они так уж ей нравились, а потому, что внутренность дома казалась ей слишком блеклой; вероятно, крылась за этим и еще одна, невысказанная, причина: виды Бретани и Англии, Нантакета и Вермонта хоть как-то соединяли новую и непривычную, похожую на сон Островитянию с остальным миром. В отличие от нее самой я не пытался над ними подшучивать и критиковать, говоря, что это не более чем дилетантские картинки. Яркие и теплые на фоне холодных серых стен, они радовали глаз и согревали душу сами по себе, а не только из-за того, что были когда-то увидены и полюбились Глэдис.

Вопреки ее собственным словам о том, что настоящей своей комнатой она считает спальню, основное внимание Глэдис продолжала уделять мастерской. Она перенесла туда свои книги, прежде лежавшие на столе вперемешку с моими. Она украсила стены осенними листьями, а скамью перед очагом застелила привезенными из Америки яркими разноцветными шальями. На новый стол она постелила длинную узкую столовую дорожку, на которой занял свое место чайный сервиз из старого китайского фарфора с рисунком «Тысяча мудрецов», принадлежавший еще ее бабушке. Взяв с кухни медную посуду, которой Станея не пользовалась, она поставила ее на полке над очагом и, опять же спросив моего согласия, перенесла туда все особенно понравившиеся ей ковры и мебель из нежилых комнат.

В часы, свободные от этих занятий, сидя в мастерской, она писала длинные письма друзьям и близким, и по ее увлеченному виду я догадывался, что она старается хотя бы в процессе письма вновь почувствовать запахи и увидеть краски страны, которую по-прежнему считала родным домом. Здесь же она читала и привезенные с собой книги, лишь изредка просматривая какую-нибудь из моих, на островитянском, и всякий раз не забывала попросить моего на то разрешения.

Она не заводила речь о своем чтении и проявляла беспокойство, стоило мне заговорить о нем: по ее словам, отбирала они книги в спешке и в основном потому, что те или иные были ей дороги как память. Книг было немного, некоторые — довольно потрепанные. Здесь были стихи: Теннисон, Китс, Киплинг, де Мюссе, Данте на итальянском, «Золотое сокровище», «Оксфордская антология английской поэзии» и сборник шотландских баллад; Библия, англиканский молитвенник и карманный словарь; балфенчевский «Век басни», «Камни Венеции» и «Семь светочей» Рескина; «Джек» Доде, «Тэсс» и «Возвращение в родные места» Гарди, теккереевские «Эсмонд» и «Ярмарка тщеславия», «Дэвид Копперфильд» Диккенса, «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта, «Чувство и чувствительность» мисс Остин, «Маленькая женщина» мисс Олкотт; три старых школьных учебника; тонкие альбомы с выцветшими репродукциями Тициана, Микеланджело, Джотто, Гирландайо, Рембрандта и Боттичелли; альбом с фотографиями картин, по большей части эпохи Ренессанса; «История Островитянии» месье Перье, «Путешествие в современную Утопию» и «С островитянами — против делиджийцев» Карстерса и, наконец, моя «История Соединенных Штатов» на островитянском, с аккуратно вклеенными в нее моими газетными статьями.

Возвращаясь домой, я нередко заставал ее уютно свернувшейся на скамье перед очагом с

одной из этих книг на коленях; взгляд был устремлен вдаль, смутная улыбка блуждала на губах, и она далеко не сразу замечала мой приход, вдруг снова очнувшись от своих грез в Островитянии.

В мастерской, где ее обычно можно было найти, я чувствовал себя гостем, и Глэдис тоже, похоже не сознавая того, обращалась со мною соответственно. Здесь беседа, как правило, шла о книгах, которые мы скоро сможем купить, о технике письма маслом. Глэдис обнаружила, что довольно многих инструментов ей не хватает. Кое-что можно было раздобыть и в поместье, в других случаях дело шло о чем-то недоступном. Поэтому мы решили хорошенько изучить красители и все, что может заменять холст, надеясь в конце концов разобраться в этом предмете и, быть может, найти выход. Итак, мы подолгу толковали о живописи, однако за все это время Глэдис ни разу не прикоснулась к кистям и краскам.

Полагая, что причиной бездеятельности служит скорее робость, скованность, а не обычная лень, я уговорил Глэдис три раза вместе со мною навестить наших соседей. В один из вечеров, когда дул холодный ветер и полная луна сияла на небе, мы отправились к Аднерам. Кроме нас пришел еще кое-кто из Дартонов, Ранналов, Нейпингов и их арендаторов. Мое предчувствие, что Глэдис понравится им, подтвердилось, да и они, судя по ее поведению, были симпатичны ей. Застенчивость и робость исчезли без следа, как только мы вошли в дом. Недостаток практики в островитянском с лихвой возмещался изяществом ее манер и улыбкой. Глэдис казалась немного взволнованной, разгоревшийся на щеках румянец очень шел ей, присутствующие окружили ее вниманием, как добрую старую знакомую. Пробыли мы у Аднеров недолго и возвращались домой под высокой яркой луною, словно посеребрившей весь мир своим морозным светом. Крепко прижавшись ко мне, Глэдис засыпала меня вопросами, стараясь удержать в памяти всех тех, пока еще новых для нее людей. Она уверяла, что давно не помнит такого прекрасного вечера, а я целовал ее щеки, с которых еще долго не сходил жаркий румянец.

Навестили мы и Дартонов со Стейнами. Ровесник Глэдис, молодой Ансель, тоже появлялся на каждом вечере. Были еще двадцатидвухлетний Раннал, Севин, чуть постарше, и другие. Молодые люди буквально увивались вокруг Глэдис, и, надо сказать, с ними она держалась не так робко, а ее островитянский, хоть и далеко не безупречный, звучал ярче и выразительней. У Дартонов устроили хоровод, наподобие тех танцев, что танцевали у Хисов, когда я был у них впервые. Молодежь танцевала в сарае под звуки нехитрого струнного инструмента в приглушенном свете накрытых колпаками свечей. Те, кто постарше, *танар*, одним из которых был теперь и я, обсуждали, как повезут урожай в Тэн, для чего соседи обыкновенно одалживали друг другу повозки, и тут следовало уладить один вопрос, самостоятельно решить который старик Ансель отказывался. Посему мне тоже пришлось включиться в разговор о делах, но тем не менее я старался не упускать из виду Глэдис: сегодня она была красивей, чем когда-либо, движения ее были слаженны и изящны, и только изредка она допускала небольшую ошибку. Стоило этому случиться, все тут же ласково подправляли Глэдис, а ее извиняющаяся улыбка была обворожительна.

По дороге домой я сказал, что она была настоящей царицей бала.

— Правда? И мне так показалось, — ответила Глэдис, и то, что она приняла эту мысль с легкостью, доказывало, что она сама все ясно видела и понимала. — Они относятся ко мне так, будто я вовсе не замужем, — заявила она. — И мне это не нравится. Я не знаю, как далеко они могут зайти... Разумеется, это может быть просто вежливостью по отношению к иностранке.

Она взяла меня под руку, и мы пошли рядом.

— Если тебе что-то не нравится, Джон, скажи прямо. Ведь я принадлежу тебе.

— Ты хорошо провела время, Глэдис?

— Да, мне очень понравилось. Так весело. Я уже много лет не танцевала. Но мне хотелось бы станцевать с тобой бостон. И мне совсем не нравится... — Она запнулась, но я попросил ее продолжать. — Совсем не нравится, что я выгляжу намного моложе тебя.

Так мы поговорили обо всем понемногу, и Глэдис отправилась спать: глаза ее блестели, она была рассеянна, полностью сосредоточившись на своих мыслях, полусонная, довольная, как любая молодая женщина, удачно проведшая вечер.

Но тоска по дому не отпускала ее, и вечеринка у соседей была лишь недолгой передышкой. Я чувствовал это по тому, как крепко, изо всех сил прижималась она ко мне по ночам, словно стараясь удержаться на краю отчаяния. Временами казалось, что только эта тесная физическая близость способна вернуть ее к жизни. Ничего иного предложить ей я не мог.

В последний день апреля, что примерно соответствует концу октября в Америке, хозяева соседних поместий еще с утра подогнали свои повозки. Оставив повозки, они разъехались, чтобы назавтра вновь забрать их. Мы в свою очередь должны были проделать то же. День ушел на погрузку; повозок общим числом оказалось шесть: две наших и четыре соседские. За погрузку отвечал старый Ансель, я же вместе с остальными работал под его началом. Прогулка с Глэдис на сегодня отменялась; последние несколько дней она вообще мало выходила из дома, дописывая письма. Когда день уже клонился к вечеру и первые звезды зажглись на небе, синеву которого оттеняло желтое пламя фонарей, Глэдис неожиданно появилась среди нас в плаще, сшитом для нее в Доринге. Ее лицо в переменчивом, движущемся свете было сосредоточенно, она с интересом наблюдала за темными фигурами работников, входящих и выходящих из сарая.

Скоро погрузка закончилась, а с нею и самая серьезная, ответственная часть нашей работы за год. Сама поездка в Тэн воспринималась уже скорее как праздник, и некоторые из арендаторов на следующий день уезжали по своим делам или навещали друзей и близких.

Лайя и Эдона принесли кувшины с горячим, чуть горьковатым островитянским шоколадом, столь желанным сейчас, после работы, когда мало-помалу начинало холодать. Во дворе перед усадьбой собрались почти все девятнадцать обитателей поместья — от семидесятилетнего старика Ансея до маленькой Станеи, которой недавно исполнилось восемь. Я был рад, что среди них сейчас и та, кто наиболее дорог мне, что оказалась она здесь по собственной воле, и вид у нее счастливый.

Отведав шоколаду, мы вместо того, чтобы разойтись, остались в сарае. Старик Ансель, довольный, что работа наконец завершена, попросил всех отужинать у него, но нас было слишком много. Эдона, Лайя и Станея, объединившись, взялись организовать общий стол. Глэдис сама изъявила желание помочь им. Женщины вышли в сопровождении добровольных помощников, а остальные, те, кто тяжело проработал весь день, поудобнее расположились в сарае, делясь воспоминаниями о прошедшем дне и сравнивая урожай этого года с предыдущим. Я, как человек новый, слушал и узнавал для себя много неизвестного и полезного из жизни поместья.

Женщины вернулись с грудой провизии и заявили, что намерены поухаживать за нами. Мы расселись, кто на скамьях, кто просто на земле. Снаружи было уже совсем темно и даже пощипывал морозец, в сарае же воздух был теплый, пахнувший скотом и сеном. Частью лица сидящих скрывала тень, частью они были освещены довольно-таки тусклым светом, делавшим черты отчетливее и красивее. Эдона, Лайя, Станея и Глэдис, наши заботливые прислужницы, двигались почти бесшумно, переходя из света в тень, готовые то подбодрить легкой шуткой, а то и особо похвалить кого-нибудь.

Ансель-брат, единственный в усадьбе музыкант, принес духовой инструмент, напоминавший дудочку Неттеры, под звуки которой мы когда-то танцевали. Однако мелодии

его больше напоминали мне то, что я слышал в исполнении Анселя у месьеПерье три года назад. Действительно, они оказались дальними родственниками. Все более одушевляясь, он играл мелодии, без сомнения хорошо знакомые и его слушателям, даже мне, полные отсылок к чему-то давнему, полузабытому. Музыка была очень чувственная, полная эмоций, и Глэдис слушала ее завороченно, опершись подбородком о ладонь, не сводя горящих темным блеском глаз с музыканта.

Молодой Ансель попросил его сыграть что-нибудь танцевальное. Затем юноша составил несколько пар и подошел к Глэдис. Она взглянула на него дружелюбно, но довольно холодно, отрицательно покачала головой и, словно извиняясь, улыбнулась ему той улыбкой, какой женщина улыбается отвергнутому поклоннику, восхищение которого тем не менее хочет сохранить.

Я подошел к ней, чтобы спросить, действительно ли она не хочет танцевать и нет ли у нее каких иных желаний.

— Давай прогуляемся, — сказала она.

Итак, поблагодарив всех и со всеми попрощавшись, мы вышли в холодную ясную ночь; сзади, из желтого прямоугольника приоткрытой двери, доносились ритмичные звуки музыки, притопыванье и смех.

Глэдис молча, но решительно взяла меня под руку. Мы двинулись к сосняку на холме. Луны не было, но звезды светили вовсю.

Глэдис шепнула, что любит меня, что музыка взволновала ее и она не хочет пока возвращаться домой.

— Я счастлива, — добавила она быстро, — да, да, счастлива! Мне очень понравилось, что все собрались так запросто. И я совершенно влюбилась в музыку Анселя-брата... но думаю, что если бы я стала танцевать с молодым Анселем и Стейнами, это бы все испортило.

Я сжал ее руку и ощутил ответное пожатие.

— Здесь ты больше молчишь, чем в Нью-Йорке или Нантакете, но я уверена, что все прекрасно понимаешь.

— Не знаю почему, — ответил я, — но я совершенно разучился что-либо объяснять.

— Я понимаю, о чем ты... Со мной тоже происходит нечто подобное. Но уж никогда не думала, что стану более разговорчивой, чем ты... Впрочем, это не страшно, правда?

— Как бы ты ни выражала себя, мне нравится все.

Она коротко рассмеялась, потом вздохнула:

— Завтра будет весело.

— Примерно через месяц, — сказал я, — мы сможем нанести несколько визитов и попутешествовать. И к нам, я уверен, приедут гости.

Мы шли по дороге от усадьбы к седловине между двумя холмами. Свет, падавший через дверь сарая, уходил ниже, превращаясь в маленькое бледно-желтое пятно в темноте. Дойдя до того места, где дорога вновь уходила вниз, в темные заросли, мы остановились.

— Послушай! — сказала Глэдис. Мы почувствовали, как в темноте сверху падает холодная роса. Вспоминалась уже не слышная музыка, лишь подчеркивая стоящую вокруг глухую тишину.

Глэдис стремительно повернулась ко мне, и я обнял ее, ощущая сквозь мягкие шерстяные складки сильное, гибкое тело, прижимавшееся ко мне. Щеки у нее были холодные, но губы, мягкие и одновременно упругие, быстро согрелись от моих поцелуев.

И словно это было слишком крепкое, хмельное вино, она осторожно, но решительно высвободилась из моих объятий и тихо сказала:

— Что мне делать? Что мне делать?

Я взял ее под руку и повел к дому.

Наутро трава покрылась белой изморозью, но солнце светило ярко, и, когда мы собрались выезжать, земля, влажная там, где на нее падало солнце, в тени по-прежнему была скована морозной корочкой.

Повозками управляли старый Ансель, Стейн, молодой Ансель, его хорошенькая сестра Ансела, Стейн Эттери, то есть Третий, — я замыкал обоз. Ансель и Лайя, молодой Стейн, его жена, Лайя, и его брат отправились навестить знакомых. Трое самых маленьких в поместье детей поехали верхом: было решено, что шестнадцатилетний Ансель Эттери поедет на лошади из Фаннара и поведет Фэка, чью единственную поклажу составляли наши с Глэдис дорожные сумы. Но я случайно услышал, как, прощаясь с родителями, мальчик сожалел, что из-за нашей поездки ему пришлось отказаться от вылазки на Холмы Года, куда он собирался с приятелями. Я подумал, что бы такое сделать, чтобы избавить его от необходимости ехать в Тэн. Трудность заключалась в том, что лошадь из Фаннара не давала вести себя в поводу.

Тогда помощь предложила стоявшая рядом Глэдис.

— Давай я поеду на нем и поведу Грэна, — сказала она. — Ансела Некка (той было четырнадцать) может поехать на Фэке.

— Вести лошадь другой породы — дело нелегкое, — ответил я, припоминая прежние случаи.

— Ансела Некка мне поможет.

Глэдис взглянула на девушку, моментально ответившую согласной улыбкой.

— Если что-то не получится, я буду управлять повозкой, а ты поедешь на нем.

Глаза ее горели жаждой приключений.

— Хорошо. Тогда — вперед! Ты окажешь нам всем большую услугу.

— А разве я не одна из вас? — спросила она уже на ходу.

— Даже очень! — ответил я.

Мальчик, просияв от радости, тепло поблагодарил Глэдис, предложив проследить за тем, как она будет выезжать вслед за обозом.

Шесть повозок тронулись с места; Глэдис и Ансела с тремя лошадьми остались сзади. Сидя в последней повозке, я оглянулся перед тем, как мы доехали до первого поворота, и увидел, что маленькая кавалькада готова вот-вот тронуться с места. Глэдис, уже верхом на норовистой лошади из Фаннара, что-то говорила своей спутнице, ехавшей на Фэке. Она явно взяла главную роль на себя. Вспомнив понимающие взгляды, которыми она обменялась с мальчиком и его сестрой, я подумал, что, может быть, разница между четырнадцатью и шестнадцатью годами не так ощутима, как между шестнадцатью и двадцатью, и что уж не совершил ли я ошибку, предложив Глэдис выйти за меня такой молодой. Я тревожился за нее, чувствовал, как сильно люблю ее... и, глядя вперед и притормаживая тяжелую повозку на спуске с моста, видел перед собой широкие плечи Стейна Эттери, а за ним — худенькую фигурку Анселы Аттаны. Пятая часть урожая двигалась к цели. С денежными затруднениями было покончено. Работа зимой будет не такой изматывающей... Я устрою Глэдис настоящее приключение, и она будет счастлива, когда сама преодолет трудности и опасности.

Еще несколько раз за четырнадцать миль, что занимает дорога до Тэна, я оглядывался на Глэдис, ехавшую на лошади из Фаннара, а за ней — Грэна и Фэка с его маленькой всадницей. Однажды, когда мы были близко, Глэдис помахала мне рукой. Она была повелительницей, а сопровождающие — ее свитой. И снова, когда мы уже подъезжали к Тэну с болотистой северо-восточной стороны, я увидел Глэдис далеко сзади, но возглавляемая ею кавалькада, шедшая на рысях, держалась по-прежнему ровной, упорядоченной группой. Я придержал своих лошадей

так, чтобы Глэдис не потеряла меня из виду в городе, и мы подъехали к складам нашего агента почти одновременно. Опередивший меня молодой Ансель поймал лошадь Глэдис за уздечку и помог ей сойти. Я пожалел было, что это удовольствие не предоставилось мне, но тут же подошедший Ордли, агент, завел разговор о делах. Какое-то время мы — старик Ансель, Стейн и я — проговорили с ним. Остальные: молодой Ансель, обе Ансели, Стейн Эттери, его племянник и племянница, а также Глэдис — словом, вся молодежь, среди которой Глэдис особенно выделялась своей красотой, отправилась перекусить на постоялый двор.

Когда, закончив дела, я присоединился к ним, то побоялся, что мои комплименты в адрес Глэдис могут показаться ей докучными и пресными. Но как бы то ни было, теперь я был свободен, а она будет целиком принадлежать мне все три дня дороги обратно.

Приятно было наконец передохнуть на постоялом дворе, и мы, как никто, это чувствовали. Когда повозки разгрузят, их отгонят домой, нам же предстояло отыскать на болотах, окружающих Тэн, дом Дорна IV, командора. Повозки отправились раньше нас, и это похоже было на расставание старых, близких друзей. Наконец мы остались с Глэдис одни, и я повторил ей, как хорошо она поступила.

— Если тебе приятно, больше мне ничего не надо, — сказала она, — а мне кажется, ты рад. Я вижу это по глазам. Мне тоже все понравилось... — И Глэдис не без юмора и даже с некоторой гордостью описала испытания, поджидавшие ее в пути. Однако она преодолела все трудности, проявив при этом изрядную сообразительность, с чем я ее и поздравил.

Глэдис весело рассмеялась, словно заранее прочитала мои мысли.

— Я нравлюсь тебе, островитянин? — спросила она.

— Да, — ответил я, — потому что ты островитянка по натуре.

— Ах, нет, Джон, милый, ты не знаешь половины моих неостровитянских мыслей.

— Расскажи о них.

— Нет, — покачала она головой. — Ты станешь переживать.

— Не стану.

— Станешь!

Болота встретили нас холодно и неприятно. В воздухе разносился беспокойный запах моря, в пересекавших болота протоках текла уже соленая, морская вода; однако Глэдис, согретая напряжением, теплом постоянного двора, усталая, страдала прежде всего от сильного пронзительного западного ветра, который особенно задувал на пароме.

— Наше поместье нравится мне больше всего на свете, — сказала она, но, когда мы приехали, добавила, что вся закоченела.

Дорн IV был, как обычно, в отъезде, и нас встретили Монроа и его сестра Дорна, вдова Гранери. Они слышали о Гладисе, как и большинство тех, с кем я познакомился в последнее время. Кроме них в доме гостили единоутробный брат Гранери и его мать, Лука; Монро, брат Монроа, но много ее старше; Реслер, капитан одного из кораблей, принадлежавших Дорнам, и его жена Дайла. Тем не менее нашлась комната и для нас, правда небольшая.

Пока мы готовились к обеду, Глэдис сказала, что лучше бы нам было остаться на постоянном дворе. Вопреки своим ожиданиям, я тоже почувствовал себя несколько неловко: сомнения Глэдис относительно того, естественно ли было приезжать непрошеными в чужой дом, сообщились мне. Однако я стал спорить, утверждая, что для Островитянии это самая обычная вещь, что наши хозяева удивились бы, узнав, что мы не решились приехать без приглашения, и вся система общения строится здесь на том, что люди навещают друг друга когда вздумается. Глэдис согласилась, что нас встретили доброжелательно, но настаивала на том, что это — из приличия: неужели они действительно могли обрадоваться двум простым селянам, когда в доме и без того гостило пятеро людей, связанных с ними узами родства и общими делами? А тут еще мы, полузнакомые, требующие дополнительных забот, нет, не надо было ехать. К тому же здесь такой холод...

Упоенная триумфом, усталая, но не до конца понимающая, как вести себя в подобном положении, она была настроена воинственно; и в то же время, сидящая полураздетой перед жарко полыхающим огнем, расчесывающая распущенные волосы, с пылающими от ветра щеками, враждебно горящими глазами, взгляд которых старательно избегал моего, она была так обольстительна, что мне захотелось обладать ею. Желание жгло меня неудержимо, но перепалка не прекращалась, не давая ему выплеснуться наружу.

И я так ни разу и не прикоснулся к ней.

— Мы попали на семейный обед, Джон, — шепнула она, когда мы спускались. — Пусть это будет в последний раз...

Скоро, однако, я позабыл об отрицательных сторонах нашего визита, поскольку наконец представилась счастливая возможность поговорить о чем-то помимо хозяйства, с профессионалами, чьи интересы лежали в иных областях или были связаны с морем: Монро был юристом, а Гранери служил на флоте. На мгновение отвлекшись от увлекательного разговора, я взглянул на Глэдис — изменилось ли ее настроение? Она сидела рядом с Реслером. Этот мужчина, с загорелым лицом и властным взглядом бывалого моряка, с интересом слушал то, что рассказывала ему молодая девушка. Позже сидевший с другой стороны Монро тоже стал проявлять к ней внимание. Робея при встрече с незнакомыми людьми, Глэдис быстро справлялась с собой, и уже никто не мог бы заподозрить в ней неловкости, к тому же она легко находила нужный тон, причем легче с мужчинами, чем с женщинами.

В такие минуты она была особенно мила, хотя зачастую и удивляла меня: казалось, в самой глубине ее существа бьет неиссякаемый источник привлекательности, — и я с нетерпением

ожидал момента, когда останусь с ней наедине. Но когда мы наконец оказались в нашей маленькой комнате и снова развели огонь в очаге, я увидел по глазам, что ей не терпится высказать одолевавшие ее мысли, и не стал спешить прерывать их поцелуями.

По ее словам, она получила огромное удовольствие от беседы с Реслером, Монро и Гранери. Они отличались от всех прочих, с кем ей доводилось встречаться в Островитянии. Она рассказала капитану о своем путешествии, и он забросал ее вопросами о кораблях, на которых она плыла и которые видела по пути. Разумеется, он знал о морских судах все, а она ничего, но зато ей попадались такие, какие не встречались ему. Было так забавно их описывать. К тому же Гранери походил на моряков, с которыми она была знакома, а Монро — на юристов. Интересно было поговорить с людьми, которые имели отношение к чему-то помимо сельского хозяйства.

Разговаривая, она раздевалась, снимая то туфлю, то чулок, то оказавшееся ей очень к лицу красно-коричневое платье, сшитое ткачом в Доринге. Чувства переполняли меня, но я сдерживался и внимательно слушал ее.

— Люди из поместья и наши соседи — простые крестьяне, — сказала Глэдис. — Не вижу большой разницы между хозяевами — *танар*, вроде Дартонов, и Анселями — *денерир*. Мне казалось, они будут похожи на землевладельцев и крестьян, как в Европе, но Дартонь ничуть не больше джентльмены, чем Ансели. Молодой Ансель напоминает недоучившегося школьника.

— Да, я понимаю тебя.

— Я люблю их всех, Джон, правда. Некоторые из них совершенно замечательные. Но в Островитянии есть и другие люди. Я обнаружила это на Острове: лорд Дорн, твой друг и Файна — настоящие аристократы. Насчет Марты сомневаюсь: она больше похожа на Дартонов. Думаю, что и та Дорна, которую ты любил, тоже была из аристократов. Может быть, именно поэтому тебя так влечет к ней.

Она замолчала и взглянула на меня, словно ожидая ответа.

— Дорне присущи качества человека, принадлежащего к великой культуре, — сказал я. — У многих островитян есть качества, которыми мы привыкли наделять аристократов, но наши аристократы стараются сохранить свою исключительность и подчеркнуть то, что отличает их от прочих. Островитяне же...

— Нет, они — настоящие аристократы! — заявила Глэдис. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. Дорна, которая живет здесь, совсем другая. И Монроа тоже. Они были очень любезны со мной... Похоже, что у тебя есть друзья среди лучших людей.

— Ты еще встретишься и с другими, столь же привлекательными, — сказал я.

— Хотя я думаю, — продолжала Глэдис, постоянно возвращаясь к собственным мыслям, — что мы и сами люди простые, больше похожие на наших соседей по поместью, на Анселей и на Стейнов. Мама всегда говорила, чтобы я не слишком задумывалась над всеми этими вещами, хотя в нас есть нечто даже лучшее, чем у так называемых аристократов, и что любой американец, если постарается, может стать настоящим аристократом... Мне никогда не нравилось думать о себе как о «простом человеке», но, увы, наверное, мы действительно такие.

— Я никогда не мыслил себя ни простым человеком, ни аристократом. Разумеется, внешне мы ведем такой же образ жизни, как и многие другие... но то же можно сказать и о Дорнах.

Глэдис молча обдумывала мои слова, я же продолжал:

— Скоро мы отправимся в поездку, и ты увидишь самых моих любимых друзей. Я хочу, чтобы ты подружилась с ними. Пока ведь у тебя их здесь и вовсе нет.

— Да, — задумчиво ответила Глэдис. — Пожалуй, ближе всех Некка. Мы говорили обо всем очень откровенно... Но мужчины нравятся мне больше. С женщинами труднее разговаривать.

— А тебе хотелось бы иметь близкую подругу?

— Да, думаю, что да, хотя пока я не видела никого подходящего. Мне хочется, чтобы был кто-то, с кем я смогла бы говорить, как с тобой.

— Мы будем ездить в гости.

— Замечательно! — воскликнула она, рассмеявшись. — Знаю, ты думаешь, что поймал меня на слове... Что ж, признаюсь. Я и вправду сказала, что мы больше никуда не поедem без приглашения, но ведь получилось совсем неплохо.

— И они будут запросто заезжать к нам. Если же мы не станем следовать этой привычке, нам придется отказаться от многих знакомств.

— Я начинаю понимать.

В одной рубашке, она опустилась на ковер перед очагом, обхватив руками голые, поднятые к подбородку колени, волосы рассыпались по плечам, материя мягкими складками красиво очерчивала ее стройную фигуру.

— Я попробовала немного заглянуть в будущее, — задумчиво произнесла она наконец.

— Путешествия, встречи с друзьями...

— Да, конечно, — прервала она меня. — Тогда жизнь в поместье покажется более сносной.

— Неужели она кажется тебе несносной, Глэдис? — спросил я, и на сердце у меня стало тяжело.

— Ах, нет, конечно нет! Ты же знаешь. Я счастлива там. Но, говоря о друзьях, о поездках, я думаю и о тебе. Не могу представить, чтобы ты все время только и делал, что работал по хозяйству. Такая жизнь делает человека ограниченным и скучным.

— По-твоему, я стал ограниченным и скучным?

— Немножко. Ты даже говорить стал иначе.

— Неужели мы перестали понимать друг друга, Глэдис?

— Даже не знаю...

— Мы так мало времени провели вместе.

— Да, если все сложить, то получится меньше месяца! Есть, вернее, были другие мужчины, с которыми я встречалась, когда путешествовала с мамой. Некоторые из них сопровождали нас, и по крайней мере двоих я знала лучше тебя... и понимала лучше.

Устало вздохнув, она положила подбородок на колени.

— А они понимали тебя лучше, чем я, да? — ласково спросил я.

— Думаю, да.

— Может быть, ты путаешь сходство взглядов с пониманием?

— Возможно, — ответила она не сразу и словно сердито.

— Мне нравится узнавать все новое о тебе.

— Ах, нет, милый... не все! Мне бы хотелось... Но, Джон, я мечтаю гордиться тобой.

— Кем же ты хочешь, чтобы я стал?

— Мы говорили, что ты мог бы писать... но теперь я не уверена, что ты будешь этим заниматься... Поглядев на всех этих людей сегодня вечером, я подумала... А не попробовать ли тебе заняться политикой или чем-нибудь в этом роде?

— Здесь и без меня достаточно людей, которые поколение за поколением отдавали себя государственной службе.

— Стало быть, все вакансии заняты.

— Да, но дело не только в этом. Их честность, умение и заинтересованность позволили снять бремя с остальных.

— Но должно ведь и здесь найтись что-то нуждающееся в исправлении, преобразовании?

— Ничего, что другие, обладающие гораздо большим опытом и познаниями, не смогли бы сделать лучше.

— Я вижу, ты человек не самолюбивый. Возможно, такой у тебя характер, и это одна из причин, почему ты здесь. И конечно, я понимаю, что человек ты здесь новый и тебе многому нужно еще научиться. Но неужели, — она неожиданно возвысила голос, — неужели ты хочешь, чтобы и твои дети всю жизнь были фермерами? Что ты думаешь о них и об их будущем?

Слова ее потрясли меня. Сидя на ковре, она глядела на меня снизу вверх непонимающе и враждебно.

— Почему ты говоришь о них так, словно это будут только мои дети? — спросил я. — Это будут не мои и не твои, а наши, наши дети и унаследуют они частицу каждого из нас. И будут продолжением каждого из нас... наших жизней на нашей земле.

Глэдис сидела застыв.

Ей предстояло выносить в своем чреве наших детей, которые будут жить в поместье на реке Лей, но ее очаровательная, любимая головка с ниспадающими на плечи блестящими темными волосами была полна упрямых мыслей, желаний, надежд, внушенных другой цивилизацией — ее, но уже не моей.

Я глядел на ее обнаженные руки, колени, тонкие лодыжки и страстно желал ее, такой она была беззащитной, такой похожей на готовое к севу поле. Когда я говорил, были ли мои слова правдой, или же я думал о ней только как о плодородной ниве... Но ведь не мог же я воспринимать ее самое и ее мысли отдельно... иначе куда брошу я свое семя и какой получу плод?.. Но я не собирался отказываться от своих слов.

Я опустил на пол рядом с Глэдис, но не дотронулся до нее.

— Я забочусь о наших детях больше, чем ты думаешь, — сказал я, — и об их будущем тоже.

Она снова опустила голову так, что мне были видны только разделенные пробором волосы.

— Кем ты хочешь видеть наших детей, Глэдис? — спросил я. — Какими ты представляешь их себе в будущем?

— А ты? — спросила она, покачав головой.

— Я думаю, что они будут помогать нам в хозяйстве. Они будут знать его лучше, чем мы, а значит, и мир усадьбы будет для них шире и богаче. Им не придется заботиться о крыше над головой, о хлебе, и они смогут жить в свое удовольствие. Поместье станет для них сном наяву. Они полюбят его... У них появятся собственные притязания, — не волнуйся! — но это будет не стремление властвовать над другими, а надежды и желания, связанные с творчеством, красотой, любовью, работой. И за всеми этими стремлениями и надеждами будет стоять их, наша, усадьба — их главная реальность. Притязания их будут так же глубоки и всепоглощающи, как у американцев, но поместье даст им прочную основу. Их не будет одолевать самолюбивый зуд, потому что у них не будет причин для неудовольствия и беспокойства. Нам же следует заботиться о том, чтобы не заразить их той горячечной тревогой, которую мы унаследовали из нашей бывшей жизни и привезли сюда.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Глэдис. — Разве я похожа на человека, одолеваемого тревогой?

— Да, так же, как и я сам раньше... да и сейчас.

— Нет, ты не похож. Прости, если я кажусь тебе чем-то недовольной.

— Дело не в этом! Но самолюбивые притязания кажутся тебе чем-то таким, что хорошо само по себе. И это естественно. Наши родители, учителя и друзья вечно твердили нам, какими мы должны быть. Только вспомни! Каждый, внушали нам, должен стремиться стать джентльменом или леди, каждый должен быть патриотом, примерным гражданином, бескорыстным, честным, компанейским парнем, вождем и, уж конечно, сделать карьеру. Перед нами ставили множество целей, которых мы обязаны были достичь, но ни одна не была

определенной, каждый трактовал их по-своему, а некоторые были попросту несовместимы друг с другом. Это было мучительно, хотя тогда мы и не понимали этого, — постоянно ломать голову над тем, как примирить между собой расплывчатые, смутные понятия. Чего же удивляться, что мы одержимы беспокойством! Чего же удивляться, что наш образ мыслей делал нас невосприимчивыми к реальной жизни!

— Значит, мы будем приучать наших детей к такой жизни?

— Мы должны постепенно вводить их в мир и приучать жить в доме, как приучают щенят, только дом этот проще, а в здешней жизни гораздо меньше нелепых, сумасбродных правил, чем в том сложном, запутанном мире, откуда мы пришли! И еще — по мере сил мы должны предоставлять им возможности...

— Для чего? — прервала меня Глэдис и безнадежно передернула плечами.

— Возможность познавать красоту, трудиться, жить здоровой жизнью, заводить друзей.

Она вздохнула:

— Я плохо себе это представляю. Однако я уже думала о том, какие им нужны друзья и какое общество.

Меня словно обдало волной горячего воздуха. Нежность, желание, ласковая жалость смешались в этом чувстве. Холодная логика мыслей отступила на задний план — ведь она уже думала о наших детях! И теперь я хотел знать ее мысли. Словно угадав мое настроение, она наконец подняла голову и взглянула на меня:

— Именно это я имела в виду, когда сказала, что думаю о будущем. Я хочу, чтобы их друзьями были не Ансели, Стейны и Дартоны, а скорее люди, похожие на Дорнов.

— И я ответил, что мы встретим еще немало людей, и их дети будут друзьями наших.

— А я сказала, что буду этому рада.

Я взял ее руку, она была горячей:

— И еще, Глэдис. Ты видела болота только мельком, а фермы, которые мы проезжали, не самое привлекательное зрелище. Здесь есть и другие, куда более красивые места...

— Еще я видела горы...

— Но только издали! Провинция Сторн, скажем, похожа на Девоншир, но там больше простора и более дикая природа, а Вандор, где я сам еще не был, должен быть похож на Норвегию...

— А Вантри! Помнишь, Гартон приглашал нас?

— А Город — он не похож ни на один другой в мире.

— Ты ведь раньше жил там! Я хочу повидать твой дом. Надо обязательно съездить!

Я ласково коснулся ее пальцев и поцеловал каждый в отдельности.

— Джон, — сказала Глэдис, — я беру обратно свои слова насчет усадьбы и того, что жизнь здесь сделала тебя скучным и мы перестали понимать друг друга. И потом, я даже не представляла, что ты так много думаешь о наших детях.

Я привлек ее к себе, но она отодвинулась:

— Но в наших детях будет столько же моего, сколько и твоего.

— Этого-то я и хочу. Разве ты не рада?

— Ах, конечно! Но как можешь радоваться ты?

Я обнял ее и прижал к себе, подумав: а не завести ли нам ребенка прямо сейчас? Но Глэдис пробыла в Островитянии меньше месяца...

Следующие два дня были совершенно счастливыми. Мы осмотрели верфи и доки, съездили в Тэн и, забрав лошадь из Фаннара, вернули ее хозяину, подарив ему мешок яблок и дюжину бутылок вина. Вежливо отказавшись от предложения переночевать, мы отправились к Дорну III, судье. Он был дома, и они с Глэдис очень понравились друг другу. На следующий день мы

поехали обратно, но другой дорогой: не заезжая в Тэн, мы пересекли реку Листер и поехали через холмы, отделяющие ее от реки Лей. Так, через земли Севинов и Ранналов, мы добрались до нашего поместья.

Отведя Фэка и Грэна на конюшню, мы пошли к дому. Стоял уже поздний вечер, тихий, пасмурный и прохладный.

Глэдис выглядела веселой и довольной.

— Ну вот, — сказала она, — мы и вернулись домой, в нашу усадьбу!

В голосе ее мне послышалась скрытая насмешка и неприязнь.

Май — в Америке в это время стоял сентябрь — тянулся долго. Из-за отсутствия денерир работы прибавилось. Я был счастлив, с головой уйдя в хозяйственные заботы, но было несправедливо по отношению к Глэдис отдавать им все время. Она могла бы мне помочь или хотя бы просто находиться рядом; однако она никогда не делала этого сама, если только я не просил ее специально, — казалось, ее удерживает какая-то непонятная мне робость, с которой я, впрочем, мирился, надеясь, что со временем она пройдет. Все просьбы она исполняла беспрекословно, радостно, с готовностью, но вкладывала так мало души в работу, что я вновь чувствовал себя бессердечным хозяином, и всякий раз мне было неловко предлагать ей заняться тем-то и тем-то. И все же иногда, когда нам случалось работать в поле вдвоем, вдалеке от остальных, она казалась искренне довольной. Так мы провели два вполне счастливых дня, подправляя изгороди на пастбищах. Однако чаще, когда я уходил на работу, Глэдис оставалась дома. Один или два раза она даже делала наброски, которые хранила в ящике с красками и едва решалась мне их показать, так что я даже толком не сумел рассмотреть их, не желая принуждать Глэдис выдавать мне секреты своей работы. Бывало, когда я возвращался, она рассказывала о том, как ходила прогуляться, — обычно она гуляла по дорожкам, тянувшимся вдоль реки. Иногда она одна выезжала верхом на Грэне. Примерно через день мы отправлялись прогуляться вместе, пешком или верхом, но устраивать эти вылазки было непросто. Как только я предлагал составить ей компанию, она учиняла мне настоящий допрос: а не жертвую ли я ради нее какими-то другими делами? Одного того, что я ее приглашаю, было ей недостаточно, и, подвергаясь каждый раз тяжкому испытанию, я уже побаивался приглашать Глэдис куда бы то ни было. Правда, выдалось и несколько безмятежных дней, когда из-за проливного дождя со снегом мы оставались в мастерской, сколачивая рамы и подрамники для ее будущих картин.

Вечера мы проводили вместе, почти все время дома. Три или четыре раза выбирались на званые дни к соседям, а один раз принимали гостей у себя, с танцами под музыку Ансея-брата. Глэдис была очаровательна в роли хозяйки, непринужденно держась как со стариками, так и с молодежью. Казалось, вечер ей очень понравился, но потом она сказала, что рада, что следующий будет не раньше чем через месяц.

Она много читала, и чтение помогало ей коротать время, но потом ею овладевало беспокойство, тревожные мысли, она без конца сравнивала Островитянию с Америкой, и мы подолгу спорили об этом, иногда расходясь во мнении, и порою споры наши бывали очень жаркими. Впрочем, Глэдис старалась быть беспристрастной и читала книги на английском наравне с островитянскими — «Жизнью Альвины», «Записками с Болот», притчами и стихами. Много в них вызывало ее неудовольствие, и частенько под конец наших споров она кричала, что ей хочется прочесть какой-нибудь новый, увлекательный роман и что ей не хватает газет и журналов.

Втайне я подолгу и с тяжелым сердцем думал о том, как нелегко ей приспособиться к жизни, которую я для нее устроил. Вспоминая, как все было за несколько месяцев до того, как я принял решение остаться в Островитянии, я надеялся, что и Глэдис проделает тот же путь и

полюбит новую для нее страну, образ жизни ее обитателей, ее красоту и царящий повсюду покой, как любил их я. Тем не менее часто мне казалось, что вокруг, даже днем, темнота, и чувство это не проходило, даже когда я работал в поле и когда мы просто разговаривали или спорили по вечерам; и все было бы еще печальнее и тяжелее, не продолжай мы так страстно желать друг друга. Наша страсть была тем огнем, у которого всегда можно было согреться. Когда мы любили или говорили о любви, между нами не возникало разногласий; однако иногда казалось, будто мы слишком часто прибегаем к этому средству, ища только услады чувств, не испытывая истинного тяготения друг к другу, — просто потому, что в любви мы были едины. Иногда вслед за наслаждением появлялось чувство, что я злоупотребляю привлекательностью Глэдис, мой внутренний огонь становится тусклым, вот-вот погаснет и тогда наступит полная тьма и зловещие тени — предвестники бури — обступят меня. Однако на следующий день, освеженный работой, я вновь исполнялся надежды.

Настал июнь, а с ним зима; дни стали короче, пасмурнее, дул холодный ветер, земля промерзла. Несмотря на пылающие в очаге дрова, их режущее пламя, Глэдис жаловалась, что в доме холодно, однако носить зимнюю одежду островитянок отказывалась. Ей не хватало парового отопления, тонкого и легкого, не стесняющего движений нижнего белья, и в морозные дни она держалась поближе к очагу.

Как-то в начале месяца выдался погожий день, и когда я вернулся после тяжелой работы — мы рубили лес, — то увидел, что Глэдис сидит усталая и на щеках ее полыхает румянец. Она сказала, что долго гуляла. За ужином она молчала, и я приписал это все той же усталости. Потом мы поднялись наверх, в мастерскую, я развел огонь, придвинул к очагу скамью, так, чтобы не дуло, покрыл ее ковром, чтобы было помягче, и Глэдис легла, не сводя с меня пристального, вопросительного взгляда.

— Ты очень ласков со мной, — сказала она так, словно была этого недостойна, а я — незаслуженно добр по отношению к ней. Я сел на пол рядом со скамьей. Казалось, что между нами — непреодолимая стена и мы далеки как никогда. Ветер завывал за окнами, становилось все холоднее. Я взял Глэдис за руку, но она решительно, с силой высвободила ее.

— Мне надоело, что эти окна так скрипят? — крикнула она.

— Закрою их поплотнее, — сказал я, подымаясь.

— Ах, не надо! — снова крикнула Глэдис. — Сиди, пожалуйста! Не волнуйся! Все это чепуха!

Я снова сел, глядя в огонь и думая, чего же ей на самом деле хотелось — чтобы я послушался ее или плотнее закрыл окна? Она лежала на скамье, и я чувствовал, как она тяжело смотрит мне в затылок... Почему она так резко отняла руку? Мог ли я винить ее за то, что ей неприятно мое прикосновение? Возможно, что-то было не так и она хотела выяснить это со мной. Я ждал, несколько задетый тем, что она непонятно почему отняла руку, понимая, что спорить бессмысленно, и в то же время счастливый оттого, что она рядом, испытывая, несмотря на усталость, чувство разлитого по всему телу сладкого покоя, испытывая желание, но не горячечно-нетерпеливое, а терпеливо-выжидательное, зреющее в уверенности, что немного позже она ответит на него, пусть и не захотела дать мне свою руку.

— Ты ничего не спросил о том, как я гуляла, — нарушила молчание Глэдис.

— Ну и куда же ты ходила?

— Мы прошли вдоль реки до поместья Севинов и обратно, к Верхнему мосту, а домой я возвращалась через холмы.

«Мы»? Но кто был с ней? Неужели она хотела, чтобы я сам спросил об этом?

— Получается целых пять миль, — сказал я.

— Замечательная прогулка. Мы повстречали маленького серого волка. Никогда раньше

такого не видела... Молодой Севин сказал, что они безобидные и спускаются с холмов зимой, но когда я заметила, как между деревьев промелькнуло серое пятно, то перепугалась.

Значит, ее сопровождал молодой Севин. Случайная встреча или свидание?.. Я ждал ответа.

— Мне приходилось видеть их пару раз, — сказал я наконец. — Они скорее похожи на лису, чем на настоящего волка... Надо сказать Анселю — они таскают кур.

— Что мне делать, Джон? — спросила наконец Глэдис после долгого молчания. Голос ее дрожал. Я повернулся к ней, и во взгляде ее мне почудился упрек.

— Но что случилось, Глэдис? — Я дотянулся до ее руки, пробуя догадаться, о чем она думает.

Услышав мой вопрос и заметив движение, она вздрогнула и спрятала руки.

— В чем дело, скажи? — мягко обратился я к ней.

— А ты как думаешь?

— Я не знаю, Глэдис.

— Ты не знаешь, что молодой Севин заходил ко мне... пять или даже шесть раз?

— Нет. Я только однажды встретил его, когда возвращался домой...

Сердце гулко билось у меня в груди.

— И еще он... мы несколько раз ходили с ним гулять.

— Это правда, Глэдис?

— Раз я сказала — да!

Что мог я ответить, подумать?

— Но я не вижу в этом ничего страшного, Глэдис.

— Значит, во мне заговорила островитянка?

— Ах, Глэдис, это вовсе не по-островитянки — скрывать от меня подобные вещи!

Она негромко, жалобно вздохнула, и я отвел взгляд.

— Я не собиралась ничего скрывать.

— Но тебе было нелегко сказать об этом попросту, верно?

— Да, наверное, ты прав. Когда ты возвращался, твои мысли были совсем о другом. Часто ты казался таким далеким. И обычаи здесь совсем другие.

— Не беспокойся, Глэдис.

— Нет, я беспокоюсь... и меня беспокоит очень многое. Я все время думаю... Скажем, я знаю, что Ансель-брат и Станея давно были любовниками, а теперь живут наподобие пожилой супружеской пары или как друзья, на свой лад. Она сама прямо сказала мне об этом. А ты знал?

— Я подозревал, но, как бы то ни было, меня это не особенно тревожило.

— Но если бы речь шла о тебе самом?..

— Обо мне, Глэдис?.. — воскликнул я.

— Да, Джон, о тебе! Например, твои отношения с той девушкой, о которой ты рассказывал мне в Нью-Йорке. Я думала... Ты рассказывал об этом как о чем-то совершенно естественном... сказал, что ни о чем не жалеешь... Я никогда раньше не спрашивала тебя.

Она резко замолчала.

— Эта девушка живет примерно в полтораста милях отсюда, — сказал я, — и я не видел ее, не писал ей, ничего не слышал о ней с тех пор, как здесь, да и вспоминал о ней не часто. У меня было много других забот. Несколько раз я, правда, думал, что будет, если судьба сведет тебя или меня с нею. Рано или поздно мы, наверное, встретимся...

— Не беспокойся! Я ничего не узнаю.

— А тебе хотелось бы знать?

— Не думаю... Разве только тебя что-то в ней заинтересует.

— Если нас заинтересует.

— Мне все равно.

— Если не все равно — скажи! Ни она, ни я не стыдимся того, что между нами было. Она была бы не против, если бы я все рассказал тебе.

— Именно! Тебе никогда не бывает стыдно. Здесь вообще никто ничего не стыдится! Именно это меня так расстраивает. Я думала, тебе будет стыдно... Мне бы на твоём месте — было!

— Не уверен, — если бы ты действительно была серьёзно увлечена и считала свое чувство естественным. Воспитание могло бы навести тебя на мысль о том, что это нечто постыдное, но в глубине сердца ты знала бы, что это не так.

— Я не могла бы не стыдиться!

— Ах, нет... стыд тут ни при чем.

— Но ты жалеешь?

— Немного, потому что мне не всегда удавалось быть на высоте. Я рассказывал тебе в Нью-Йорке... А ты — жалеешь?

— Я не хочу жалеть... я хочу, чтобы ты пришел ко мне так же, как я к тебе. Но я любила тебя. И до сих пор люблю только тебя одного. Мне не столько важен сам факт, как то, что ты... что тебя это не беспокоит, что ты всем доволен... Что же будет с нравственностью, если люди так ко всему относятся? И вообще, есть здесь хотя бы такое понятие?

— Законы нравственности действуют, налагая запреты. Здесь любовь так сильна и естественна, что правит она, а в запретах нет нужды.

— Ах, дорогой... это неправда, люди не таковы!

— Здесь это правда, больше, чем в Америке или Европе.

— Пусть, но... но я все еще американка, и мне страшно.

По тону ее я понял, что ей действительно стыдно и больно; сердце мое учащенно забилося и снова сжалось свинцовым комом.

— Ты что-то хочешь сказать мне, Глэдис?

— Какая разница, если здесь не существует нравственных принципов?

— Это важно для твоего собственного спокойствия.

— А как насчет твоего?

— Для моего тоже. Итак, Глэдис?

Она ответила не сразу, и я затаил дыхание.

— Молодой Севин хотел поцеловать меня.

— И поцеловал?

— Да... однажды. Он застал меня врасплох.

— Когда это было, Глэдис?

— Сегодня днем.

Схватив ее руку, я сжал ее так, что хрустнули суставы. Боль и ревность одинаково жгли меня. Я видел, что Глэдис больно, но она не вымолвила ни звука.

— Мне пришлось объясняться на островитянском. И я не знала, что сказать, — воскликнула Глэдис смятым, дрожащим голосом. — Он вел себя вполне прилично. Правда, перед этим мы говорили о достаточно личных вещах. Наверное, я немного кокетничала, но, Джон, в мыслях у меня не было ничего дурного... Ты не представляешь, что мне пришлось здесь пережить! А сегодня он попытался взять меня за руку и поцеловать. Бедный Севин! Все произошло так внезапно. Все было хорошо, но вдруг он стал умолять меня. Он говорил, что я такая красивая, что он ничего не может с собой поделаться... Я попробовала объяснить ему. Но все островитянские слова, как нарочно, вылетели из головы. Я сказала, что он забыл — я принадлежу тебе... Кажется, он не понял... Я сказала, что нам надо остановиться, иначе все

может зайти слишком далеко... Но он не обращал на мои слова никакого внимания и все старался схватить меня за руку, а я не давала. Он стал говорить, что не видел никого прекраснее меня... Ах, Джон! Я уже не надеялась на уговоры и страшно перепугалась. Потом меня словно осенило, и я сказала: «Я чувствую *анию* к Джону, к нему одному». Он спросил: «Кто такой Джон?» — «Ланг! — сказала я. — И только к Лангу я чувствую *анию*. А к вам я ничего, ничего не испытываю!» Больше я не нашлась что ему сказать. Тогда он сразу успокоился и сказал, что лучше не пойдет меня провожать. Я ответила, что мне тоже так кажется и что ему вообще не следует со мной видаться. Он согласился, но добавил, что хочет объясниться.

Мы стояли на Верхнем мосту, и я дала ему время выговориться. Он спросил, почему же я сразу не сказала, что чувствую к тебе *анию*, что он совсем не понимает меня, что меня очень трудно понять, ведь я никогда не говорю, что чувствую, иногда кажется, что я собираюсь что-то сказать, но этого не говорю. Как же тут догадаешься? Я ничем не дала ему понять, что ты и я влюблены в одну *алию*. Конечно, он знал, что мы живем вместе и, вполне вероятно, любовники. Потом он напомнил, как однажды спросил меня, счастлива ли я в своей *ании* и *алии*, и я ответила — нет, но стараюсь. Мне и в голову не пришло, что таким образом он спрашивает, люблю ли я тебя. Я думала, он хочет спросить, довольна ли я своей жизнью... Я попыталась объяснить ему это. Наконец он ушел, сказав, что теперь понял меня и больше не доставит мне хлопот своей *анией*... да, он сказал именно это слово! А потом ушел. Я думала, умру от стыда, и еще долго стояла на мосту и вся дрожала.

Я держал ее руку, не отпуская. Потом приложил ее к щеке, поцеловал. Пальцы ее были такие безвольные, что я подумал: а чувствует ли она сейчас хоть что-нибудь?

— Все хорошо, — сказал я. — Все в порядке, Глэдис... Мне жаль, очень жаль, что так случилось. Не волнуйся.

— Ничего хорошего! — крикнула она.

— Ты все верно сказала... Ведь ты любишь меня.

— Да, теперь я это окончательно поняла... но это не все... Ах, Джон, дорогой, любимый, я думала, что после того, как выйду за тебя замуж, я никогда больше не буду испытывать к другим мужчинам таких чувств, как раньше. Я старалась быть хорошей, вести себя пристойно и все прочее, но, наверное, я человек неустойчивый, мне так кажется. Я думала, что могу чувствовать *это* только к тебе. А оказалось — нет. И к нему я чувствовала то же... пока не увидела, чем все может кончиться... и тогда, тогда меня просто охватил ужас. Я очень, очень люблю тебя! Что же во мне не так? Боюсь, теперь ты возненавидишь меня.

— Никогда!

— У тебя есть право меня ненавидеть.

— Нет, только жалеть, потому что ты страдаешь.

— И тебе безразлично то, что я к нему испытывала?

— Что же?

— Я хотела, чтобы он меня поцеловал.

— Тогда — что тебя остановило?

— Я принадлежу тебе.

— Только это?

— Но что же еще, Джон?

— Ты вызываешь во мне гнев, отвратительный, слепой гнев, — сказал я.

— Неужели, Джон? Прости.

— Нет, — ответил я. — Ты рада, и я тоже очень рад!

Наши взгляды встретились. Я поднялся, сел рядом с ней на скамью и взглянул ей в лицо:

— Давай покончим с этим. Ты чувствуешь себя грешницей?

Подбородок у нее задрожал.

— Да, грешницей... Почему ты ничего со мной не сделаешь?

— Знаешь, о чем я думаю?

— О чем?

— В тебе огромный запас жизненных сил. Жизнь, которую ты ведешь, не дает им выхода.

Глаза ее устремились в одну точку, она перестала дрожать.

— Хочешь сказать, что я ленюсь?

— По сути, ты ничего не делаешь, только пребываешь в сознании, что ты — моя собственность. Оказывается, этого мало.

Она отвернулась:

— Что я могу тебе ответить?

— Скажи, о чем ты думаешь, начистоту. И закончим этот разговор.

— В чем-то ты прав. От меня действительно никакой пользы, и тебе — меньше всего. Но как я могу приносить пользу, если отдаю всю себя, а ты говоришь, что этого мало?

— Тебе не нравится усадьба, Глэдис?

— Нет. Все это — твое, здесь нет ничего моего. И сама я тоже принадлежу тебе, вся без остатка. Все здесь твое! Я не могу чувствовать себя нормально, я задыхаюсь, потому что ты не хочешь, чтобы я принадлежала тебе. Ты сильный, всегда спокойный, самоуверенный и бездушный. День ото дня я все больше от тебя завишу... Ты не подпускаешь меня к себе. Ты такой холодный.

— Холодный? — переспросил я. — Разве я холодный, когда люблю тебя?

— Нет... Наверное, тебе просто нравится мое тело. Но этого мало! Я отдала тебе все, что у меня есть. И я хочу, чтобы ты был моей опорой. Ты не хочешь, чтобы я принадлежала тебе вся... Ах, Джон, Джон! Мне так страшно. Вначале все было таким прекрасным, таким совершенным, таким дорогим. И я была счастлива! Боюсь, что теперь я могу все испортить!

— Да, можешь, — ответил я.

— Почему же ты позволяешь мне сделать это?

— А почему ты позволяешь себе все испортить?

— Неужели я одна во всем виновата? Если ты так считаешь, то почему не подскажешь мне, как поступать правильно? Я принадлежу тебе, что бы ты ни говорил.

— Как же я могу подсказать тебе?

— Разве ты не видишь, что я целыми днями без дела, что я грущу... тоскую по дому? Разве ты не понимаешь, что я... что я действительно заигрывала с молодым Севином? Мне нужно, чтобы мной руководили. А ты бросаешь меня одну. Ты так холоден, так безразличен ко всему, а мне нужно...

— Что?

— Мне нужна сильная рука. Ты слишком мягок со мной. Я вся — твоя. Мне нужно только подсказать... подсказать, чем заняться, будь то любая работа, живопись, все равно что. Конечно, я могу заартачиться, да, но ты должен заставить меня — наказать, отхлестать кнутом, сделать что-нибудь. Я не могу до всего доходить сама.

— Значит, я должен завести свой порядок, а если ты не будешь слушаться, наказывать тебя, как ребенка?

— Речь идет о нашем счастье. Разве ты не видишь, что мне нужна твоя помощь? С тобой все в порядке. Ты — само совершенство, и я люблю тебя. Только ты не...

Она замолчала.

— Договаривай же.

— Я хочу сказать о том, что тебе не нравится.

— Скажи!

— Тебе не нравится помогать мне, руководить мной. Ты просто любишь меня, а, по сути, я одна. Ты не заставляешь меня делать то, чего тебе хочется. Неужели ты не понимаешь? Я — твоя, и я готова быть такой, какой ты хочешь меня видеть. Сама я этого не могу.

Я взял ее руки и сжал их не очень сильно, но так, чтобы она почувствовала.

— Я мог бы сделать это, — сказал я. — Я мог бы сделать из тебя все по своей прихоти. Я мог бы наказывать тебя, бить хлыстом. Я, пожалуй, и в самом деле хорошенько бы наказал тебя, Глэдис... Но это отравило бы наши отношения! Представь, если бы ты делала все не по своей, а по моей воле. Ты подчинялась бы, утаивая свою свободу. Ты всю пользу пользовалась бы правом не соглашаться со мной и не покоряться мне. А весь груз вины за то, что происходит, перекладывала бы на мои плечи. Меня же точило бы сознание того, что я отношусь к любимому человеку как к собственности, как... к вещи. Ты не моя собственность. Я не хочу, чтобы ты ею была. Ты ничего не обязана делать против воли... Ах, Глэдис, если ты любишь меня, давай мне то, что можешь дать! Не заставляй ничего вымогать у тебя силой только потому, что ты принадлежишь мне.

— Отпусти меня, — сказала она. Я встал. Глэдис резко поднялась со скамьи и бросилась к дверям спальни. — Что ж, тогда вини себя! — крикнула она, остановившись на пороге, и захлопнула дверь.

Я подложил еще дров в очаг. Теперь вход в спальню был для меня закрыт: странно было бы спать рядом с Глэдис после такого разрыва. Не хотел я лечь и на скамью, еще хранившую тепло ее тела, на смятое ею покрывало.

Я не дам ей погубить мое счастье.

Спустившись вниз, я понял, что и здесь не могу найти себе места. Снаружи дул ветер, сырой и стылый, как всегда перед снегопадом. Стояла непроглядная тьма, и я подождал на крыльце, пока глаза хоть немного не привыкли к ней. Потом спустился к реке, чувствуя каждый камешек под ногами. Дойдя до моста, я остановился: здесь была моя земля, и я не хотел уходить с нее.

Я не дам Глэдис погубить мое счастье, и, сколь бы сильно ни было ее желание принадлежать мне, ей не удастся переложить на меня груз своих разочарований и лишит меня возможности относиться к ней так, как повелевает мое сердце. Я буду всячески помогать ей, но, если она останется со мной, ей придется разделить мою *алию*, а не строить свою жизнь исключительно вокруг меня. Для таящейся в ней жизненной силы существовали выходы более плодотворные, чем стремление к несбыточному, чем тщетная попытка угадать свою волю и желание в моих. Мне нравилось, как упорно добивается она своей цели; мне было жаль Глэдис — ее сила могла помочь ей найти выход, но ее любовь ко мне затмевала происходящую вокруг нее жизнь.

Она чувствовала себя неудовлетворенной. Любви, желания — было недостаточно. Глэдис чувствовала себя растерянной. Она не понимала, что внутренний голод, вызванный отсутствием своей *алии*, заставил ее откликнуться на страсть молодого Севина. Она страдала... Я любил Глэдис за ее силу. Слабовольной она отнюдь не была. Я любил ее, и слезы любви и обожания текли по моим щекам.

Я не дам ей погубить мое счастье; не позволю, чтобы ее разочарование, ослабив то, что нас соединяло, превратило мою *анию* в *анию*. Мы не могли строить нашу жизнь только на любви и желании, даже если эти чувства сохраняют свою свежесть. Мы оба должны жить как внутри нашей любви, так и вне ее.

Но я не должен был уклоняться от борьбы и искать счастья в одиночку. Глэдис еще не

сдалась, и я должен был победить ее. Я должен был проникнуть в ее мысли, чувства, если хотел, чтобы она поняла меня, но я должен был и избежать соблазна встать на ее точку зрения, пойти у нее на поводу.

Прошло немало времени, пока я наконец не успокоился и вернулся в дом. Ощупью, в потемках я поднялся наверх и, пройдя через холодные притихшие комнаты, подошел к той, что была нашей. Вся жизнь дома сосредоточилась сейчас здесь. Остановившись у кровати, я вытянул руку — Глэдис легла.

— Глэдис?

— Да, Джон? — шепотом откликнулась она.

— Я тебя разбудил?

— Нет. Никак не могу уснуть. Где ты был?

— Прогулялся... до моста.

— Тебя долго не было. Как ты себя чувствуешь?

— Со мной все в порядке. А ты, Глэдис?

— Со мной тоже, Джон.

Немного помолчав, я сказал:

— Я хочу попросить тебя кое о чем.

— О чем? — тихо, словно испугавшись, спросила она.

— Завтра утром мы встанем пораньше, упакуем вещи и верхом поедем поглядеть на Островитянию. Ты поедешь со мной?

Глэдис молчала. Я положил руку ей на плечо:

— Значит, поедешь.

— Да, поеду. Думаю, мне это понравится.

— А теперь, — сказал я, — мы ляжем вместе и будем любить друг друга.

Она глухо вздохнула и пошевелилась.

— Мне кажется... — шепнула она, но я сделал вид, что не слышу.

Когда я лег рядом и прижал к себе ее безвольное тело, оно — теперь, после нашей ссоры — показалось мне незнакомым, чужим.

Глэдис всхлипнула:

— Прости, прости меня. Я чувствую себя такой виноватой. Я чувствую, что должна была...

— Замолчи, — сказал я и поцеловал ее, не дав договорить. В ту ночь, когда я обладал ею, мне казалось, что в моих объятиях — существо, не испытывающее никаких чувств, не имеющее никаких желаний. Глэдис как будто даже нравилось это, но мое сердце обливалось кровью.

Потом она, окончательно успокоившись, тихо и радостно стала расспрашивать меня, куда мы поедем. Я ответил, что определенных планов у меня пока нет, и единственное, что я твердо решил, то, что мы выезжаем завтра.

— Это будет так прекрасно, — сказала Глэдис.

И, даже сами не заметив как, мы погрузились в сон.

Наутро мы уложили по две смены белья в наши дорожные сумки, добавив еще кое-какие вещи, которые могли понадобиться в дороге и сделать наше путешествие приятным; после этого я отправился задать корм лошадям и сказать Анселю, что мы уезжаем; Глэдис и Станея приготовили ленч, и мы, неожиданно и без особых сборов, отправились в путь на неделю, а может, на месяц. Низкие серые облака плыли по небу, дул порывистый, но довольно теплый ветер, и, когда мы выехали на мост, коричневый плащ и капюшон Глэдис все были в блесках крупных, мягких снежинок. Черты лица ее, наполовину скрытого как у монахини, скорее угадывались; видны были только ярко-красные губы, разрумившиеся от ветра щеки, влажные от тающих на них снежинок, опушивших и ресницы, — лицо ее было счастливым, как у ребенка.

Мы поехали в сторону Доринга, остановившись перекусить в Дорингском лесу; снег заметал опавшую листву, но, несмотря на ветер, природа вела себя как шумный, неутомимый друг, а не озлобленный противник. Глэдис сказала, что, хотя ее матушка постоянно твердила, что единственным положительным достижением нашего времени является то, что погода перестала быть помехой в повседневной жизни, она, Глэдис, всегда любила ветер и дождь и рада встретиться с ними лицом к лицу; однако, когда мы добрались до Дворца, она устала и легла рано.

Следующий день тоже выдался пасмурный, но понемногу прояснилось и стало холоднее. Нашей целью был постоялый двор в ущелье Доан — месте красивом и интересном для меня, но уже привычном и не вызывавшем страха. Для Глэдис же ехать через высокогорное ущелье, да еще зимой, было внове. Здесь лежал глубокий снег, в котором была протоптана лишь узкая тропинка. Глэдис, оживленная, возбужденная и даже немного напуганная, очень серьезно относилась к тому, что в ее глазах выглядело как опасное, но увлекательное приключение.

Очарованный своей отважной спутницей, я легко угадывал ее чувства, переживал то же, что переживала она, и надеялся, что с моими давними мучительными воспоминаниями наконец покончено. Мне довелось немало выстрадать в этом ущелье, и в сердце моем оно оставалось святыней, связанной с памятью о Дорне. Сейчас я изо всех сил старался не поддаться вновь ее незримому обаянию. Я пытался жить простыми, естественными вещами и сохранить наши теперешние отношения с Глэдис в чистоте, не примешивая к ним своего прошлого. Любое движение в сторону от окружавшей меня реальности преградой вставало между мной и новообретенной красотой. Но я был еще недостаточно островитянином, чтобы воспринимать ущелье Доан само по себе. Из святилища доносились влекущие голоса. Мне же хотелось воздвигнуть новую святыню и поклоняться ей. Я страстно любил Глэдис, обожал ее, и моя новая богиня теперь требовала от меня жертв... Нет, я еще не стал достаточно простым человеком... Моя дорогая спутница и не подозревала о владевших мною противоречивых чувствах и поэтому была даже несколько озадачена знаками любви и внимания с моей стороны; а на следующий день, когда мы ехали под соснами, ветви которых сгибались под тяжестью снега, и сердце мое сжималось от боли при мыслях о Дорне, она говорила о том, как все это напоминает ей Рождество и предчувствие того, что нечто чудесное вот-вот должно случиться.

Но вот Кэннан с его вечно грохочущими водами остался позади, вокруг снова стояла не зима, а осень, мы выехали на равнины Инеррии, влажно-зеленые после недавнего дождя, и я снова был целиком во власти Глэдис. Она была совершенно счастлива, а запас молодых сил не давал усталости хоть на минуту ослабить окрылявшее ее чувство счастья. После ночи,

проведенной на постоялом дворе в Инеррии, мы направились к Сомсам, и здесь я решил дать Глэдис день отдохнуть. Подобно ребенку, который, увлекшись чем-то, никак не хочет остановиться, она сперва возражала, но, уступив мне, сполна использовала предоставившуюся ей передышку. Глэдис захватила почитать «Путевые заметки» Карстерса, этюдник и дневник, начатый еще в Нью-Йорке, который она вела вплоть до приезда в Островитянию, но в котором с той поры не появилось ни единой новой строчки. Теперь она не уставая заносила в него дорожные впечатления.

Гостья и хозяева — Сомс XII, Брома и Даннинга, его мать — понравились друг другу с первого взгляда. Весь клан Сомсов, включая тех, кто жил в Лорийском лесу, собрался, чтобы повидаться с Глэдис. Такая любезность еще больше укрепила нашу дружбу. Глэдис познакомилась с генералом в отставке Сомсом I, его женой Марринерой и молодым Сомсом, с которым мы когда-то копали канаву и нашли луковицу *дарсо*. Глэдис ему понравилась, и он держался с ней дружески, хотя и с большим тактом. В ту ночь, перед тем, как лечь спать, она сказала, что уже не так боится островитянских молодых людей. Память о поведении Севина и собственной вине до сих пор мучила ее, но все же она не отказывалась от своих слов. Хотя Сомс и показался ей более утонченным и надежным, она сказала, что все равно считает Севина человеком благородным.

— Это я виновата, Джон, — заявила она. — Надо было внести ясность с самого начала. Он просто меня не понял. Ты повел себя правильно... но я так рада, что мы уехали, хотя в этом не было особой нужды. Я люблю, люблю, люблю тебя!

И она доказала, что это не слова.

На следующий день, девятого июня, мы поехали к Бодвинам в сопровождении Сомса XII и Бромы, которые направлялись в столицу на собрание Совета, намеченное на одиннадцатое число. Мы все были примерно ровесниками, кроме Глэдис, но и ее уже можно было считать вполне взрослой. Брома, недавно переставшая кормить ребенка, чувствовала себя свободной, независимой, у нее было легко на сердце, она постоянно что-то напевала и подшучивала над нашими неторопливыми лошадьми. Лорд провинции, Сомс, тоже был в приподнятом настроении, заразившись весельем жены и Глэдис, довольной, что она обрела двух новых и симпатичных друзей. На этот раз мы направлялись к дому Бодвина, лорда Бостии, чья жена была одной из двоюродных сестер Сомса, а не к маршалу Бодвину, у которого я прежде останавливался. Нашей конечной целью было жилище Бодвина-младшего, но никто не собирался говорить Глэдис, что ей предстоит посетить дом, где когда-то жил островитянский Шекспир, а теперь его потомки. Не уверенный, что она знает, что Бодвин для островитян — Шекспир, я предоставил ей разобраться во всем самой.

Когда за ужином хозяин случайно упомянул об этом факте, я стал наблюдать, как Глэдис воспримет новость. На мгновение взгляд ее стал пристально сосредоточенным, а затем я заметил, что она уже с новым интересом разглядывает стены залы и обстановку. Вечером к нам заглянули Бодвин — брат маршала — и его молодая и немногословная жена, Кания. Глэдис, как американка, вызывала любопытство у островитян, в особенности же у такой пары, как эта, поскольку брат лорда Камии тоже женился на иностранке — единственный из известных мне потомственных островитян, кто решился на такой шаг. Женщину эту звали Мария (причем ударение падало не на «и»), точнее, Мэри Элис Миллер-Стюарт, и она была дочерью сэра Колина, строителя Субарры; Мария с мужем жили на берегу реки Танар, в двадцати милях отсюда. Она и ее сестра, жена ее брата — миссис Гилмор, англичанка, а также Глэдис были единственными иностранками, постоянно проживающими в Островитянии; при этом миссис Миллер-Стюарт вряд ли стоило брать в расчет, поскольку они с мужем, сыном сэра Колина, чаще жили в Англии. У Глэдис, когда она окончательно поняла, что она единственная

иностранка — не англичанка и не родственница Миллер-Стюартов, — постоянно живущая в Островитянии и на островитянский манер, разыгралось воображение и загорелись глаза.

Когда мы поднялись в спальню, ей захотелось поговорить на эту тему.

— Я хотела бы повидать миссис Бодвин, то есть Марию, — сказала она, — и Миллер-Стюартов, и Гилморов тоже. Как ты думаешь?

— Поедем и повидаем их.

— А это удобно? Ты хорошо с ними знаком?

— О да. И правда, не поехать ли нам вместо столицы к Бодвинам на Танар, а через день — к Гилморам?

— Вот было бы здорово. Хочется посмотреть, как живут здесь женщины, особенно Мария. Мне нужны подруги.

— Она вдвое старше тебя.

— Мне и хотелось бы иметь подругу, похожую на меня, но старше. — Взгляд ее стал задумчивым. — Понимаешь, мама... — она не договорила.

— Стало быть, едем завтра.

— Хорошо... если, конечно, ты не против. Тебе решать. Если ты настроился ехать в Город...

— Времени у нас достаточно...

— Вся жизнь у нас впереди, — со вздохом сказала Глэдис. — И все же меня не покидает чувство, что мы здесь проездом — гости, любители достопримечательностей вроде нас с мамой, когда мы ездили по Европе. Прости, если я причинила тебе боль.

Она протянула ко мне руку.

— Нет, ты вовсе не причинила боли, — ответил я. — Твои чувства — это твои чувства. Но я хочу, чтобы ты приняла Островитянию всем сердцем.

Глэдис выслушала меня потупясь, словно я читал ей нотацию. Когда я замолчал, она подняла глаза, на губах мелькнула улыбка.

— Я стараюсь, — сказала она.

— Ты просто чудо, моя дорогая Глэдис.

Она покачала головой.

— Ах, нет, но я хотела бы быть.

— Для меня ты — чудо...

— Но это не значит, что так оно и есть. Я несколько раз подводила тебя.

— Ты была собой, именно это я в тебе и люблю. Ты меняешься, растешь. Воспринимай все, с чем встречаешься в жизни, естественно, и ты почувствуешь себя здесь дома.

— Но разве я мало старалась?

— Много, но тебе мешали разные теории. Ты все рассчитываешь и сравниваешь, вместо того чтобы чувствовать и учиться.

Она отвернулась.

— У тебя такой вид, словно я в чем-то тебя упрекаю, — сказал я и коснулся губами ее гладкой теплой щеки. Она улыбнулась, но глаза ее были по-прежнему серьезны.

— Я учусь, — сказала она. — Потерпи, Джон, дорогой. И позволь мне иногда бунтовать. Можно я буду делиться с тобой всеми своими тревогами?

— Конечно!

— Стоит мне рассказать тебе что-то, и я тут же успокаиваюсь. Ты нужен мне... и даже больше, чем ты думаешь. Я люблю тебя и нуждаюсь в тебе, а ты хоть и любишь меня, но во мне не нуждаешься, поэтому иногда я ненавижу Островитянию.

— Если мы будем равны, то оба будем счастливы, даря себя друг другу. Если же человек

слишком нуждается в чем-либо, ему трудно дарить себя другим.

— Какой же ты все-таки странный! — сказала Глэдис и, будто окончательно решив, что говорить об этом бессмысленно, переменяла тему. — Почему ты не сказал мне, что в этом доме жил великий Бодвин?

— Ты считаешь его великим?

— Ты не ответил на мой вопрос!

— Я не сказал, потому что не был уверен, как ты это воспримешь. Ведь в конце концов это просто дом, где живут люди.

— Неужели ты испугался, что я поведу себя как туристка?

— Ах, нет! Но если Бодвин для тебя действительно великий человек, я предпочел бы, чтобы сами стены дома поведали тебе об этом.

— А тебе его сочинения кажутся великими?

— Да, и чем дальше, тем больше. Он лучше любого другого умеет выразить в слове дух Островитянии.

— Его притчи задевают меня за живое, — сказала Глэдис. — Мне кажется, будто он говорит со мной простыми, односложными словами, потому что больше я понять не способна, но в то же время он вкладывает в них скрытый смысл и с улыбкой смотрит поверх моей головы на тех, кому он доступен!

— И у меня когда-то было такое...

— Вся Островитяния такова, и ты не исключение!

— А как же те молодые люди, с которыми ты беседовала?

— Это нечестно!

— Они тоже смотрели поверх тебя с улыбкой?

— Конечно нет!

— Может быть, это только Бодвин и я?

Она долго не сводила с меня пристального взгляда, словно не узнавая и стараясь понять, кто же я на самом деле. Наконец она опустила глаза и едва заметно передернула плечами.

— Как бы там ни было, я люблю тебя, — сказала она серьезно, почти сурово, будто только сейчас с удивлением осознала этот факт и против воли смирилась с ним... — И я постараюсь полюбить Бодвина... Он мне всегда очень нравился. Правда, Джон! Пойду ложиться, — сказала она, вставая.

Пока она раздевалась, я достал из сумы томик «Притч» и стал листать его, ища подтверждений тому, что вызывало такой протест у Глэдис. Она подошла и, заглядывая в книгу через мое плечо, продолжала расчесывать волосы. Ее близость, слабый теплый запах ее тела отвлекали меня. Я обнял ее, но продолжал читать. Шуршание расчесываемых волос прекратилось, и я почувствовал, как щека Глэдис прижалась к моей.

Я положил книгу так, чтобы ей тоже было видно, и мы стали вместе вполголоса читать одну из притч:

«В этой части провинции Бостия, которую орошают воды реки Танар, земля черная, жирная, и главная забота селян состоит в буйном изобилии и скорости, с какой произрастают на ней сорняки, а равно и полезные злаки. Все здешние жители — добрые друзья, и многие из них ездят в Бостию, чтобы платить там свои налоги и покупать то, чего не производят сами».

Я почувствовал, как Глэдис кивнула.

— Как мы, когда ездили в Тэн, — сказала она.

Мы продолжали чтение:

«Некоего человека из этих краев соседи считали самым верным и самым справедливым судьей во всем, что касалось красоты пейзажа и резьбы по камню. Причем прозорливость и

точность его суждений были, по их словам, тем более удивительны, что сам он был совершенно неспособен хоть как-то украсить свое поместье, а все попытки заняться резьбой оканчивались неудачей. И все же они настаивали на том, что он — истинный художник. Я не спрашивал почему, хотя мне и было любопытно, что же они имеют в виду.

Раз, когда я пристраивал к своему дому новое крыло и собирался делать посадки, человек этот очень любезно явился дать мне несколько советов. Звали его Норал. Сам он ничего не предлагал, но внимательно выслушал все мои соображения и дал им разумную оценку, проявив при этом недюжинное воображение. Без его совета мой дом и деревья вокруг него не были бы такими красивыми. Откуда же взялась такая способность у человека, который сам не был способен создать ничего?

Позже я навестил Норала. Он был художником, но не в посадке деревьев и не в полевых работах или постройке зданий, не в камне и не в красках, — он был художником в своих отношениях с женщиной, разделившей с ним его *алию*, художником *ании*. Она росла, как растет цветок, он же не старался воспитывать ее, подобно вину, подрезать ветви, как подрезают их фруктовым деревьям, или прививать к стволу ее бытия чуждые побеги, хотя она любила его, как это умеют делать иные женщины, и разрешила бы ему все, пожелай он того. Тем не менее он удобрял почву, на которой она возрастала, выпалывал сорняки и заботился, чтобы никакая болезнь не коснулась ее. Она развивалась соответственно своему естеству и приносила свои цветы и плоды. Ничего не требуя, он получал многое. Он и сам щедро дарил, и дарил от сердца. Его руки ласково и бережно лепили ее жизнь, хотя любовь его была сильной и страстной. Ему не хотелось менять ее, а ей — его.

Отдыхая в их доме, я слышал их смех — бестревожный, подобный птичьему пению».

Уже закончив чтение, я ждал, пока Глэдис тоже дочитает до конца...

— Он был ласковый и нежный, — сказала она. — Он был похож на тебя.

Я привлек ее к себе. Полы халата распахнулись, и я поцеловал ее чуть пониже груди, в самую середину ее нежной плоти; поцелуй мой предназначался всей Глэдис, не одному лишь ее телу, но и ее мыслям, теориям, ее мятежной натуре. Она еще крепче прижалась ко мне, мягкая, теплая.

— Этот поцелуй предназначен не только мне, — раздался надо мной ее голос.

— Кому же еще?

— Ты поцеловал свою *алию*, Джон, дорогой. Я знаю.

— Нет, только тебя.

— Только меня и свою *алию*!

Она со смехом выскользнула из моих объятий.

На следующий день, десятого июня, Бодвин с Даннингой, Сомс и Брома расстались с нами, свернув на Главную дорогу, которая вела на юго-восток, к столице, а мы с Глэдис верхом на Грэне и Фэке продолжали наш путь, на северо-восток к реке Танар, по узким проселкам. Небо было затянуто тучами, а на земле лежал легкий белый снежный покров. Кругом преобладали черный, белый и серый цвета, сумрачные, даже, пожалуй, гнетущие, но мы были счастливы, то и дело мысленно возвращаясь к сюжету Бодвиновой притчи. Вот по этой дороге, вполне вероятно, ехали Бодвин и Норал. Глэдис надеялась, что в этих краях еще живут потомки Норала. Мы говорили о Бодвине, и она изумлялась тому, как мало изменилась с тех пор Островитяния, хотя, скажем, нынешняя Англия ничуть не напоминает Англию Чосера и даже Шекспира.

Пару раз мы сбивались с пути, но это нас не тревожило. Холодный туман приглушал свет дня. На распаханых землях поместий снег лежал между бороздами, и рядом с его белизной еще

ярче проступал чернозем, земля казалась еще чернее. Мы подъехали к дому Бодвинов с наступлением темноты.

У Мэри Элис Миллер-Стюарт вид был до того английский, что трудно было удержаться и называть ее Мария, а не миссис Бодвин. Она носила обручальное кольцо, но и Глэдис — тоже. Ей было около сорока трех, яркий румянец полыхал на несколько поблекшей, обветренной коже щек, тонким чертам лица недоставало женственности; в голубых глазах застыло выражение давних, детских обид; она была худощава и порывиста в движениях. Рожденная в Островитянии, воспитание она получила в Англии и временами обращалась к нам на английском. Я не встречался с ней прежде, но слышал, что она — автор книги по островитянскому искусству.

Она радушно пригласила нас в комнату, стены которой от пола до потолка были увешаны картинами и рисунками, барельефами, европейскими и островитянскими, попадались и предметы чисто английской обстановки, угостила нас чаем и посетовала, что мы приехали зимой и она не сможет показать нам свой сад. Она была рада, что мы заехали навестить ее, и выразила надежду, что и ей удастся как-нибудь выбраться к нам, сожалела, что Глэдис живет так далеко от нее, от Гилморов и от ее брата и невестки (они были сейчас в Англии), и надеется, что Глэдис не чувствует себя одинокой. Несмотря на немногочисленность колонии иностранцев, добавила Мария, все они — хорошие друзья. Они собираются на Рождество во дворец ее брата, в Камии, и она надеется — у нас найдется время присоединиться к ним... а теперь не угодно ли нам взглянуть на кое-какие образцы островитянского искусства из ее коллекции?..

В тот вечер нам с Глэдис не удалось поговорить как обычно, обсуждая впечатления, скопившиеся за день. Глэдис слишком устала. Она долго беседовала с Марией, которую все же решила называть миссис Бодвин, в то время как мы с Бодвином сидели в его довольно скупо обставленном кабинете-мастерской, потягивая *сарку*.

Следующее утро тоже выдалось неприветливым, сумрачным, и мы продолжали наш путь почти в полном молчании. Глэдис к тому же плохо выспалась. Мне было любопытно, о чем они так долго говорили с Марией. Когда мы отъехали от дома на несколько миль по размытой, черной земле проселка, Глэдис пристроилась рядом со мной и посмотрела мне прямо в глаза:

— Что ж, миссис Бодвин была очень мила с нами, разве нет? Но ведь она до сих пор — англичанка!

— Мне тоже так показалось.

— Почему же тогда она осталась здесь?

— Потому что ее муж — островитянин.

— Да, наверное, дело в этом... Она дала мне несколько советов.

— Каких же?

Глэдис нерешительно взглянула на меня:

— Ты выглядишь совершенным островитянином, и я даже не знаю, говорить тебе или нет. Она тоже так подумала и говорила о тебе как об островитянине, но потом вспомнила, что ты американец, и сказала, что это, без сомнения, даже лучше для меня... Она была так откровенна! Вот забавно... — Она замолчала и тихо рассмеялась: — В общем, попала я в положение... Но в конце концов мне даже стало все равно, кто ты, и даже чем больше ты похож на островитянина, тем лучше.

— Так что же она сказала? — снова спросил я.

— О, много всего. Сказала, что здесь хорошие доктора и мне не стоит беспокоиться из-за родов и что я еще слишком молодо выгляжу — просто девочка. А когда заметила мое кольцо, сказала, что островитянские свадьбы так не похожи на наши, что она настояла на том, чтобы жениться в ближайшей англиканской церкви в Св. Антонии. «Бодвин отнесся к этому

снисходительно, он вообще такой милый, но все же Островитяния — страна, в которой всем заправляют мужчины». Так что хотя островитянские мужчины и джентльмены, и преданные мужья, и хорошо воспитаны, и ни во что не мешаются, но держатся несколько свысока. Поэтому надо учиться полагаться прежде всего на себя... Тут она опять вспомнила, что ты не островитянин, и сказала: «Но вы ведь вышли не за островитянина, не так ли? А про американцев говорят, что они замечательные мужья». Потом она спросила, чем я занимаюсь, и я ответила, что рисую. Она была просто ошеломлена. По ее словам, островитяне очаровательно рисуют чем-то вроде пастели или цветных мелков, и еще углем, но серьезных художников здесь нет и в одиночку продолжать здесь заниматься живописью — дело безнадежное. Она убедилась в этом на собственном опыте. Тем не менее она пожелала мне удачи и посоветовала продолжать, пока есть время, потому что если упустишь главное, потом его не вернуть, а когда у меня появятся дети и мне придется кормить и выхаживать их, выкроить время на рисование будет трудно. У нее самой двое... Словом, она говорила без умолку. У меня не хватит сил повторить и половины.

— Значит, она подходит тебе как старшая подруга? — спросил я.

Глэдис покачала головой:

— Я ужасно от нее устала, а может быть, мы просто слишком долго едем. И потом, она говорила в общем-то невеселые вещи и чем-то даже раздражала меня. Конечно, я понимаю, намерения у нее были самые благие, но мне не понравилось, как она говорила о своем муже, не конкретно о нем, но о нем как об одном из многих. Мне понравился Бодвин... мне нравятся и остальные здешние мужчины. Чем больше она настраивала меня против них, тем больше они мне нравились. Я все думала о тебе, о том, какой ты замечательный — лучше всех, кого я когда-либо встречала, и еще я думала о притче, которую мы читали позавчера вечером... Наверное, я легче приспособляюсь. Ей было тридцать два, когда она вышла замуж... Надеюсь, миссис Гилмор — другая.

— Да, но она замужем за англичанином.

— Думаю, дело не в том, за кого выйти замуж, а в том, чтобы оставаться такой же, какой ты была раньше. Вот что меня волновало.

— Молодец, Глэдис! — сказал я. — И поменьше волнуйся.

— Но я еще не до конца смирилась!

Это был тяжелый день: дул сырой, пронизывающий ветер, занавесивший дали туман оставлял в поле зрения только узкие, размытые дороги, стесненные темными, почти черными изгородями. Мы перебрались через реку Темплин недалеко от того места, где она сливается с Танаром, и двинулись на север, в направлении дороги, соединяющей Темплин и Ривс, таким образом удлинив себе путь, но уменьшив вероятность заблудиться. Глэдис действительно выглядела очень усталой, когда мы подъехали к темным университетским стенам, но держалась стойко: ей не терпелось обойти смурачные галереи и дворики, старые, теснящиеся одно к другому строения, загадочные двери с горящими возле них свечами; к тому же Гилморы были как нельзя более рады нам.

Сейчас они жили одни, отправив детей учиться в Англию. Я чувствовал себя в их истинно английском жилище неуютно: бесконечные безделушки назойливо отвлекали внимание. В Америке взгляд и мысль приучаются в подобных ситуациях замечать лишь необходимое, но в Островитянии эта спасительная способность к самоограничению утрачивается.

Однако среди прочего у Гилморов оказалось пианино, и после обеда Глэдис, ободренная радушием наших хозяев, спросила, нельзя ли ей поиграть немного. Она долго сидела, не решаясь коснуться клавиш. Потом, пройдясь по клавиатуре и взяв несколько аккордов,

очаровательно исполнила «Warum?»^[2] Шумана, после чего надолго притаилась в глубоком кресле.

И только когда мы наконец на какое-то время остались одни, она поделилась своими мыслями. Ей хотелось бы иметь пианино дома, но она боялась, что его здесь не достать, даже если у нас хватит денег...

— Если ничего не выйдет с живописью, я должна найти хоть какое-то занятие, — сказала она, когда мы лежали рядом в темноте. Я ответил, что сделаю все, что смогу, но она быстро возразила, что о пианино не стоит и думать: — Я добьюсь своего в живописи. Как только мы вернемся в усадьбу, возьмусь за работу всерьез. Пусть это мое самое слабое место, я начну с портретов. Первым будет портрет Анселя-брата. Это характер, личность.

Мы задержались у Гилморов и на весь следующий день, который Глэдис провела в библиотеке, обложившись книгами, которые она скорее просматривала, чем читала.

— А есть ли в Островитянии современное искусство? — спросила она, и я пообещал разузнать насчет этого в столице.

Потом мы стали решать, куда поедет дальше, и стоило мне упомянуть, что до Файнов всего лишь день пути, не больше, как Глэдис сказала, что готова ехать, даже если день окажется долгим, а лорда Файна не будет дома. Погода улучшилась, и Глэдис снова была полна сил. Она сказала, что хотя сам университет и интересное место, но Гилморы — люди ограниченные, скучные, а в город ей пока не хочется.

Таким образом, на следующее утро мы уже снова были в пути. Несколько раз за день мне пришлось пожалеть о нашем решении. Добраться до Тиндала засветло мы не успели, и мне снова пришлось, спешившись, идти вверх по бесконечному ущелью, где протекал Фрайс. Луна приближалась к первой четверти, но местами, и довольно часто, дорога тонула в непроглядной тьме. Небольшой отрезок пути Глэдис тоже шла пешком, ведя лошадь сзади в поводу, но скоро с явным облегчением снова села в седло.

Я вспомнил, как мы шли здесь же с Наттаной и ее братьями, но луны тогда не было, и все было совсем другое.

Глэдис прямо сказала, что еще никогда в жизни не чувствовала себя такой усталой, но на ее настроение это не повлияло. Она была счастлива, и я, глядя на нее, был счастлив не меньше. Когда мы наконец проехали через знакомые ворота и сосновый лес и подъехали к дому, который я так хорошо знал, она только и могла, что посмеяться над своим плачевным видом.

Мара была дома одна. Лорд Файн с братом уехали в столицу. Глэдис чересчур устала, чтобы отужинать, как подобает по обычаю. Она попросила только стакан горячего молока и разрешения лечь. Вытянувшись на кровати, она сказала, что у нее нет сил даже раздеться — болит каждый мускул.

— Все в порядке, Джон, не беспокойся. Пройдет время, и я здесь окрепну. Усталость — это временное.

Она выглядела несколько похудевшей, повзрослевшей и более решительной. Я глядел на нее, соображая, что могу для нее сделать. При мысли о ее потаенной боли сердце мое надрывалось, причем меня тревожило даже не столько настоящее, сколько будущее. Если я потеряю ее, мне вряд ли захочется жить дальше.

— Ну что у тебя такой перепуганный вид? — сказала она. — Я совершенно в порядке! Завтра ты увидишь меня такой же, как всегда.

— Я не за это боюсь, а за свою любовь. Что мне с ней делать?

— Можешь помочь мне раздеться.

Чувствуя себя одновременно нянькой и любовником, я помог ей снять одежду ласковыми, бережными движениями. Тело ее было податливым и неуклюжим, как у большой куклы. Укрыв

ее и подбросив дров в очаг, я пошел к Маре: она дала мне смягчающего ароматического масла. Вернувшись, я стал греть его у огня.

Глэдис дремала.

— Что ты хочешь делать? — спросила она. Я объяснил, и она, томно вздохнув, вытянулась на постели.

— Не верится, что я и в самом деле у Файнов, — сонно произнесла она. — Скорее бы утро, скорей бы все посмотреть. Это как во сне. Островитяния — это сон... Человек так устроен, что ему все кажется, будто сон — плохо, и что он должен постоянно бодрствовать. Причина — мое сознание.

— А что, тебе кажется, ты должна делать?

— Приносить людям добро, я думаю. Я так мало сделала в жизни добра. Мы с мамой немного шили для бедных. Но я постоянно собиралась заняться еще чем-нибудь, и в доме всегда оставалась работа. Но здесь для меня дел нет. Люди всегда чуточку эгоисты. От этого никуда не деться — что здесь, что там, дома.

— Разве тебя не радует, что здесь нет бедных?

— Это меня не устраивает, мою совесть... Я думала, что смогу быть такой барыней-благодетельницей, вроде хозяйек английских усадеб, и являться в дом к благодарным крестьянам с индюшкой в корзинке. Но здесь они живут не хуже меня. Я должна найти себе занятие. И это тоже сбудется.

— Рисование, музыка — у тебя уже есть планы.

— Нет, тут нужно что-то другое. То, что я нашла бы сама. Я ведь не часть тебя. — Она произнесла это шутливым тоном, но мне было не до шуток.

— Ты принадлежишь себе, — ответил я.

— Я буду очень независимой.

— Ты и так независима, а оттого, что приехала ко мне, — еще больше.

— Но я могу сделать что-нибудь, что тебе не понравится.

— Будь верна тому, что для тебя дорого, и не стремись к независимости ради нее самой.

— Если я буду верна только тому, что мне дорого, я стану полностью твоей, а ты этого не хочешь.

На подобного рода заявление мне оставалось лишь ответить прямым отказом. Вместо этого я откинул одеяло и стал растирать ее растопленным маслом. Теперь у меня был новый предлог позаботиться о ее теле, красотой которого я восхищался, и, видя совсем рядом ее наготу, все то простое, что составляло Глэдис, я по-новому ощутил, сколь она дорога мне, так дорога, так прекрасна, так бесценна, что сердце мое готово было разорваться от любви; ее щеки полыхали румянцем и слезы сверкали и дрожали на ресницах. Я готов был встать перед ней на колени. Она была моим другом, идеальным товарищем, моей радостью, возможностью воплотить себя. И «любовь», и «ания» — эти слова значили слишком мало. Мои прикосновения были почти лаской, и я ласкал, гладил ее не спеша, и она покорялась мне безропотно, тихо, закрыв глаза, почти погрузившись в сон...

Решив, что она уснула, я снова укрыл ее и сам разделся, но не успел лечь, как она, в полудреме, прильнула ко мне.

— Если я не твоя, то есть что-то *наше*, — шепнула она.

В поместьях Файнов и Кетлинов у меня было много друзей, и наутро они стали приезжать один за другим, чтобы повидаться с нами, и упрашивали нас погостить подольше и навестить их, но мы предполагали задержаться здесь только на один день. Несмотря на перенесенные тяготы, Глэдис была неутомима. Ей хотелось поскорее увидеть столицу и встретиться там с

новыми знакомыми.

Приезжавшие держались со мной легко, по-дружески и часто вспоминали прошлое, как то принято между людьми, какое-то время жившими рядом. Анор, знакомый Глэдис по моим письмам, пришел с сыном, дочерью и пятью детьми Бодинов; Бард и его жена Анора выглядели нарядно и загадочно; Толли, мой друг, пришел один — его сестра Толлия была в школе; пришли четверо Хинингов; Ларнел и подросшая, повзрослевшая Ларнелла; и наконец, Кетлин с дочерьми. Двое последних остались на ленч.

Это было просто нашествие, и Глэдис утомилась и сидела притихнув и посерьезнев. Однако, когда Кетлина Аттана, та самая, что высекла барельеф, висящий в нашей усадьбе на реке Лей, пригласила ее в свою мастерскую, — она согласилась. Обе были примерно ровесницами, и я не пошел с ними, решив, что, пожалуй, Глэдис будет легче находить себе друзей самой.

Вернулась она только к вечеру. Веки ее немного опухли, однако глаза ярко горели. Она устала и была рада поскорее лечь. Я ждал, что она начнет рассказывать о своих впечатлениях, но она молча, с любопытством и сомнением глядела на меня.

— Она здесь? — спросила Глэдис.

— Она? Кто?

— Ты же знаешь... девушка, которая была твоей любовницей?

— Нет... ее здесь нет. Она живет более чем за сто пятьдесят миль отсюда.

— Так правда, что ее здесь нет?

— Разумеется правда, и я расскажу тебе про нее, чтобы покончить наконец с твоими сомнениями...

— Нет, пожалуйста, не надо! Я вовсе в тебе не сомневаюсь.

— Лучше я расскажу.

— Нет, нет, нет! И слушать не стану. Но эти люди, похоже, хорошо тебя знают. Некоторые так глядели на тебя. Не обращай внимания, Джон. Только... ведь ты у меня один, а эти люди такие странные, и у меня здесь никого, кроме тебя, нет.

— Тебе понравилась Кетлина Аттана?

— Да, но я ее подозревала... Помнишь тот барельеф и наброски... и еще по дороге мы остановились на старой мельнице, и там тоже твой портрет. Очевидно, она много о тебе думала.

— Я всего лишь предмет ее наблюдений, интересный, потому что — иностранец.

— Может быть, это и так...

— Тебе понравились ее работы?

— О да! Было очень интересно. В каком-то смысле все очень наивно, но временами так прелестно и верно схвачено. Ее пример меня вдохновил. Она моего возраста, работает самостоятельно и делает вполне реальные вещи. Я рассказала ей о своих мечтах, и она дала много полезных советов... Если бы не эти мои мысли... словно какая-то мрачная тень.

— Неужели ты не могла воспринять ее такой, какая она есть, думая только о том, что вы можете дать друг другу?

— Нет... я не островитянка. Ты — мой, и ты это знаешь.

— Но если ты не моя (помнишь, ты говорила!), то по крайней мере я — твой, Глэдис?

— Ты — мой!

— Я люблю тебя, только тебя и тебе верен.

— Это одно и то же!

— Если это одно и то же, — сказал я, — то я принадлежу тебе, а ты — мне.

— Это-то я и имею в виду, когда говорю, что ты — мой, а я — твоя. Разве ты этого не понял? — спросила Глэдис.

— Я думал, ты имеешь в виду что-то еще.

Она покачала головой, немного неуверенно, и я понял, что либо она изменилась, сама не заметив этого, либо говорит неправду.

— Хочешь, чтобы Аттана иногда навещала нас?

— Давай попросим ее об этом позже.

Итак, поиски друга продолжались...

Пужинать нам удалось спокойно, но вечером вновь явились гости и среди них мой друг Толли. Он любил читать, и я попросил его поговорить с Глэдис об островитянской литературе в надежде, что он расшевелит ее интерес и расскажет что-то новое. Сам я при этом занялся разговором с Ларнелом, он снова пришел. Он доверительно сообщил, что весной ездил к Хисам просить руки Наттаны. По его словам, она была добра с ним, но отказалась не только выйти за него, но даже просто, по-дружески видеться. «Она человек тяжелый, холодный», — добавил он. Втайне я был рад, хотя еще совсем недавно вовсе не чувствовал себя собакой на сене. И не потому, что поместье Файнов было полно воспоминаний о Наттане. Связанная с ней история постепенно обретала цельность завершенной картины. Она была прекрасной, и, как все прекрасное, хотя и ранила сердце, но не бередила желания, оставаясь картиной. Позже, однако, подобно открывшейся старой ране, прошлое снова стало болезненным, потому что Глэдис казалось, будто прошлое это живо и грозит опасностью. Я не винил ее за ее страхи, но они могли нарушить мир и затруднить наши отношения, когда этого вовсе не требовалось. Бессмысленно было бы объяснять ей, что *апия* забывается, умирает, потому что Глэдис не различала *апию* и *анию*, — равно как и говорить, что женские сомнения очень часто как раз подталкивают мужчину обращаться к старым привязанностям или искать новой *апии*. Глэдис требовала все новых доказательств. Я даже не знал, смогу ли представить их...

Я наблюдал, как она по-дружески беседует с Толли, обращая на него всю силу своего улыбочивого обаяния и ума. И это была не светская маска. Глэдис вся, целиком отдавалась разговору, и я вдруг понял, что именно это привлекало в ней молодого Ансея и Севина. Она безотчетно, но в полной мере отдавала себя происходящему. И пока это длилось, я для нее не существовал... Я взглянул в лицо правде и принял ее. Было бы неразумно хотеть всего; если же я заставлю ее изменить свое поведение, это будет выглядеть смешно... Но почему она не хотела так же отнестись и к моей истории с Наттаной? Я не скрывал от нее правды: мы были с Наттаной близки. Конечно, тут была разница, но в чем — в мере или в качестве? Глэдис сама позволила поцеловать себя другому мужчине всего полгода спустя после нашей свадьбы. Разница в мере или в качестве?

Сколь тщетны были ревнивые раздумья! Ее любовь ко мне огромна. К чему разрушать все в попытке достичь невозможного? Но от меня она этого хотела, я знал. Она хотела, чтобы я вычеркнул из своей жизни, памяти все не связанное с нею. И это ее желание стесняло меня, мою свободу и не давало так щедро дарить себя, как раньше... И все же она изо всех сил старалась не слишком сосредоточиваться на этом.

Я продолжал глядеть на нее; и вдруг меня охватил страх: румянец на ее щеках был почти лихорадочным, слишком возбужденно горели ее глаза. Она слишком устала, чтобы ехать дальше.

Позже, когда мы остались наедине, она заявила, что устала, но не *слишком*. Она не хотела больше оставаться у Файнов. Лучше она пробудет, сколько я захочу, в Городе и уж там вволю побездельничает! Толли (кстати сказать, очень красивый молодой человек) дал ей целый список новых островитянских книг, которые можно было раздобыть только в столице. Она будет читать

и отдыхать целыми днями... Ничего особенного с ней не происходит, кроме, если уж мне так хочется знать, того, что обычно случается со всеми женщинами.

Она настояла на своем, и мы выехали ранним утром, собираясь за день добраться до Ривса, но заночевать не у Гилморов, а во дворце лорда провинции, а на следующий день — достичь Города. Верховая езда бодрила ее, и я был счастлив, глядя, с каким интересом и волнением она рассматривает все вокруг, и польщен ее упоминаниями о моих письмах. Город оказался в точности таким, каким она ожидала его увидеть, только еще красивее, чище и красочнее в ярких лучах зимнего солнца. Лорд Дорн зашел навестить ее на минутку, поскольку не мог оставаться дольше. Глэдис подала ему руку и без тени смущения сказала, что просит извинить за то, что она отдыхает в его доме, но, как ей кажется, он не будет против. Не правда ли? Лорд Дорн рассмеялся и кивнул. Этим их разговор практически и ограничился. Они общались как заговорщики, но это даже забавляло меня и было приятно.

Глэдис уже почти не нуждалась в уходе и прямо сказала, что сейчас какое-то время хотела бы побыть одна, разобраться в своих мыслях. Я принес ей целую стопку книг, которые порекомендовал Толли: притчи, стихи, эссе (очерки), написанные за последнюю четверть века, и она с головой погрузилась в чтение, необычайно милая, с ярким румянцем на щеках, низко склоняясь над книгой и завороченно скользя глазами по строчкам. Кроме того, я занялся поисками пианино, и мне повезло: я узнал, что продается инструмент, до того принадлежавший итальянскому консулу синьору Полони. Прикинув, что эта покупка мне по средствам, я тут же сообщил о результатах своих поисков Глэдис.

— У нас не хватит денег, — сказала она.

Я показал ей листок бумаги с моими расчетами.

— У нас хватит денег, — ответил я, — если мы не будем роскошествовать, а скромно жить дома и позволим себе только одно подобное путешествие до следующего урожая.

Глэдис внимательно смотрела на меня своими темными блестящими глазами, стараясь угадать, чего хочу я, и настроиться соответственно.

— Подумай, ведь я не музыкант, — сказала она, — вряд ли тебе доставит большое удовольствие моя игра.

— Надо подумать еще вот о чем. Тебе придется самой его настраивать.

Лицо ее просветлело.

— Я думаю, мы с Анселем-братом справимся.

— Прекрасно. Тогда покупаем.

— Нет, Джон. Наверняка ты предпочел бы потратиться на что-нибудь другое.

— Да нет же! — Я солгал: мне хотелось купить лодку, в которой мы могли бы плавать по дельте.

Глэдис помолчала.

— Я хочу пианино, — робко сказала она. — А что до простой жизни, то я всем вполне довольна. Никакой особой роскоши мне не надо, и, я думаю, одного такого путешествия в год тоже достаточно... Можно я посмотрю инструмент?

— Конечно, в любое время!

— Тогда я сейчас соберусь. Мы можем пойти прямо сейчас?

Она не уставала восхищаться всем, что видела, пока мы шли вдоль набережных, мимо Западных доков, агентства, зданий Морского министерства и гостиницы, по Ботийскому мосту через Островную реку, а затем свернули к докам Альбана и Городским, где и хранился инструмент. Это был небольшой кабинетный рояль, в хорошем состоянии, но несколько расстроенный. Глэдис попробовала его, осталась довольна и пришла в такое веселое расположение духа, что решила тут же зайти к жившим неподалеку Перье, которые уже

приходили навещать ее. Я обрадовался — ведь в Мари или в Жанне она могла наконец найти подругу. Но Глэдис больше всех интересовал сам месье Перье, на дочек же она почти не обратила внимания.

Рука в руке мы возвращались в сумерки к Городскому холму. Никогда прежде он не казался мне таким прекрасным, дорогим, таким моим, с его разлитой в воздухе праздничной атмосферой. Он был для меня теперь тем же, чем и для большинства островитян — правительственная резиденция, место встречи друзей и заключения торговых сделок, — он принадлежал всем и каждому.

Однако сегодня дружеских компаний не было видно. Завтра, двадцатого июня, должен был состояться Совет. Глэдис проявляла к этому событию полнейшее равнодушие, так что я даже не стал говорить о том, насколько оно важно, однако досадное чувство упущенной возможности осталось. Я узнал, что в столицу прибыли Стеллина и обе Мораны, а также Стеллин и Тора, лорд Мора, молодой Эрн и другие. Тем не менее Дорна снова осталась во Фрайсе, и снова по той же причине. Лорд Хис приехал один. Я был этому рад и сказал Глэдис, что ни Дорны, ни «той девушки» в столице не будет.

Лорд Дорн взялся за дело сам и устроил так, что другие посетители не смогли помешать нашей встрече. Вечером двадцатого он собрал у себя Тору, Стеллину, обеих Моран, лорда Мору, лорда Файна и молодого Стеллина специально, чтобы встретить нас с Глэдис. Некоторые отложили свой отъезд, дабы быть представленными. В присутствии стольких важных особ разговор носил самый общий характер. Подружиться с кем-нибудь у Глэдис не было возможности, зато теперь она по крайней мере могла сказать, что видела всех этих людей и они — ее знакомые. Никогда она не была мне так мила, как в тот вечер, вся словно лучась мягким сиянием. Держалась она легко, понимая, что люди эти — более или менее влиятельные друзья «ее Ланга». Она была обворожительна, и я втайне поздравлял себя с тонкой проницательностью, позволившей мне уловить главное — глубокое сходство между этими людьми и Глэдис, позволявшее ей чувствовать себя с ними как дома, и наоборот.

Приглашенные были рассажены в тщательно продуманном порядке. По правую руку от лорда Дорна сидела Глэдис, по левую — Тора. Принадлежность к царствующей династии в Островитянии не предполагает ни особого места за столом, ни прочих почестей. Вслед за Глэдис, дабы уравнивать разницу в возрасте, лорд Дорн посадил Стеллина. Напротив нее сидел лорд Мора. Морана, моя принцесса, возглавляла другой конец стола, я сидел справа от нее, а Стеллина — между мной и лордом Морой. Напротив меня отвели место лорду Файну и Моране Некке, оказавшейся между ним и Стеллином. Вряд ли можно было найти лучшее место для Глэдис и для меня. Единственный просчет состоял в том, что Глэдис и Стеллина сидели слишком далеко друг от друга, поскольку я втайне надеялся, что именно Стеллина станет ее подругой. Я был необычайно счастлив видеть всех своих друзей вместе и Глэдис — среди них. Дорна и Наттана выпадали из этого круга; именно люди, собравшиеся в зале, включая Дорна, делали для меня Островитянию поистине прекрасной. Возле меня сидели красивейшие из моих друзей. Нам не удалось о многом поговорить, да настоящие друзья и не нуждаются в пространных речах; я рассказал только, в двух словах, о том, как провел время в Америке, о своем решении, о поместье на реке Лей.

На другом конце стола Глэдис было вполне достаточно обмениваться улыбками с лордом Дорном как с хозяином. Лорд Мора, через стол, говорил ей любезности и незаметно, ласково подбадривал ее, чтобы она не смущалась. Иногда до меня доносился его голос, я видел, как Глэдис что-то говорит ему и смеется... это льстило мне, хотя я и держался чуть настороже... Я надеялся, что этот вечер будет ее триумфом, что она счастлива. Одновременно я вспоминал усадьбу, холодную, безлюдную, занесенную снегом. Быть может, этот блеск и эта пышность

только подчеркнут мрачность нашего собственного дома!.. Глэдис была такой красивой, такой юной, такой любимой, что я мечтал сделать каждый ее день ярким и красочным. Пока была жива ее мать, она встречалась со многими и самыми разными людьми. Я обрек ее на жизнь в более близком, но более тесном кругу... Понимает ли она, что такие вечера, как этот, случаются не чаще двух раз в году, а в остальное время нас ждет самая обыденная жизнь?

Словно угадав мои мысли, Стеллина спросила:

— Могу я как-нибудь помочь вам сделать жизнь Глэдис счастливой?

— Помните, что вы сказали в нашу последнюю встречу? — спросил я, обрадованный тем, что она поняла и решила поддержать меня.

— Да, помню. Я обещала приехать и навестить вас вскоре после того, как вы вернетесь вместе со своей женой-американкой.

— Вот я и вернулся. Вы приедете?

— Разумеется, если вы уверены...

— Что вы имеете в виду, Стеллина?

— Мне кажется, она наделена всем ей необходимым.

— Она хочет, чтобы у нее была подруга.

— Вы думаете, я могу ею стать?

— Во всяком случае вы та, кого я хотел бы видеть ее подругой.

— Но это должен быть ее друг, не ваш.

— Так вы приедете? Я много раз об этом думал. Разве вы не хотите испытать судьбу?

— Да, я приеду. Но, пожалуй, со мной будет спутница, даже две. Вы, я хочу сказать вы и Гладиса, сможете принять троих гостей?

— Места и прислуги у нас достаточно.

— А Гладиса не слишком удивится?

— Не думаю.

— Может быть, вы спросите у нее?

Я засомневался. Мне хотелось, чтобы Стеллина приехала, как то принято у островитян, когда гостя ждут, но не обязательно в какой-то определенный день, чтобы Глэдис заранее не переживала насчет того, кто такая Стеллина, и не истолковала бы ее приезд превратно.

— Я приеду, — повторила Стеллина. — Объяснять ничего не надо. Если нас окажется слишком много, я пойму это и уеду.

— Надеюсь, этого не случится.

— Если ей нужна подруга — стоит попробовать. Я не против.

— Иначе мне было бы жаль.

— Мне тоже.

Она взглянула на меня ясными глазами, и я не сказал того, что собирался, — что я надеюсь, мы в любом случае останемся друзьями; я знал: наши отношения таковы, что я могу лишиться ее дружбы, если Глэдис подружится с нею или, наоборот, отвергнет ее, но самое ценное, дорогое в Стеллине все же останется со мной.

Уже позже я окончательно уверился, что говорить этого не следовало, иначе наш тайный план мог представиться в ложном свете. Теперь я получил право ничего не говорить Глэдис.

Проведенный вечер, казалось, даже взбодрил ее. Уже в нашей комнате, держа меня за руки, она сказала, что вечер прошел восхитительно, что все гости — самые замечательные люди, каких ей доводилось знать; что она никогда раньше не видела таких красивых женщин — особенно ей понравились Тора, Морана и Стеллина; конечно, лорд Мора именно такой, каким я описывал его в своих письмах, а лорд Файн — просто чудо, и ей жаль только, что она пока так

мало знает их.

— А могли бы мы каждый день ходить на такие приемы? — воскликнула она. — Когда-нибудь обязательно устроим такое.

Я сказал, что она была очень хороша, и тут же встретил ее понимающий взгляд, но на этот раз она не стала, как обычно, отрицать это.

— Я вела себя как полагается?

— Да, разумеется да!

Глэдис рассмеялась и поцеловала меня.

— Мне было так приятно, когда ты смотрел на меня, — сказала она, сидя у меня на коленях. — Я люблю тебя! Ты даже не представляешь, как я тебя люблю... и по-твоему, и по-своему тоже.

— А есть разница?

— Ты любишь как островитянин. Поэтому мне приходится выпутываться самой, отдавая тебе все, что могу. А любить по-моему — значит чувствовать себя частью тебя... а часть меня сейчас — вот в эту самую минуту! — как раз и есть часть тебя.

Я почувствовал, что она дрожит.

— Мне хочется двух вещей, — сказала Глэдис. — И первое, это чтобы ты поскорее отвез меня домой.

Наконец слово «дом» по отношению к усадьбе на реке Лей прозвучало у нее естественно.

— Может быть, поедем прямо завтра? — спросил я дрогнувшим голосом.

— Да, пожалуйста!

— Завтра, рано утром.

— Спасибо тебе за это... и за все-все-все, дорогой Джон!

— А второе, чего тебе хочется? — спросил я, вдруг вспомнив, что она говорила о двух желаниях.

— Я хочу, чтобы ты любил меня, я так этого хочу...

Я крепко обнял ее, и мы поцеловались, жадно — так, что перехватило дыхание. И это был не единственный поцелуй...

Мы поехали домой кратчайшим путем: берегом Островного залива, через Ботию до постоянного двора в Сомсе; за второй день мы пересекли Инеррию, а на третий ехали уже по ущелью Доан. Глэдис удивляла меня своей выносливостью; впрочем, она была довольно молчалива, ночью же жаждала моих объятий. На четвертый день мы въехали в Доринг и наконец свернули на знакомую дорогу — через Тори и Дорингский лес — к усадьбе.

Сумерки сгущались, когда мы проезжали мимо Аднеров; дорога блестела, укрытая снегом. Льдины позвякивали под мостом. Наше отсутствие продлилось три недели, и усадьба казалась изменившейся, словно прошло гораздо больше времени; но я мгновенно узнал все, как человек, пробудившийся после недолгого сна, и узнавание это было счастливым. Вот так каждое утро я просыпался с мыслью о Глэдис, и мне хотелось, чтобы она поделила мое счастье, так похожее на то, которое она мне дарила. Ее молчаливая фигура верхом на лошади была похожа на медленно движущуюся тень... Я не знал, как сказать ей о своих чувствах.

Мы подъехали к дому; ни в одном окне не горел свет. Было слишком холодно оставлять лошадей на улице. Глэдис не хотелось оставаться одной, и, сложив сумки на веранде, мы вместе повели лошадей на конюшню. Здесь тоже было темно, но воздух согревался дыханием стоявших в стойлах лошадей. Огниво и фонарь я нашел на привычном месте. Свет упал на бледное лицо Глэдис с темными, широко раскрытыми глазами. Она тихо стояла рядом, пока я распрягал Грэна и Фэка; их нелегкое путешествие закончилось. Потом молча, в бездумном порыве я подошел к Глэдис и изо всех сил сжал ее в объятиях.

— Неужели ты не понимаешь, — сказал я, — что я люблю тебя и поэтому люблю этот дом, а любовь к дому делает мою любовь к тебе еще больше? Почему ты не хочешь, чтобы я любил и тебя, и нашу усадьбу, если для меня это одно целое?

— Не надо ничего объяснять! — воскликнула она. — Я понимаю, все понимаю. И я не всегда была права. Это и мой дом тоже. Я вдруг почувствовала в нем частицу себя.

Мы прошли в дом, никому не дав знать о своем приезде. Нам ни с кем не хотелось делить эту радость.

Привыкнув пользоваться островитянским календарем, усталые и поглощенные дорожными заботами, мы позабыли о том, что сегодня 25 июня — день моего рождения. Глэдис вспомнила об этом, когда мы ложились.

— А я ничего тебе не подарила! — сказала она.

— Не важно.

— Нет, важно! Я хотела сделать тебе подарок.

— У меня и так все есть.

— Ты вполне доволен?

— Я самый счастливый человек.

— Все равно я могу сделать тебе подарок.

— Не беспокойся, — сказал я.

— Но я не могу не беспокоиться.

Я поцеловал ее смеющиеся губы.

Началось зимнее солнцестояние, наступил виндорн. И жизнь в усадьбе застыла, как солнце в зените. Не было тяжелой каждодневной работы, разве что приходилось присматривать за животными, но было множество мелких дел, и половину дня я отдавал этим заботам, работая не

спеша, с ленцой, а остальное время посвящал Глэдис.

Еще несколько дней она выглядела усталой, но потом расцвела, как неожиданно появившийся из-под снега цветок. Никогда еще не была она такой красивой, и в темные дни красота ее озаряла сумрачный дом. Она казалась безмятежной и счастливой, с интересом читала книги — те, что были в доме, и те, что мы привезли из столицы — и рисовала в мастерской. Найдя свое дело, она преобразилась. Выражение лица стало серьезней, и часто, когда она смеялась, взгляд у нее был отсутствующий. Иногда она даже держалась отчужденно, однако я не вмешивался в ее настроения. Они менялись. Глэдис хотела меня, хотела моей любви. Давая, мы получали взамен равной мерой. Каждый день мы пусть ненадолго, но отправлялись прогуляться пешком или верхом на лошадях. Глэдис нравилась переменчивая, прихотливая погода, и спутник она была замечательный.

Две недели прошло незаметно, и жизнь, казалось, наладилась, разве что была чуть пресной, чуть вялой...

Однажды, когда дело уже шло к вечеру и мы вернулись с нашей очередной прогулки, я нашел записку от Ансея: он просил меня заглянуть к нему, и я отправился. Когда после разговора я вышел из светлой и теплой комнаты на морозный воздух, снег отливало синевой. Невдалеке я увидел стоящую в ожидании темную фигуру.

— Джон, — сказала Глэдис дрожащим голосом.

— Что-нибудь случилось? — Я взял ее за руку и почувствовал, как она напряжена.

— К нам гости. Я отвела их посмотреть наших лошадей.

Я невольно ускорил шаг, и Глэдис поотстала.

— Кто же наши гости?

— Одна из них — Стеллина, та, что я видела у лорда Дорна.

На душе у меня потеплело, но Глэдис не могла справиться с волнением.

— А остальные?

— Их всего двое. Вторую зовут Хиса.

— Хиса!

На мгновение у меня закружилась голова, и я не узнал звук собственного голоса. Вряд ли могла приехать Наттана, но... у островитян свой взгляд на вещи.

— А какое у нее еще имя?

— Стеллина называла ее Неттерой.

— Это не она, Глэдис. Я скажу тебе, как зовут ту девушку...

— Нет, не надо! Не надо! Пойми, даже если бы это была она, я не против. Теперь я отношусь к этому спокойнее. Не говори, пожалуйста. Я не хочу знать.

— Но... — начал было я.

— Я знаю, вид у меня взволнованный, но это не так! Ничего мне не говори. Меня не волнует, кто была твоя любовница. Я все понимаю.

— Ты веришь, что все позади?

— Ах, конечно! Есть вещи, которые человек обязательно должен пережить. Скажи, что это одна из таких вещей, и я никогда больше не стану беспокоить тебя своим любопытством... или ревностью. Я знаю, знаю, что ты любишь меня, и эту землю, и что мы значим для тебя.

— Все позади, — ответил я. — Это была *апия*, но это было прекрасно.

— Вот и все, что я хотела знать. И пусть для тебя это будет прекрасно.

— Прекрасное и сейчас рядом со мною.

— Не надо нас сравнивать. Мы разные, я уверена.

— Это правда... но это имя, Хиса...

— Замолчи. Теперь я знаю все, что мне нужно.

Она быстро пошла вперед, к конюшне, и я догнал ее уже у самой двери.

— Я не скажу тебе, — произнес я. — Обещаю.

Свет фонаря озарил наши смеющиеся лица.

Войдя, мы увидели Стеллину и Неттеру. Неттера стояла лениво прислонясь к столбу, наблюдая, как Стеллина изящными, но умелыми движениями раскладывает солому, готовя подстилку лошадям. На Стеллине был длинный плащ, серого с красноватым отливом цвета, который так ей шел. Полы плаща развевались в такт ее движениям. Она откинула капюшон со своей маленькой красивой головки и была изящна, как танагрская танцовщица, но сухощавей и проще.

Глэдис и я подошли, смех еще, должно быть, искрился в наших глазах, и обе наши гости тоже улыбнулись нам во время приветствия; я без слов чувствовал, что все — и гости, и хозяйева — рады видеть друг друга.

К дому мы пошли парами: Глэдис и Стеллина впереди, Неттера подождала, пока я погашу фонарь и запру двери.

Наши гости были двоюродными сестрами, и, когда оказывались рядом, их сходство бросалось в глаза. Обе были стройными, хрупкими на вид — изящно сделанными статуэтками; выражение лиц у обеих говорило о невозмутимом внутреннем спокойствии, выработанном за счет собственных усилий (доставшемся не просто); у обеих были самые ясные, лучистые глаза, какие лишь можно представить, только у Неттеры они были затуманены мечтательностью.

Я всегда невольно удивлялся, видя ее в обыденной обстановке и говорящей об обычных, простых вещах.

По ее словам, она была рада навестить нас, хотя вряд ли бы сама додумалась, не пришли ей Стеллина письмо. Переехав к Байнам, она почти никуда не отлучалась, разве что временами заезжала домой, в Нижнюю усадьбу Хисов. Стеллина просила ее съездить вместе в гости к Лангу и Гладисе. Вчера они встретились в Тори. Байн ни за что не отпустил бы ее одну!

В тоне Неттеры иногда проскальзывала досада.

— Почему вы не взяли его с собой? Я был бы рад повидаться с ним.

— Ах, вы забываете о ребенке!

— Как он?

— Хорошо... как и Байн. Мне иногда с трудом верится, что это мой ребенок.

— А ваша музыка, Неттера?

Она ответила не сразу:

— Я сказала, что буду играть для вас, и я сдержу слово.

— Мне бы хотелось снова послушать вас, да и Гладисе тоже.

— Стеллина говорила, будто у Гладисы скоро появится иностранный инструмент — «фортепиано». — Она тщательно выговорила это диковинное для нее слово, но чувствовалось, что ей любопытно. — Его уже привезли?

— Пока нет.

— Можно я еще заеду к вам его послушать?

— Наш дом — ваш дом, Неттера... Но почему бы вам не остаться, пока его привезут?

— А когда это будет?

— Его доставят по реке из Тэна, дней через пятнадцать-двадцать.

Неттера снова замолчала.

— Нет, — сказала она наконец. — Если я останусь надолго, я уже никогда не вернусь. Мне так хотелось бы поездить по стране, поиграть для родных людей или просто для себя,

познакомиться с другими музыкантами. Но у меня ребенок и муж, который очень любит меня, и я не могу причинять ему боль.

— Но вы еще приедете?

— Мне хотелось бы послушать «фортепиано».

На том мы и порешили.

— Как ваша сестра, Наттана? — спросил я.

— Ах, Наттана! — произнесла Неттера, мысли которой, похоже, витали где-то далеко. — Она все за работой да за работой. И на лбу между бровей у нее появилась морщинка. Иногда вдруг срывается с места, садится на лошадь и уезжает. Случается, навещает и меня, и мы вместе гуляем. Но скоро она забывает об окружающем и снова начинает думать и говорить только о своей работе. Потом прощается и уезжает.

— Она счастлива? — спросил я.

— Она не скучает по вам, — ответила Неттера, — но...

Я ждал, что она еще что-то скажет, но так и не дождался.

Гости наши вписались в жизнь усадьбы самым естественным образом. Глэдис не приходилось специально развлекать их. Они не требовали никакого особого обращения и были всем довольны. Планы на день у каждого были свои. Видя Стеллину каждый день у себя в доме, я словно заново узнавал ее. Она стала родной и близкой, как сестра. В ее присутствии все чувствовали себя необычайно легко, и маленькие радостные происшествия случались сами собой. Ее спокойная, уверенная в себе жизненная сила придавала сил и бодрости каждому. Она то рисовала вместе с Глэдис, то прогуливалась с нею, со мной или одна, выезжала наших лошадей, читала, помогала Станею, навещала Стейнов и Анселей, и при этом не вела никаких глубокомысленных разговоров. Она была просто одной из нас, хотя редкое обаяние ни на минуту не покидало ее.

Неттера была больше похожа на школьницу на каникулах, наслаждавшуюся свободой от всяких обязанностей. Она ни разу не упомянула ни о своем ребенке, ни о муже, ни о жизни у Байнов. Рисование не интересовало ее, но она не без удовольствия позировала для портретов. Стеллина понемногу осваивала масляные краски. Она часто проводила время вместе с Глэдис, так что Неттера иногда оставалась одна, но и в одиночестве не скучала. Пару раз она просилась сопровождать меня во время работы. Играла она по настроению, а оно посещало ее довольно часто. Мы привыкли не просить ее специально, хотя она всегда готова была исполнить любую просьбу; было лучше, когда она подчинялась внезапно охватившему ее порыву, и музыка звучала в доме в самые неожиданные моменты. Иногда, когда я приходил домой, а Стеллина с Глэдис были в мастерской — Глэдис трудилась над портретом Стеллины, а та сидела просто так или читала, — я находил Неттеру по журчащим, как ручеек, переливчатым звукам ее дудочки то в гостиной, то на кухне, в ее, а случалось, и в нашей комнате: полузакрыв глаза, с румянцем на щеках, сложив губы в забавную гримаску, она играла, вкладывая в музыку всю свою душу.

Десять дней прожили у нас Стеллина с Неттерой, когда появился Байн. Он задержался всего на день, и в этот день дудочки Неттеры не было слышно. Байн увез Неттеру, но она обещала вернуться, когда доставят пианино.

Потом, на пару дней, заехал Дорн и попросил Стеллину навестить их с Неккой на Острове.

В усадьбе нашей вдруг стало совсем тихо.

— Было очень весело, и я ужасно рада, — сказала Глэдис, — но, конечно, немножко напряженно, да и с тобой мы почти не виделись.

Она взяла меня за руку, и мы медленно прошли по всем комнатам. В доме, кроме нас, осталась только хлопотавшая на кухне Станея.

— Отложи работу, — сказала Глэдис. — Побудь со мной.

Я остался, и мы прошли наверх, в мастерскую. Она была заставлена неоконченными этюдами; были здесь и две явно неудачные работы маслом Стеллины, пейзажи Глэдис, в которых, на мой взгляд, она уловила дух поместья, и несколько портретов, грубоватых по исполнению, но живо передававших характеры Стеллины и Неттеры.

Глэдис, не выпуская моей руки, оглянулась кругом и рассмеялась:

— Так или иначе, твой друг Стеллина заставила меня стронуться с места. Думаю, теперь дело пойдет. Причем она вовсе не пыталась меня учить... Забавный она человек. Рядом с нею хочется что-то делать.

— Она тебе понравилась?

— Я просто влюбилась. Да и любой другой на моем месте не устоял бы...

В словах ее я уловил некую недоговоренность.

— Она красивая, — продолжала Глэдис. — Я всегда буду рада ее видеть. Такие, как она, не дают успокаиваться... Мне это тоже нужно... Разве ты не знал? Вы договорились, что она приедет снова?

— Мы говорили об этом, я не знаю точно.

— А она?

— Она слишком проста для этого, Глэдис.

— Не уверена. Она умная.

— Разве это ум? Скорее уж наивность.

— Для меня она — загадка, но я всегда буду любить и ценить ее как друга... Впрочем, можно быть наивным и умным одновременно.

— Она приехала не для того, чтобы помочь тебе чем-то определенным.

— Да, я понимаю.

— Ее ум — в ее сердце.

— Слишком умна, слишком бесстрашна, — задумчиво произнесла Глэдис... — И все равно я рада, что познакомилась с нею, — добавила она. — Неттера мне тоже понравилась, хотя, мне кажется, я так и не смогла ее по-настоящему почувствовать. Но думаю, мы познакомимся ближе, когда привезут мой рояль. У нее замечательный слух... Нам будет интересно вместе, она поможет мне в настройке. Неттера сказала, что ей кажется, она понимает, как строятся наши тональности. Я хочу вспомнить весь свой репертуар. А скоро мы и сами сможем сочинять, правда, Джон? Попробую научить ее читать наши ноты. Я рассказывала ей о Бахе, и Бетховене, и Шумане... Но она тоже немного странная. Такая откровенная! Ничего от тебя не скроет.

Глэдис бросила на меня быстрый взгляд и сжала мою руку. Уж не рассказала ли ей Неттера, что Наттана была моей любовницей?.. Но этот вопрос уже решен.

— Правда, иногда я просто была в отчаянии! — продолжала Глэдис. — Они все — в себе. И такие красивые! Я пробовала заговорить со Стеллиной о нравственности, но, похоже, она даже не знает, что это такое. Она может влюбиться просто потому, что сегодня такая погода. Стеллина сказала, что никогда не принадлежала мужчине и, возможно, этого никогда не случится. Все это для них — дело вкуса, и только... Она говорила, что хотела бы почувствовать *анию*... Наверное, вся островитянская мораль — в *аниии*... А Неттера! Вот уж поистине безнравственный человек! Я, естественно, стала расспрашивать ее о муже и о ребенке, а она ответила, что все так странно сложилось, что ребенок даже кажется ей чужим!.. Нет, Джон, я не понимаю, как женщина может говорить такое! Она же совершенно искренне призналась, что никогда не чувствовала *аниии* к Байну.

— Вероятно, в этом-то и состоит дело, — предположил я.

— Конечно!

Глэдис отпустила мою руку и, подойдя к очагу, села на скамью.

— Какой забавный мир, — сказала она. — Ты не представляешь себе, что я чувствую. Вот, например, ты и я, мы любим друг друга и семья наша кажется прочной. Но почему? Думается, все дело в наших чувствах. Но только ли в них? А здесь, похоже, живут одними чувствами. Это производит на меня странное впечатление, Джон. Я не знаю, как поступить. Не знаю, чему верить, а чему нет. Оказывается, чтобы принадлежать тебе, вовсе не достаточно просто быть мне — твоей женой, а тебе — моим мужем. Я должна постоянно заботиться о своих чувствах и о том, как я отношусь к тебе, и ты — тоже. И только тогда можно избежать краха... Вспомни, что случилось с Севином: я жила, вполне довольная одним сознанием того, что я замужем, не думая о своих чувствах. Я скучала... Разумеется, я всего лишь позволила поцеловать себя. Потом мучилась, потому что чувствовала себя изменницей. Вот что было главным, а вовсе не мое отношение к тебе. Я чувствовала себя напроказившей девчонкой. Хотела, чтобы ты наказал меня. Да просто отшлепал. Мне казалось, что, если ты рассердишься, дашь себе волю и побьешь меня немного, мы будем в расчете. Но ты смотрел на вещи иначе. И конечно, был прав. Я даже ненавидела тебя за то, что ты прав.

— Все позади, — сказал я.

— Да, разумеется. Твой взгляд на вещи сделал наши отношения более ценными, но и более хрупкими... А Неттера! Поразительно, но раньше я сказала бы себе: такой человек не может быть моим другом, либо согласилась бы с тобой. Так и произошло бы, выйди я замуж дома, то есть там, в Америке. Когда я удивилась, что собственный ребенок кажется ей чужим, она ответила, что никогда не хотела и не собиралась становиться женой Байна. Он так желал ее и так мучился, сказала она, что ей показалось, будто она должна дать ему то, чего он так жаждет. Она так и сделала и вдруг поняла, что — замужем и что у нее ребенок. Все, как выяснилось, ждали, что она выйдет за него. И только позже она поняла, что ей не следовало делать этого. Был другой мужчина, которому она хотела бы принадлежать. Но это заставило бы Байна страдать, а сама она не придавала этому особого значения; и все же, если для нее самой и для ее музыки это что-то значило... Джон, я должна была бы испытать потрясение, но я восприняла все спокойно. Мне даже не было жаль ее из-за того, что она вышла замуж не за того человека, потому что самой ей не жаль себя. Но, слава Богу, у нас с тобой все иначе!

Я опустил на скамью рядом с нею, и мы, не сговариваясь, потянулись друг к другу. Напряженная мысль еще вспыхивала в ее глазах. Я поцеловал ее, и постепенно озабоченный блеск стал приглушенной...

— Странно мы проводим утро, — сказала Глэдис. — Надо было бы заняться чем-нибудь полезным.

— Можно пойти поработать.

— Нет! Я рада, что они уехали;

— Но они понравились тебе?

— Да, конечно. И я хочу снова увидеть их.

— Ты выбрала себе подружку?

— Они не совсем то, чего мне хотелось бы. Мне не нужно более близких друзей, чем у меня уже есть.

— И кто же твои лучшие друзья здесь?

— Один из них — лорд Дорн. Я сказала ему, что хочу иметь кого-нибудь, кто заменил бы мне отца или дядю, и он ответил, что, если мне это действительно нужно, он попробует заменить обоих, но не лучше ли нам оставаться просто друзьями? Я подумала, что, наверное, прошу слишком многого, ведь детей и племянников дарит судьба, а друзей ты ищешь сам. Лорд ответил, что я угадала и именно поэтому он хочет быть моим другом. Я поцеловала его, а он

меня — очень мило.

— А Дорн?

— Возможно, когда-нибудь. Пока же он — твой друг, а к нам обоим он относится как к детям — мы кажемся ему забавными... Но мой лучший друг — ты. Ты не хочешь, чтобы я принадлежала тебе, значит, я твой друг.

— И ты не против нашей дружбы?

— Нет! Я всегда была и буду твоим другом, но для Островитянии это не очень-то подходит. Так я буду слишком отличаться от других женщин.

Красная береза горит жарко, издавая резкий, пряный запах, похожий на запах ладана. Я обратил внимание, что когда очаг растапливала Глэдис, она выбирала именно эти дрова. Нашего запаса явно не хватало до конца зимы, и я решил пополнить его, но, не желая слишком менять характер местности, где люди уже жили до меня много лет, я для начала посоветовался со старым Анселем. Мы пошли на северную окраину поместья, где по верхнему краю расположенного на холме пастбища росли красные березы. Ансель сказал, что за последние пятьдесят лет березняк вторгся на расчищенную землю, и предложил срубить эти деревья, восстановив таким образом первоначальную границу.

— Оставьте тот уголок, где покрасивее, — сказал он. — Мы все время любовались, глядя с дороги вверх, на белые стволы и зеленые листочки на красных черешках.

Других дел в эти дни не было, и я приходил сюда, чтобы несколько часов поработать на свежем воздухе, когда утром, а когда ближе к полудню, смотря по настроению. Здесь я был один, за исключением того раза, когда Неттера решила пойти со мной и играла на своей дудочке под звонкие удары моего топора по мерзлым, еще не пропитавшимся нежным вешним соком стволам.

Через несколько дней после отъезда Стеллины я пришел сюда в полдень. Небо над головой было ясным, но горизонт опоясала туманным кольцом морозная дымка, в которую огромным красным шаром уже скоро опустится солнце. К востоку текла в низких берегах река, земли к югу и западу скрывал березняк, к северу высились холмы. Жилых строений вблизи не было, только в полумиле к северо-востоку виднелись крыши и трубы усадьбы Ранналов и совсем вдалеке, на другом берегу реки Лей, — одинокий дом.

Собственно, для того, чтобы валить лес, требовалось не так уж много времени; гораздо больше уходило на то, чтобы зачищать стволы, обрубая ветки, затем складывать их, чтобы они просохли, сваливать хворост в кучи и сжигать его. При этом я очень заботился о том, как будут смотреться оставшиеся деревья, как будет выглядеть снизу, с дороги, пастбище и край рощи. Березняк был красив, и я старался сохранить его беззащитную своеобразную красоту. Красные ветви берез переплелись так густо, что казалось, будто красный туман повис в воздухе над белыми стволами с коричневыми отметинами. Хотя солнце и просачивалось скупно сквозь облачную завесу, но между деревьями тут и там словно залегли темные впадины, и синий узор теней лежал на нетронутой белизне наста. Сюда я не заходил: мне нравилась нетронутая гладкая поверхность снежных заносов. В одном месте, правда, по белой долине протянулась цепочка следов, но она не портила девственную красоту снега. Это Неттера решила как-то спрятаться в лесу. Притаившись среди деревьев, она начала играть — словно лесная птица вдруг запела, охваченная человеческой тоской и страстью. Следы Неттеры до сих пор виднелись на снегу, и, глядя на них, я снова словно слышал неотвязные звуки ускользящей мелодии.

Любуясь березами и одновременно думая о пополнении насущных запасов, я совершенно забывал о себе. Казалось, будто я грежу, и мысли о том, что происходит там, в усадьбе, текли сбивчиво, прихотливо мелькая. Все они так или иначе были связаны с Глэдис. Она была похожа на человека, одержавшего нелегкую победу, закалившегося в бою, но — оставшегося не у дел. У

нее была ее живопись, чтение, случайные посетители и заранее назначенные визиты и выезды, у нее был я. Со мною для нее были связаны пешие и верховые прогулки, разговоры о книгах и живописи, — любовь. Мы были счастливы, но нас словно несло течением. В совместной жизни наши чувства обретали яркую, насыщенную реальность. Остальное — тонуло в потемках.

Стоило мне упустить случай вновь овладеть ее губами, руками, телом, и я терзался ускользнувшим раз и навсегда драгоценным мгновением. Желание жгло меня, моя страсть стала привычной, как время от времени возникающее чувство голода. Смутно я ощущал унижительность своего рабства. Когда я уходил работать, оставляя ее дома, в душе у меня воцарялся покой. Но проходило время, и мало-помалу образ Глэдис начинал беречь мои мысли.

Так было и сегодня.

Воздух застыл. Я раздумывал над тем, поджигать или нет очередную кучу хвороста. Солнце коснулось края туманной дымки, окрасив ее в алый цвет, и длинные тени легли на сверкающий снег. Мне хотелось рассеять наступавшие сумерки ярким пламенем костра, но я боялся, что он прогорит не скоро и я не скоро вернусь к любимым губам, рукам, объятиям...

Она приближалась по обочине дороги внизу холма. Сердце мое охватила любовь и жалость, сквозь которые, как языки пламени, прорывалась страсть. Маленькая темная фигурка — единственное живое существо среди раскинувшихся на мили заснеженных полей и блестящих роц. Появление Глэдис было неожиданным и не могло не вселять тревогу, просто ли она гуляла или искала меня.

Она вошла за ограду и стала подниматься по склону с безразличным видом, какой всегда бывал у нее, когда она искала меня где-нибудь вне дома; она шла не глядя на меня, расслабленной походкой, словно не желая показать, что ищет именно меня.

— Привет, — сказала она, подходя. Тон ее был обычным, но дыхание — прерывистым. Остановившись за несколько шагов от меня, она села на грудку хвороста, устало опустив плечи.

— Работай. Не обращай на меня внимания! — добавила она.

— Рад тебя видеть. Рад, что ты пришла.

— Ах, мне так надоело сидеть дома.

Я подошел к ней:

— Я только и думал, что о тебе.

— Правда? — Тон ее был безучастным, но ласковым. — И что же ты думал?

Трудно было выразить словами мои смутные мысли или, скорее, желания. Я присел рядом.

— Не стоит прерывать работу из-за меня.

Она сидела расслабленно, и мне была видна длинная, плавно изогнутая линия ее спины. Колени ее были тесно составлены, короткая юбка едва прикрывала их. Ни единой морщинки на юной, стройной шее; длинные ресницы бросали тень на гладкую кожу щек. Губы были полуоткрыты. Сердце мое забило вожделением, но ею сейчас владели, вероятно, совсем иные чувства, и это делало ее отчужденной, далекой. И как раз потому, что она словно ускользала от меня, она становилась еще более желанной, и я едва ли не готов был взять ее силой.

— Здесь красиво, правда? — сказала она. — Но мне не хотелось бы мешать тебе. Просто посижу, посмотрю, как ты работаешь...

— Я люблю тебя, Глэдис.

— Да? Об этом-то ты и думал? — спросила она уже более мягким тоном.

— Отчасти.

— О чем же еще, скажи.

Голос ее звучал ласково, но как бы издали. Она обернулась ко мне, и ее голос и взгляд

внезапно лишили меня воли противиться.

— Я люблю тебя. Я думал о тебе и хотел тебя, — сказал я и положил руку на ее колено.

— Что ж, я здесь.

— Но ты пришла не за этим...

— Да, но какая разница.

Не важно, что она чувствовала, но она не сказала «нет». Она была в моей власти и признала это. Но я не мог не помнить о нашем уговоре — не заводить пока ребенка.

Вид у Глэдис был рассеянный; искушение становилось все сильнее. Я не мог положиться на себя и обнять ее, как бы мне того хотелось, — это было бы насилием, но я и не мог отпустить ее. Опустившись перед нею на землю, я обнял ее колени, прижался к ним.

— Я хочу тебя, — сказал тебя, — хочу каждую минуту. И это не проходит.

— Почему не поступить, как тебе хочется? — спросила Глэдис — мой ласковый враг, воплощенный соблазн. Она сидела спиной к свету, но я видел темный блеск ее глаз.

— Нет, — ответил я, — не сейчас. Нам нельзя пока иметь детей.

Колени ее задрожали.

— Ты хочешь ребенка.

Сердце заколотилось у меня в груди, и я еще крепче прижался к Глэдис. Красота ее была как порыв ветра, срывающий с вожделения лукавые одежды соблазна. Уговор, бывший помехой, внезапно превратился в моего союзника.

— Да, — сказал я. — Я люблю тебя и хочу иметь от тебя ребенка, но ты, Глэдис, как же ты...

— Не беспокойся обо мне, если хочешь меня.

— А ты... ты хочешь этого?

— Да, хочу.

Я поднялся и взял ее за руки:

— Пойдем со мною.

Мы вошли в густую тень под деревьями. Снег под нами был мягким, и красный туман сплетенных ветвей окутывал нас. Глэдис не сводила с меня глаз. Она была моей жертвой, ласковой и кроткой. Всем своим сердцем, всей страстью я приник к ней. Наслаждение было безгрешным, как сон, и совершенным, как смерть.

Стало темнее, похолодало. Я попытался разжечь хворост, но огонь гас. Когда я вернулся к Глэдис, она сидела на поваленном стволе березы, опустив голову, обхватив колени руками.

Я подошел и нагнулся к ней:

— Что случилось? Что? Ты жалеешь?

Она покачала головой. Умоляя ее сказать хоть слово, я коснулся ее руки — она дрожала.

— Это главное, чего я хотел, — сказал я.

— Ты уверен? — шепотом спросила Глэдис. — Если нет...

Голос ее пресекся.

— Все замечательно, — сказал я. — Ты очень красивая. У нас есть мы, и нам больше ничего не нужно. Одной страсти мало, и единственный выход — создать нечто общее, со своим будущим...

— Я пришла сказать тебе, — заговорила Глэдис, словно не слыша меня. — Я больше не могла молчать. А потом, когда увидела тебя, так и не решилась, потому что ты считал меня верной нашему уговору. А я... я ничего не делала, чтобы не забеременеть, с тех пор, как мы почти поссорились тогда, в мае, перед отъездом. Ты сказал, что я не твоя собственность и ты не собираешься распоряжаться мною. Ты заставил меня подумать о себе. И я стала думать. Это

была не месть — внутренне отдалиться от тебя. Быть самой собою — вот чего мне захотелось, быть собою ради себя, чтобы не беспокоить... чтобы не угождать тебе. Да, конечно, мне хотелось и угодить тебе, пожертвовать чем-нибудь ради твоего поместья, твоей *алии*...

Она прижалась ко мне щекой.

— Впрочем, я даже не знаю, кому я хотела угодить, — сказала она. — Все так запуталось... Но у меня будет ребенок. Я беременна. И ты должен простить меня.

— Что ж, так даже лучше, — сказал я и стал целовать ее, говоря, что люблю, что рад. Наконец она словно очнулась, успокоилась, и я крепко обнял ее.

Пламя широкими языками вздымалось над пылающим хворостом. Веяло жаром, и яркий свет выхватывал нас из темноты, сомкнувшейся вокруг невидимой стеной. Я старался убедить Глэдис в том, что было совершенно ясно мне самому, я был так счастлив каждое мгновение сознавать, что, обнимая ее, я обнимаю и то, что она несет в себе — частицу нас обоих, — так счастлив, что слова казались ненужными.

— Это сделает нас более сильными, — говорил я. — В этом наше оправдание. Теперь мы действительно здесь. Островитяния больше не сон, хотя раньше она мне такой казалась.

— Мне тоже.

— Теперь она принадлежит нам обоим — тебе и мне — и соединяет нас. Теперь у нас есть все. Нечто большее, чем наше чувство друг к другу, делает нашу любовь крепче. Понимаешь, Глэдис?

— Да, именно об этом я и думала. Но мне следовало сказать тебе раньше.

— Не важно. Просто я почувствовал себя окончательно счастливым на месяц позже, но теперь — все равно. Твое молчание и было твоим бунтом. Ты правильно сделала, что поступила по-своему. В этом проявилась...

— Знаю, ты хочешь сказать, что в этом проявилась моя *ания*.

— Я хотел сказать — любовь.

— Это одно и то же. Любовь — наша *ания*.

Мы возвращались запоздно, когда луна стояла уже высоко.

Станея вручила мне полученное днем письмо. Письмо от Дорны. Глэдис пошла наверх. Я вскрыл конверт и прочитал:

Джон!

Я уже давно знаю, что Джон женился, а недавно мой внучатый дедушка рассказал мне, какая Глэдиса красавица и какой она умный и тонкий человек. Я желаю им обоим полного счастья. И я тоже счастлива знать, что Джон поселился в Островитянии с достойной спутницей. Я приеду поздравить его и Глэдису, но позже — по причине, о которой Джон, наверное, догадывается. Неделю назад у меня родился второй ребенок — мальчик. Мы оба чувствуем себя хорошо. Теперь у меня двое сыновей.

*Иногда я думаю так: то, что не удалось нам с Джоном, от чего мы отказались, может осуществиться, но иначе. У Джона тоже может появиться ребенок, и наши дети встретятся. И если он захочет, мы можем познакомить их, когда они будут достаточно взрослыми для *ании*. Нам стоит хотя бы подумать над этим.*

Дорна.

Я отнес письмо, которое касалось и наших будущих детей, Глэдис. Она переодевалась, и

сердце замерло у меня в груди при мысли о том, какой отвагой надо было обладать ей — почти ребенку, но такому умному, такому обаятельному, дорогому и по-настоящему сильному!

Глэдис рассеянно прочла письмо и вернула мне с той легкой улыбкой, с какой одна женщина воспринимает уловки другой.

— Не рано ли свататься? — спросила она. — А здесь, вообще, это принято?

— Не так, как в Европе или Америке. Каждый волен выбрать кого угодно.

— И тебе хочется того же, что и ей?

— У Дорны хорошая порода, но мне не нравится кровь ее мужа.

— Наш ребенок будет простым американцем.

— Мы — островитяне, Глэдис.

— Я понимаю.

notes

Наоборот (лат.).

«Отчего?» (нем.)